ЦБ
350
Р88

Русанов Н.
В эмиграции
М., 1929

DB
3.50
P88

Н.С.РУСАНОВ

В ЭМИГРАЦИИ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
С ПРЕДИСЛОВИЕМ
И ПРИМЕЧАНИЯМИ
И.А.ТЕОДОРОВИЧА

МОСКВА
ИЗД-ВО ПОЛИТКАТОРЖАН
1929

PLEASE DO NOT REMOVE

ДОЛЖНА БЫТЬ
ВРАЩЕНА
ПОЗЖЕ

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА

1928 г.

ВОСПОМИНАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ И ДР. МАТЕРИАЛЫ ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОШЛОГО РОССИИ

Книга XL—XLI

МОСКВА

D5
350
P88

Н. С. РУСАНОВ

92 (Р)

В ЭМИГРАЦИИ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ, С ПРЕДИСЛОВИЕМ И ПРИМЕЧАНИЯМИ
И. А. ТЕОДОРОВИЧА

в КХ 1 Н ЭК3

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТ КРАСН. ПРОФЕССУРЫ
№ 86685

1929

Издательство просит всех читателей сообщить свое мнение, указав достоинства и недостатки настоящей книжки по адресу:

Москва — 34, Лопухинский пер., д. 5

ИЗДАТЕЛЬСТВУ ПОЛИТКАТОРЖАН

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА РСФСР

86685/80 м

Главлит № А 35.842 Заказ № 136 Тираж 4.000 экз.

Книжная фабрика Центрального Издательства Народов СССР. Москва, Шлюзовый проезд, 6.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Книга Н. Русанова «В эмиграции» сразу же заставит современного советского читателя притти в состояние некоего изумления. На лежащих перед ним страницах щедрой рукой рассыпаны такие выпады против теории Маркса, как, например, «марксизм не способен дать теоретическое об'яснение всей сложности общественных явлений» (стр. 85); «социалистические партии и рабочие организации Запада приучались разделять это очень одностороннее мнение (т.-е. марксизм), что об'яснялось в немалой степени усилением марксистских взглядов среди социалистов разных стран» (стр. 202); «везде же, где речь заходит о его историко-философских взглядах, Маркс поступает иначе: тут уже царит в некотором роде догматическое богословие» (стр. 116) и т. д., и т. д.

Такие атаки общего характера сопровождаются достаточно неуклюжими попытками поиронизировать персонально над Энгельсом (на ряду, впрочем, с из'явлением глубокого к нему уважения), над Гэдом, Плехановым и другими марксистами, и притом за то именно, что они были в свое время ортодоксальными приверженцами учения Маркса.

Особенно неузнаваемым вышел из-под пера Н. Русанова образ Ленина: «чистый политик», «далеко отошедший от центральной позиции марксизма» и тому подобные пустяки. Эти нападки на марксизм, разумеется, перемешаны с апологией эсеровских идей, настроений, действий и с восхвалениями эсеровских деятелей.

Все это производит, поистине, только с м е ш н о е впечатление. В стране, где марксизм, в грозе и буре, беспримерной в истории, утвердил свой идейный и практический триумф,

пытаться иронизировать над ним, вышучивать его — это значит позабыть хотя бы знаменитое указание Н. Чернышевского, которого, конечно, Н. Русанов считает своим учителем:

«Лев не годится для карикатуры».

Еще более комичное впечатление производят попытки автора гальванизировать труп народничества и выдать эту «тень», этот «призрак» за нечто живое, «еще обороняющееся и нападающее». Спор марксизма и народничества — поистине, спор, уж «взвешенный судьбою». Двенадцать лет спустя после Октября пытаться воскрешать спор, шумевший, как нечто актуальное, сорок лет тому назад — это совсем, как у Ибсена:

«Свежа и прелестна,
У ниши окна
С палитрой и кистью
Сидела она.
Мадонна Мурильо
Была образцом;
Она с вдохновенным
Писала лицом...
. . . . . .
Увядшая дева
У ниши окна
С палитрой и кистью...
Да, это—она.
И пишет что? То же!..
Да, да, без конца
Мадонну Мурильо
С того-ж образца!»

«Свежим» и «прелестным» было революционное народничество; никто не ценит его заслуг полнее и искреннее, чем революционный марксизм. Но «увядшая дева», действительно, несносна...

Наряду с этой, так сказать, принципиальной несносностью некоторых страниц книги Н. Русанова, стоят персональные недочеты. Не совсем приятное впечатление производит часто им практикующееся самовозвеличение.

Пусть читатель проверит наше указание на стр. 85, 86, 143, 194, 226, 227. Везде автор рисует себя «непобедимым». «Стою это я,—говорит известный купец у Глеба Успенского,— среди площади, как Минин и Пожарский, а вокруг меня пространство распространено»... А, между тем, говоря по совести, в своих полемических схватках Н. Русанов напоминает не

этого купца, а Герценовского генерала, «знаменитого теми победами, которые над ним одержаны».

Такое самовосхваление невольно наталкивает на мысль, уж не усвоил ли наш автор пресловутой заповеди Кузьмы Пруткова: «Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь?».

Такое же мало приятное отношение к себе вызывает излишняя авторская велеречивость. Читатель поневоле настораживается, когда видит перед собой многословнейшие диалоги. Ведь нельзя же поверить, что Н. Русанов удерживает в своей памяти до точности эти длиннейшие разговоры! Этим ослабляется их ценность, как своего рода документов. Тем более, что местами чувствуется окостеневший трафарет. Например, у автора про любого из его собеседников говорится стереотипная фраза: «он на минуту приостановился». Так, на стр. 80 «на минуту приостановился» П. Л. Лавров; на стр. 184 — Эли Реклю, на стр. 256 — Алльмон (Алльман) и т. д.

Тем не менее, несмотря на эти крупные недостатки, книга Н. Русанова является очень ценным историческим материалом. И вот почему.

Для тех, кто занимается историей социализма, особенно социализма до-марксовского, социализма утопического, известно, как мало еще разработаны, как нуждаются еще в уточнении, снабжении конкретным материалом те главы этой истории, которые трактуют вопрос о ряде переходных, промежуточных звеньев, характеризующих процесс превращения системы идей социализма утопического, социализма, отражавшего интересы и эпоху мелкого, разоряемого капитализмом, товаропроизводителя — в систему идей научного социализма, социализма уже типичного рабочего класса. Известно далее, что точно так же очень мало изучен тот экономический процесс, который является основой, базой только-что указанного идейного процесса, и который характеризуется тем, что мелкий товаропроизводитель, эта центральная фигура эпохи простого товарного производства, в условиях капиталистической системы хозяйства перерождается, с одной стороны, в уже подлинного пролетария, а с другой — в те или иные формы уже типичной мелкой буржуазии.

Чрезвычайно разнообразны многочисленные течения утопического социализма всех его крыльев — правого, центрального и левого, — от Оуэна, Луи Блана, Прудона до Бабефа; пестры и многообразны их построения, подходы и тактика, но всем им без исключения свойственны три черты, представляющие в своей совокупности легко отличимую систему взглядов. Эти черты следующие.

Во-первых, — непонимание положительных сторон капитализма, сосредоточение всего внимания на его отрицательных явлениях[1]). Во-вторых, — вытекающая отсюда проповедь необходимости немедленного свержения капитализма и возможности такого свержения в любое время. Чрезвычайно ярко формулировали этот момент, например, народовольцы: «нужно задушить буржуазию в самом зародыше». В-третьих, — утверждение, что основным общественным слоем, на который нужно опереться, который нужно звать к борьбе, является вовсе не пролетариат в нашем смысле слова, а мелкий самостоятельный товаропроизводитель (ремесленник, кустарь и крестьянин), тот самый, которого капитализм лишал земли и средств производства, разорял, пауперизировал, разжевывал, по выражению Глеба Успенского, «в пасти акулы». Действительно, страдания этого слоя были неслыханными. Маркс говорил: «Процесс вытеснения, превращающий индивидуальные и разрозненные средства производства в общественно-концентрированные, превращающий карликовую собственность многих в гигантскую собственность немногих, — эта болезненная, эта ужасная экспроприация трудящегося народа — вот источник и происхождение капитала. Основой всей этой эволюции является экспроприация земледельцев».

Итак, при помощи этого «экспроприированного» мелкого товаропроизводителя нужно, по учению утопистов всех оттенков, не медля ни минуты, приостановить, задушить развитие капитализма. Чем же заменить его? Если реакционные романтики — экономисты, вроде Сисмонди, мечтали в сущности

---

[1]) Например, о Чернышевском Ленин писал: «Чернышевский был социалистом-утопистом, который не видел и не мог в 60-тых годах прошлого века видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма».

о возврате к простому товарному производству, об упрочении действительной самостоятельности мелкого товаропроизводителя, то утопические социалисты сделали несомненный шаг вперед: они уже не верили в возможность спасти индивидуальное хозяйство ремесленника или крестьянина и выдвигали, как универсальное средство, как панацею, идею «производительной ассоциации». В ней, и только в ней — спасение. Как реализовать ее в жизни? Левое крыло (например, Бабеф), отражавшее радикальные настроения почти безнадежно разоренных, наиболее пауперизованных производителей, а также первого поколения рабочего класса, еще считавшего свое пребывание на фабриках временным, провозглашало идею революционного захвата политической власти и дальнейшего употребления ее для государственной поддержки производительных ассоциаций. Правое крыло (например, Фурье или Оуэн) ставило ставку на совесть, мудрость и капиталы господствующих классов, искало компромисса с ними. За этим крылом шли элементы более стойкие в хозяйственном отношении, имевшие шансы удержаться на поверхности, приспособившись к капиталистической системе. Наконец, центристы того времени (например, прудонисты, мютюалисты), не соглашаясь ни с левой, ни с правой тактикой, взывали к самодеятельности, к самопомощи товаропроизводителя.

История показала, что «левое крыло» на известной стадии развития капитализма пошло в общем и целом по двум путям. Первый путь — это путь тех из мелких товаропроизводителей, которые окончательно изнемогли и пали в борьбе с конкуренцией фабрики или завода и стали типичными пролетариями. Далее, это путь и пролетариев, но пролетариев начальных поколений — пролетариев-отцов, потом увидевших ясно, что их надеждам на временность, на эпизодичность пребывания на фабрике не суждено сбыться. Второй путь — это путь тех из мелких товаропроизводителей, которые получили некоторую надежду оправиться или фактически оправлялись в борьбе с конкуренцией, приспособляясь к новой эпохе, как, например, приспособлялся тот слой крестьян, который имел большой профит от роста товарности своего хозяйства на фоне мощного спроса на продукты сельского хозяйства вследствие роста капиталистической индустрии. Шедшие первым путем приходили через постепенное изживание и преодолевание идеологии

«левого крыла» к марксизму, этой законченной системе взглядов пролетария-сына, пролетария последующих поколений.

Вот почему так родственны между собой системы «левого крыла», отражавшие настроения «пролетария-отца», и система «марксизма», являющаяся идеологией «пролетария-сына». Вот почему марксизм усвоил, переварил громадный опыт классовой борьбы своего прямого предшественника. Наоборот, шедшие в т о р ы м путем рядом переходов стали сливаться с крыльями правым и центральным, застревая в так называемом мелкобуржуазном социализме всех оттенков, начиная с радикал-социализма французского мелкого буржуа и кончая печальной памяти партией социалистов-революционеров в России.

Весь этот пласт мелкого товаропроизводителя, поставленного под удар со стороны капитализма, но еще не превратившегося в пролетариев, на протяжении всей истории являл картину постоянных колебаний от «левого» умонастроения к «правому». Когда-то Чернышевский или кто-то из его ближайших единомышленников бросил лозунг: «К топорам». На этот лозунг немедленно отозвался Герцен такой фразой: «К метлам»—надо кричать, а не «к топорам». «К топорам»—это лозунг «левого» крыла; это призыв к революционному захвату власти, к с в е р ж е н и ю данного строя. «К метлам» — это лозунг «правого» крыла: это призыв к «упорядочению» данного строя, к компромиссу с ним на основе его «очистки». Между «метлами» и «топорами» и колебалась все время народническая, в широком смысле этого слова, мысль. Вспомним Герцена с таким диапазоном: «ты победил, Галилеянин» — и хотя не совсем решительное, но все же благословение «польского восстания» и огаревского участия в «Земле и Воле»; вспомним Желябова, противопоставившего терроризм — своей «розовой, мечтательной юности»; вспомним Бакунина, в начале 60-х гг. говорившего, что крестьянскую революцию можно п р е д у п р е д и т ь созывом земского собора, а позднее ставившего ставку исключительно на «бунт»; вспомним наиболее последовательного и стойкого в своих революционных убеждениях Н. Г. Чернышевского; даже у него, у этого наиболее нам родственного из идеологов «левого» крыла, вырвались по адресу Александра II такие строки: «Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие; сего ради помаза тя бог твой» (эпиграф к статье «О новых условиях сельского быта»).

Вспомним, наконец, всю в целом партию социалистов-революционеров: эта партия всегда считала себя призванной осуществлять заветы Чернышевского и левого крыла «Народной Воли». Заветы этих последних сводились к указанию на необходимость захвата политической власти для того, чтобы свергнуть капиталистический строй и взрастить элементы социалистической экономики. А когда пролетариат, идя своими путями, призвал массы товаропроизводителей поддержать его инициативу в этом направлении, партия эсеров стала по другую сторону баррикады и связала свою судьбу с судьбой капитализма, провозгласив коалицию с буржуазией.

Разгадка всех этих колебаний может быть найдена на путях изучения выше охарактеризованного процесса. Но нужно сказать, что этот процесс еще совершенно недостаточно изучен во всей его конкретности и многосложности. А между тем, нет в истории социализма более важных, более интересных глав.

Книга Н. Русанова как раз по этим вопросам дает много первоклассного материала, правда, сырого, не взвешенного научным анализом, но исходящего от человека, бывшего непосредственным, если не всегда участником, то свидетелем значительных исторических событий.

Представляемый книгой материал, в частности, проливает некоторый свет на вопрос постепенной дифференциации с виду как бы единого народничества по руслу «левого», «правого» и «центрального» крыла внутри целого слоя мелких товаропроизводителей.

Но этот слой граничил слева и справа также и с другими общественными классами. Еще и раньше было известно, что, например, партия «Народной Воли» являлась в сущности союзом трех течений: во-первых, политического радикализма, хватающегося за терроризм, как наиболее сильное из средств, имеющихся, за отсутствием масс, в его распоряжении; во-вторых, бланкизма, идеологии левого крыла товаропроизводителя, мечтающего о захвате политической власти для свержения *капиталистической системы производства;* и в третьих, зародышевого, еще не самоутвердившегося социал-демократизма. Воспоминания Русанова очень ярко этот факт иллюстрируют. На стр. 118 он характеризует Германа Лопатина, как типичного политического радикала; интересна также характеристика Э. Серебрякова (стр. 125), смешивавшего социализм с

требованием «любить народ» (стр. 240), а также и Шишко (стр. 248) и П. Л. Лаврова (стр. 144—145). Характеризуя на стр. 183—184 Эли Реклю, брата знаменитого Элизе Реклю, Н. Русанов замечает: «Он был социалистом того неопределенного направления, которое было так распространено среди французов Второй Империи» — и дальше: «В политическом отношении он приближался скорее к анархизму; в социальном, потеряв надежду на осуществление фурьеристских фаланстеров, стал сторонником мелкой земельной собственности, считая лишь необходимым подправить ее деревенской (сельскохозяйственной? — *Ив. Т.)* кооперацией и неотчуждаемым крестьянским наделом». Да, это действительно был социалист «неопределенного направления», но неужели Н. Русанов не заметил, что в его партии, особенно после марта 1917 г., таких социалистов было столько, что хоть пруд пруди? На стр. 223—224 очень верно описано радикально-политическое течение «Народной Воли», принявшее впоследствии самостоятельную форму народоправства. Недурно на стр. 240 описано бланкистское крыло партии «Народной Воли».

Но, давая хорошие фотографические снимки, которые сослужат громадную службу исследователям, имеющим в своих руках правильный метод, — Н. Русанов не схватывает сути процесса в целом. Это можно проиллюстрировать хотя бы двумя примерами.

Первый касается причин падения «Народной Воли». Вот что пишет наш автор: «Поражение партии было лишь завершением ее начавшегося распада, который, кроме специальных причин (каких же именно? — *Ив. Т.),* определялся общими условиями (какими же именно? — *Ив Т.)* русской действительности, и, прежде всего, расширением и углублением реакции, из правительственной превращавшейся в общественную» (стр. 215).

Читатель видит, до какой степени беспомощен наш автор: он даже не задался вопросом, почему же началась общественная реакция. Разумеется, причины падения партии «Народной Воли» нужно искать в двух коренных обстоятельствах: во-первых, с конца семидесятых и с начала восьмидесятых годов начался период усиленного роста конкуренции дешевого американского хлеба, вследствие которой помещик вынужден был сокращать экспорт своего хлеба и стал бросать землю; у известных слоев крестьянства явилась иллюзия, что они

мирным путем, без революции подымут бросаемые помещиками земли; а во-вторых, этот же период сопровождался успехами отечественного капитализма; этот последний, с одной стороны, оттягивал из деревни избыточное население, а с другой — стимулировал рост товарности крестьянского хозяйства. Мелкий товаропроизводитель, в виду такой кон'юнктуры, шарахнулся от идеологов «левого» крыла, и они были разбиты правительством.

Другой пример касается известного Льва Тихомирова. Автор изображает его самым вульгарным ренегатом, т. е. одним из экземпляров того типа, который встречается во все времена и у всех народов. Но это — несправедливо. Тихомиров, как ни гнусен его поступок, не был заурядным ренегатом. Подлинная трагедия его жизни была в том, что его ренегатству предшествовало глубоко им пережитое банкротство — и не только в его представлении, но и на самом деле — его руководящих идей. Он увидел, что остановить капитализм методами «левого крыла» не удалось. «Кто обманывает себя, тот спокоен», — говорил Помяловский, но Тихомиров, действительно, не хотел себя обманывать и признал то, чего не хотели признать другие банкроты: старая карта бита. Другая его трагедия была в том, что он не увидел, не понял, не усвоил новой карты, с которой в игру вступил Плеханов. И вот открылась пропасть: старая карта не годится, — новых, как ему казалось, нет... Вот эта (разумеется, мнимая — как это известно только нам, марксистам) безвыходность и толкнула его к «исторической власти», и не только его одного. Не говоря о целом ряде отступников, напомним хотя бы об абрамовщине, об архиправом народничестве, апеллировавшем к «уму и совести» господствующих классов и правительства.

В заключение, еще раз повторим, что, хотя наш автор и не может, не владея марксистским методом, дать нам исчерпывающей картины глубоко важного процесса, тем не менее его материалы, наблюдения, характеристики, фотографические снимки представляют собой ценнейший материал.

Вот почему мы не колеблясь рекомендуем его читателю с теми оговорками, какие даны нами в предисловии и в примечаниях.

Ив. Теодорович.

I

Я за границей.—Семь месяцев в Швейцарии.—Встречи и знакомства: Элизэ Реклю, Лев Мечников, Н. В. Соколов, Г. В. Плеханов и его товарищи, Сергей Кравчинский.

Велико было в моей душе чувство все возраставшего освобождения от русских полицейских пут и вообще от всей реакционной атмосферы России 1882 г., по мере того, как я отдалялся от Петербурга, переезжая через Эйдткунен в Германию, и направлялся через Берлин, Бебру, Франкфурт-на-Майне, Базель во французскую Швейцарию, на берега Лемана, где в Монтрё, Вевэ, Лозанне, Женеве проживало в то время много русских, к которым мне были даны рекомендательные письма моими питерскими знакомыми. Но к чувству этого освобождения примешивалось страстное желание поскорее войти в жизнь Запада, разрешить общением с европейской мыслью и выдающимися русскими эмигрантами те сомнения [1]), которые не давали мне последнее время покоя в России.

Это желание было у меня настолько сильно, что я, хотя с детства любивший природу, обращал во время путешествия сравнительно мало внимания на пейзажи, как ни были они новы и свежи для меня, и стремился поскорее встретиться с людьми. Конечно, меня, жителя равнины, поражали эти холмы, показав-

---

[1]) Читатель должен помнить, что это было время, когда крах и разгром партии «Народной Воли» были уже совершившимся фактом. Можно сперва подумать, что Н. Русанов имеет в виду «сомнения», естественно вырастающие на почве банкротства определенной политической и социальной установки. Можно подумать, что Н. Русанов стал «сомневаться» в правильности позиций народовольчества. Но из дальнейшего изложения читателю станет ясным, что, как раз наоборот, автор стал «сомневаться» в правильности... своих марксистских симпатий. Правда, симпатии эти были крайне неопределенными, туманными, ибо марксизма он не понимал никогда, но, порывая даже с такого рода симпатиями, автор лишал себя уже всякой возможности понять сущность общественных сдвигов последующих десятилетий. Это было одной из причин того, что автор оказался в рядах партии социалистов-революционеров, т.-е. той партии, которая, как это ни звучит парадоксально, менее всего имеет права претендовать на звание наследника партии «Народной Воли».

шиеся мне горами, и горы, принятые сначала мною и моею спутницею, юною женою, за отдаленные массивные облака. Мой глаз невольно останавливался на расчищенных, прихорошенных лесах Германии, столь непохожих на наши более первобытные и в то же время более испорченные грубой русской рукой леса Орловской, Калужской, Тульской, Смоленской, Тверской губерний. Очарователен мне показался зеленый, быстро текущий Рейн в Базеле. И как все пассажиры, сидевшие со мной в одном вагоне, я ахнул от восхищения, когда наш поезд, приближаясь к Лозанне, вынырнул из туннеля Корналлаз, и перед нами раскрылась несравненная картина голубого Женевского озера, сливавшегося на горизонте с голубым же небом, так что белопарусные лодки казались гигантскими птицами, распластавшимися своими крыльями в лучезарном пространстве, тогда как прямо против нас, на другом берегу, тянулись впереди темные, позади снежные горы Савойи.

Но меня в еще большей степени поражала социальная сторона европейских пейзажей. Проносившиеся мимо нас целые леса заводских труб в промышленных центрах Германии, с которыми не могли итти в сравнение фабричные пригороды Петербурга 80-х годов, показывали мне наглядно, что значит концентрация производства, о которой я так много читал у Маркса. Даже живописные руины замков на берегах Рейна заставляли меня прежде всего думать об отмеченном еще историком Соловьевым контрасте между «каменной Европой» с ее рыцарским феодализмом и «деревянной Россией» с ее царско-боярско-мужицким укладом. А когда вечером, остановившись на ночь в Базеле, я вышел погулять по старинным улицам города, меня поразил свободный вид уличных мальчишек, рассвиставшихся словно дрозды и громко хлопавших деревянными подошвами своих сабо́ по тротуарам...

Несколько лет спустя, я понял смысл того, что сказал мне один француз, возвратившийся из России:

— Знаете, что меня поразило всего более на вашей родине? Это поведение толпы в больших городах: все у вас идут и молчат, и зимой, когда резиновые калоши заглушают звук шагов, движешься точно среди призраков... Лишь изредка пьяные нарушают своими дикими криками эту зловещую тишину...

Мы поселились в Кларане, или Кларансе, одном из самых очаровательных уголков Женевского озера, уголков в буквальном смысле этого слова, потому что здесь Леман суживается, и к югу начинается Ронская долина, сдавленная двумя стенами живописных гор и прорезываемая быстро бегущей, многоводной Роной, которая впадает тут же в озеро желтым от глинистых осадков широким потоком, чтобы очиститься от наносов и на другом конце, в Женеве, выскочить из Лемана могучей, лазурно-голубой, как стрела мчащейся рекой. Гостиница наша второразрядная, но неплохая, называлась отель Бо-Сит, и за 5 франков в день с человека нам давали порядочную комнату и

сносный стол. Но, прикинув, что и эта умеренная плата скоро истощит запас наших небольших средств, полученных, главным образом, из Литературного фонда, мы наняли в узкой уличке, носившей громкое название Аллеи Платанов, крошечную квартирку из одной комнаты и кухни у почтенной семьи ваадтских виноделов и зажили своим хозяйством.

Курортная жизнь Кларана и соседнего Монтрё, носивших тогда название «русского свинарника», по причине огромного количества наезжавших сюда помещиков и богатых купцов с разных концов России, шла собственно мимо нас. Мы не ходили ни в театр, ни в кургаус, ни на концерты и разные религиозно-филантропические вечера, которые в изобилии устраивались местной администрацией и реформатскими пасторами, старавшимися вытянуть из гостей возможно больше франков в пользу всяких своих обществ. Тем с большим интересом присматривались мы к жизни швейцарских обывателей и тем чаще посещали мы русских эмигрантов-старожилов.

Близость курорта с его типами хозяев отелей и магазинов, извозчиков, странствующих музыкантов, лодочников, уличных фотографов и прочих представителей так называемой «индустрии иностранцев», равно как самих этих иностранцев, давала, однако, себя знать. Здесь шла своеобразная «охота за барином» в роде той, что велась в бойких дачных местах России и была описана Глебом Успенским, но только в гораздо более скромных или, лучше сказать, упорядоченных размерах, так как в это время глубокого общеевропейского мира квартирный хозяин, лавочник, молочник не превратился еще в рвача, каким его сделала последняя великая война, и предпочитал наживаться умеренно и аккуратно, даже смущая нас своею добросовестностью по сравнению с русскими собратами.

Надо сказать, сами же наезжие россияне портили своим нелепым и порою принимавшим скандальные формы расточительством заведенные на заграничных курортах порядки. За несколько месяцев до нашего приезда в Кларан здесь сделался притчею во языцех какой-то купеческий саврас без узды, сын миллионера из Москвы, поставивший себе целью нарушать, где только можно, здешние полицейские предписания и просто культурные обычаи и откупаться беспрестанными, иногда крупными, штрафами, так что расчетливое местное начальство и обыватели, кормившиеся иностранцами, даже по-своему любили его, находя его «немножко странным, но очень добрым господином» и потворствуя его диким выходкам.

Одним из его любимых времяпрепровождений было нанять извозчика и рыскать на нем по курорту и соседним местам в поисках досок с надписями, воспрещавшими что-нибудь, и тут же проделывать как раз то, что не дозволялось. «На повороте ехать шагом. За нарушение штраф в пять франков», гласила надпись на углу узкого переулка, круто спускавшегося к озеру. «Катай во всю, марш-маршем тужур, алле вит!», — принимался

орать на французско-замоскворецком наречии саврас и заставлял возницу во весь дух нестись вниз на большую дорогу. Конечно, на перекрестке как из земли вырастал полицейский в скромной темнозеленой куртке, со скромным же темнозеленым кэпи на голове и с тростью в руках, — символом коммунальной власти.

— Мосьё, мосьё, прошу остановиться: так ездить нельзя... Штраф... Аманд, аманд...

— Заамандил... Ишь, нашел, чем испугать... Получай, зеленая крыса... Вуаля пять франков и вуаля еще и еще, — и грузные серебряные пятифранковики звонко стучали о мостовую, разбрасываемые из особого мешка щедрой рукой нарушителя, между тем как сам он несся дальше на поиски штрафов, направляя коляску налево, когда нужно было ехать вправо, проезжая во всю рысь мостики, по которым надо было ехать тихо, закупая корзины цветов и тут же расшвыривая их по улице или больно зашибая ими самое продавщицу, бомбардируя бутылками с вином и пивом проезжающие поезда, бросая на ярмарках и гимнастических праздниках и стрельбищах пригоршни монет и производя тем ужасную суматоху и драку среди мальчишек и подвыпивших граждан.

Так мчался наш саврас по пути дебоширства, сопровождаемый проклятиями одних и благословениями других бюргеров, пока огромный скандал не положил конца его приключениям в наших местах. Он как-то услышал, что проживавший прошлым летом в Монтрё голландский король, Вильгельм третий, не только отбросил здесь, как это часто бывает с венценосными особами, проживающими инкогнито за границей, всякий придворный этикет, но в качестве нераскаянного, несмотря на свой преклонный возраст, бон-вивана, не стеснялся особенно и обыкновенными буржуазными приличиями и порою, когда бывало жарко, показывался в окнах второго этажа, занимаемого им в одном из лучших отелей, в самом примитивном костюме, в точности воспроизводившем костюм короля в известном рассказе Андерсена. Некоторые швейцарцы, кормившиеся щедротами царственного шалуна, находили даже, что в этом был настоящий королевский «шик».

Рассказ о более чем патриархальной жизни Вильгельма голландского глубоко запал в душу нашего савраса.

— Айда молодчина его величество... Ну, да в этих самых республиках всякий себе король...

И вот в один действительно прекрасный, лучезарный летний день, когда в Монтрё справлялся какой-то местный праздник, наш саврас появился в ландо на улице в костюме, который уж, конечно, превосходил своею оригинальностью костюм царственного конкурента. На голове зело пьяного москвича красовался великолепный цилиндр. Модные лакированные ботинки зеркалились на ногах. Толстый российский нос сдавливало, с трудом держась на нем, золотое пенсне. И только...

На том месте, где в нравственных странах на статуях полагается фиговый листок, у савраса лежала большая купальная простыня, а на ней перчатки и мешочек с массой пятифранковых монет в предвидении многочисленных штрафов. Эффект получился удивительный, потому что часть публики бежала от неожиданного зрелища, другая же, — по большей части детишки, — наоборот, кольцом окружила ландо, и вышло что-то в роде выезда триумфатора на победной колеснице.

На сей раз наш дурень, однако, плохо рассчитал свою игру. Общественное мнение возмутилось, вмешались власти, и, несмотря на протесты прихлебателей, русский скандалист был выслан за пределы Ваадтского кантона, а оттуда и совсем исчез из Швейцарии, поплатившись изрядной суммой денег в пользу какого-то благотворительного учреждения, чтобы только дело не дошло до суда.

Раз я коснулся своеобразной морали швейцарской администрации и обывателей по отношению к знатным иностранцам, которые рассматривались, главным образом, с точки зрения выгод, я позволю себе рассказать, что приключилось однажды с Элизэ Реклю. О нем подробнее я буду говорить после. Пока скажу лишь, что в это время он писал первые томы своей доставившей ему вскоре такую известность «Всеобщей географии» и получал за эту работу по договору с парижским издательством Гашетта крупные по-тогдашнему суммы. Швейцарские власти и средний обыватель немножко косились на него, смутно зная кое-что об его анархических убеждениях, но в общем питали к нему некоторое уважение, как к богатому по местным понятиям человеку. У Реклю была даже поместительная вилла на берегу Лемана, и начальство с удовольствием взимало с анархиста кантональные и коммунальные налоги.

Как-то раз Реклю шел и горячо разговаривал с проживавшим в то время в Кларане молодым итальянцем, доктором Каньоли, племянником Гарибальди. Каньоли был убежденный социалист-государственник, Реклю же верил в анархию, как в высший и немедленно осуществимый идеал человечества. Можете себе представить, с какой страстностью велась между ними беседа. В пылу спора оба приятеля зашли в виноградники, которые поднимались в гору над Клараном и рдели уже почти созревшими гроздьями (дело было в конце сентября). Машинально, пуская в ход против Каньоли аргумент, казавшийся ему особенно веским, Реклю сорвал несколько ягод и совершенно не заметил этого... Но тут, как по щучьему веленью, появился полевой сторож коммуны.

— Господа, остановитесь! Я должен составить протокол за нарушение коммунального распоряжения об охране виноградников... У вас, м. г., в руках ветка винограда: вы взяты с поличным. Вы должны будете явиться завтра к мировому судье для разбирательства вашего дела...

«Господа» пожали плечами, видя, что всякие дальнейшие разговоры не поведут ни к чему. На следующий день в камере судьи, в присутствии довольно многочисленной публики из французских и русских друзей Реклю и любопытных репортеров, представитель швейцарской юстиции сначала было принялся остроумничать, и, например, когда Реклю заявил, что он нисколько не отрицает самого факта держания в руках кисти винограда, но сделал это машинально, в пылу разговора с приятелем, то кларанский Соломон не без тяжеловесной игривости заметил:

— Ну, конечно, мы вполне понимаем, что вы не имели прямого намерения посягнуть на чужую собственность. Но в том-то и беда, что даже простые разговоры об анархии, особенно когда их ведут с одушевлением, неизменно приводят к забвению разницы между твоим и моим!..

И судья, крайне довольный своим остроумием, приговорил Реклю к двадцати франкам штрафу, или, в случае несостоятельности, к одному дню тюремного заключения.

— Вы, разумеется, не откажетесь, уважаемый г. Реклю, внести двадцать франков в пользу нужд общины?

В свою очередь Реклю захотел позабавиться над судьей, по пословице: «тот хорошо смеется, кто смеется последним», и отказался платить штраф, категорически заявив, что идет в тюрьму. Судья опешил:

— Как, г. Реклю, вы совершенно серьезно собираетесь провести день в заключении?.. Но ведь там неудобно, там довольно темно.

— Нет, я немножко знаком с помещением: в нем достаточно светло, чтоб я мог работать... Возьму книги, карты и буду продолжать свой обычный труд.

Судья начинал терять голову. Перед ним вдруг развернулась картина, как в заграничной, особенно французской печати, такой остроумной, такой насмешливой, никогда не упускающей случая поиздеваться над тяжеловесностью швейцарцев, появятся статьи о европейском ученом, посаженном в тюрьму за три зернышка винограду...

— Но ведь это невозможно, г. Реклю.

— Что невозможно?

— Да вот, что вы пойдете в тюрьму.

— Совершенно возможно, и в доказательство этой возможности я сейчас отправляюсь к себе, беру, что надо, и сажусь.

Потеряв всякую надежду побороть упрямство Реклю, бравый гельвет забыл уже о всякой прессе и совершенно искренно рассвирепел: как расчетливому коммунальному чиновнику, ему было ужасно досадно терять двадцать франков. Он разразился горячей филиппикой по адресу «всех этих коммунаров, которые не стыдятся сесть в тюрьму, а ближнего любят только на словах, ибо почему бы богатому человеку не отдать в пользу коммуны такую ничтожную сумму?»

Элизе Реклю был вторым ребенком из двенадцати братьев и сестер, родившихся в протестантской пасторской семье департамента Жиронды, и приобрел наибольшую известность между ними. Но и другие члены семьи были почти все талантливы каждый по своему. На Элизе Реклю, пожалуй, только отражалось более, чем на ком-нибудь из родственников, его происхождение от гугенотов, с их серьезным отношением к жизни, с их способностью к идейному энтузиазму, с их твердым желанием проводить свои убеждения в жизнь. Но в то время, как у его предков эти особенности служили делу узкого религиозного мировоззрения, Элизэ проявлял их в широком общественном идеале. У него тоже была святыня, была религия, но то была религия человечества, и он воплотил ее себе в анархизме. Он недружелюбно относился к современному ему социализму, который казался ему недостаточно возвышенным, чересчур зараженным болезнью компромисса, с его программой-минимум, с его стремлением уже теперь осуществлять некоторые социальные реформы (хотя социализм начала восьмидесятых годов в Европе был в достаточной мере «революционным»). Собственно, Реклю очень мало интересовали практические подробности осуществления его анархического идеала. Для него анархия была актом веры: надо было лишь, чтобы каждая истинно свободная личность действенно исповедывала свой анархизм, и в очень короткое время строй угнетения и неправды уступит место обществу солидарных между собой людей, живущих без всякой принудительной власти, но в полной гармонии друг с другом [1]).

---

[1]) Анархизм, исповедывавшийся знаменитым географом, чрезвычайно ярко характеризует те слои мелких товаропроизводителей, которые описаны в нашем предисловии, как принадлежащие к «центральному» пласту. Пролетарий-сын ясно понимал, что история заставляет его прожить известное время в «капиталистическом доме», а потому он вовсе не был равнодушен к тем или иным порядкам в этом здании, пока оно не будет снесено; отсюда вытекала идея программы-минимум с ее тактикой и стратегией. Но анархизму это казалось «болезнью компромисса», отсутствием «возвышенности» и т. п. Однажды пишущему эти строки пришлось на одной массовке в конце девяностых годов отстаивать восьмичасовой рабочий день. Присутствовавший на собрании анархист воскликнул с большим под'емом: «Как? Работать на буржуев восемь часов?!... Ни часу!..» Ясно, что подобные заявления вытекали из убеждения, будто бы свергнуть капитализм можно (а следовательно и должно) в любой момент. Чем его заменить? В глубине вещей — реставрацией простого товарного производства, с поправкой, как это считали необходимым некоторые школы анархизма, на «производительную ассоциацию». Но эти ассоциации, эти юридические лица, производят и обмениваются совершенно так же, как лица физические, как физические товаропроизводители. Идеи единого, коллективистского, планового хозяйства — нет; имеется лишь идея упорядоченного, несколько модернизованного и модифицированного простого товарного производства. Н. Русанов довольно точно характеризует систему мыслей Элизе Реклю, а нам, с другой стороны, очень легко «расшифровать» ее: пусть «каждая истинно свободная личность» (т.-е. независимый ни от феодального гнета, ни от капиталистической эксплоатации, ни от пролетарско-

Пришел Реклю к этому идеалу, повидимому, не сразу. Ибо если в ту пору, когда я познакомился с ним, он был не только анархистом, но считался, вместе с имевшим на него большое влияние нашим Кропоткиным, одним из главных представителей французского анархизма, то какой-нибудь десяток лет раньше, во время Парижской коммуны, в которой он участвовал и сам, энергично борясь с оружием в руках против версальцев, он заявил в печати, что между «французами-республиканцами спор должна решать не пушка и не ружье, а всеобщая подача голосов».

Во всяком случае, в начале 80-х годов, когда я впервые встретился с ним в Кларане, он уже был не только убежденным, но и своеобразно нетерпимым анархистом. Действительнно, стоило вам только сделать несколько возражений против его политического символа веры — и этот обыкновенно столь гуманный, столь мягкий человек, обладавший притом большим природным тактом, вдруг застегивался перед вами на все пуговицы, словно перед врагом, его веселое, добродушное лицо точно застывало, серые глаза становились стальными, а голос терял обычную задушевность и звучал сухо, корректно, почти враждебно. В эти минуты вы были, очевидно, для него еретиком, и он плохо скрывал свое раздражение против вас за холодной, изысканной вежливостью.

Он принадлежал, несомненно, к типу политических фанатиков, глубоко убежденных людей, и потребность согласовать дело со словом носила у него религиозный характер. Двести лет тому назад он погиб бы героическою смертью мученика во время драгонад, как погибали его предки-камизары. И, раз уверовавши во что-нибудь, он старался, не взирая ни на какие препятствия, проводить свои верования в жизнь. Эта черта резко обнаруживалась еще в его юности, как можно видеть из

социалистического «деспотизма», — самостоятельный мелкий товаропроизводитель — Ив. Т.) «действенно исповедует анархизм», и «строй угнетения и неправды» (т.-е. капитализм) уступит место «обществу солидарных между собой людей» (т.-е. простому товарному производству), — «без всякой принудительной власти» (т.-е. без единого планового хозяйства), «в полной гармонии друг с другом» (т.-е. в равенстве условий свободного производства и обмена братьев-товаропроизводителей! Вот где полностью применяется формула великой французской революции: «свобода, равенство, братство»). — Кто не приемлет такого возврата к прошлому, тот кажется нашему «несгибаемому», «непримиримому» анархизму жалким примиренцем. Но жизнь шутит злые шутки. Безостановочное развитие капиталистических отношений трансформирует целые пласты мелких товаропроизводителей, делая одних — пролетариями, других — мелкими буржуа. Вот эти последние, продолжая традицию хлесткой анархистокой фразы, обнаруживают под старой кожей свою новую сущность, чаще всего, конечно, в критические моменты общественной жизни. Когда грянула гроза 1914 года, многие и многие из анархистов, — таких несгибаемых, таких неподкупных, таких непримиримых, — оказались самыми вульгарными партиотами, соглашателями со своей буржуазией, оппортунистами, ревизионистами и т. д. и т. п.

следующего эпизода его жизни, рассказанного мне несколько лет спустя одним из его родственников.

Окончив курс в местной гимназии, 18-летний Реклю отправился по желанию отца, совпадавшему и с его собственным желанием, в Монтобан, на факультет протестантского богословия. В это время даровитый юноша был глубоко убежденным христианином и старался жить, как должен был жить, по его мнению, искренний последователь Христа. В Монтобане, как во всех университетских центрах, была особая категория девиц легкого поведения, которые постоянно вертелись среди студентов и переходили из рук в руки, от одного университетского поколения к другому, между тем как их временные друзья кончали курс и уезжали на место, чтобы стать добродетельными пастырями.

Симпатичный, вечно горевший огнем идеала юноша ужасно нравился монтобанским гризеткам, и на него происходили частые нападения. Но Реклю принимал всерьез обязанности христианина. У него родилась мысль способствовать духовному перерождению падших Магдалин, и он решил стать своеобразным миссионером в этой легко живущей, не задумывающейся много о своем существовании среде. Он будет проповедником не лицемерной, а истинно христианской морали этим заблудшимся овцам, которые должны быть в сущности его сестрами во Христе. И кальвинистский, пуританский Монтобан широко раскрыл глаза, видя, как один из способнейших и наиболее нравственных студентов ходил днями и ночами, окруженный толпой разбитных слушательниц, которые сначала вздумали было взять юношу смехом и поцелуями, но затем, видя, что это не помогает, искренно повлюбились в него, и не одна из них мечтала о замужестве с ним и о совместной апостольской деятельности.

«Христос со своими мироносицами» — злословили жены столпов местного протестантизма. И, поддавшись влиянию этих кругов, ректор богословского факультета вызвал Реклю для об'яснения. Неустрашимо, как всегда, юноша защищал свое поведение, с особого рода спокойным пафосом доказывая, что истинный христианин не только не мог, но и не должен был поступать иначе, приводил из евангелия разговор Христа с самаритянкой и то, как он спас от побиения камнями блудницу, вспоминал о знаменитом изречении «не судите, да не судимы будете». Ректор был поражён благородством и горячим религиозным чувством юноши, но решительно запретил ему, под страхом исключения, продолжать проповедничество:

— Я лично верю вам, но все видимости против вас: вы скандализируете город, вы соблазняете малых сих. Никто не поверит, что молодой человек проводит столько часов в обществе всем известных расп... нехороших женщин лишь из-за желания спасти их души...

— Как «лишь»? — вскричал пылкий юноша-апостол. — Но ведь в этом, в человеческой душе, все для христианина.

— Я прошу вас, г. Реклю, немедленно же прекратить это препирательство. Вы понимаете меня. Я должен заботиться о репутации нашего факультета. Мы живем не в древней Иудее...

— Но мы поступаем, как древние иудеи, как книжники и фарисеи, — звучит по-прежнему спокойным пафосом голос юноши, и он тут же подает прошение о выдаче ему бумаг из университета.

Реклю отправляется изучать христианское богословие в Германии, где, как ему кажется, от протестантизма Шлейермахера, Баура и всей Тюбингенской школы веет иным, свежим духом. Но он посещает вместе с тем лекции знаменитого географа Карла Риттера, и это решает его судьбу. Религиозный пыл проходит и заменяется столь же сильною жаждою знания, а республиканский и демократический идеал становится новым культом для потомка крепких верою гугенотов.

И этот идейный энтузиазм сопровождает Реклю в течение всей его жизни. Позже, в конце Второй империи, он становится членом Первого Интернационала, но с уклоном в сторону анархической фракции. Он защищает республиканский Париж от немцев и неустрашимо совершает ряд полетов на воздушном шаре вместе с Надаром. Он защищает революционную парижскую коммуну от версальцев и попадается при вылазке в плен армии порядка.

Здесь снова место анекдоту, рассказанному мне одним из братьев Реклю. Захватившие Элизе солдаты ведут его в Сатурийский военный лагерь, куда коммунары согнаны, как скот, и где они стоят в грязи, под штыками неумолимых врагов. Путь лежит через Версаль, всегда бывший одним из самых реакционных и милитаристских городов Франции, а во время борьбы против коммуны ставший средоточием всех монархистов, всех защитников старого порядка. Проходившие по улицам коммунары подвергались ужасным оскорблениям. Раз'яренная толпа фешенебельных жителей готова была растерзать их на части. Один из беспристрастных английских корреспондентов недаром рассказывал об этой эпохе, как дамы света и полусвета в Версале забавлялись тем, что в припадке патриотического негодования бередили своими шикарными зонтиками раны у связанных парижан. Через такое-то стадо зверей проходил с товарищами и Реклю. Из густых рядов любопытных раздавались крики: «смерть, смерть им, к стене их, расстрелять!» И вдруг Реклю видит в числе кричавших известного французского географа Вивьена де Сэн-Мартэна...

Два слова об этом любопытном в своем роде человеке. Вивьен, с которым мне пришлось познакомиться лет десять спустя в Париже, был в эпоху восстания коммунаров семидесятилетним, но очень бодрым старичком. Он, кстати сказать, жил бесконечно долго, почти втечение всего XIX века, и умер,

подобно Фонтенелю, лишь «от невозможности дольше жить». Глубокий политический индифферентист, еще более глубокий эгоист, он был воплощением не столько настоящего ученого, сколько «эрудита», и, обладая чисто немецким трудолюбием, впродолжение многих десятков лет прочел тысячи книг по землеведению, написал много трудов по исторической географии и был издателем ряда географических журналов.

— Господа, господа, брак есть могила не любви, а науки, — любил он говорить своим друзьям и почитателям и советовал брать пример с него самого. Он, действительно, совершенно в духе своего эгоизма разрешил задачу личной жизни, оставшись старым холостяком, но держа при себе неизменно молодую экономку, что достигалось в виду его бесконечно долгой жизни тем, что, когда, скажем, дама номер 5 переступала известный возраст, бессмертный возделыватель географического вертограда отпускал ее с честью и с умеренным вознаграждением, а на ее место брал новую, молодую, номер 6. Эту вечную экономку приятели Вивьена язвительно—нет ничего язвительнее так называемых приятелей — сравнивали с знаменитым вечным префектом французского крестьянина, который в качестве мэра приветствовал нового администратора в официальной речи словами: «приношу вам, глубокоуважаемый г. префект, нижайшее и искреннейшее поздравление от всего селения: вы всегда оставались внимательны к нашим просьбам, хотя наше мудрое правительство и переменило вас четыре раза за последние двадцать лет».

Будучи, как я сказал, глубоким политическим индифферентистом, Вивьен де Сэн-Мартэн был однако чрезвычайно почтителен к представителям всевозможных режимов, пока они были у власти, и в пору, когда вспыхнула коммуна, надеясь на восстановление империи, оставался еще по инерции завзятым бонапартистом. Можете себе представить, с каким рвением этот господин, крупный рантье и домовладелец в Версале, кричал проходившим коммунарам: «бросить вас всех в кучу да перестрелять, как собак, митральезой! изменники, поджигатели!»

Тявканье рассвирепевшего старичка надоело Элизе Реклю, который хорошо был знаком с Вивьеном, встречаясь с ним в редакциях географических органов и на заседаниях ученых обществ, и, поровнявшись с ним, он умышленно воскликнул громко:

— Здравствуйте, г. Вивьен де Сэн-Мартэн! Как поживаете? Давненько не имел удовольствия видеть вас...

Удар был нанесен метко. Вивьен побледнел и в паническом ужасе упал навзничь у дверей своей виллы: в эти безумные дни достаточно было, чтобы кто-нибудь оказался знакомым коммунару — и его тут же версальцы, даже не стараясь узнать, кто он такой и как его фамилия, бросали именно, как советовал сам старичок, в кучу с другими пленниками и расстреливали у ближайшей стены...

По счастью для патриота, приветствие Реклю прошло в общем шуме незамеченным, и вечная экономка выбежала на улицу и принялась усердно поднимать и тащить в дом потерявшего сознание ветерана французской географической науки.

Двадцативерстное путешествие из Парижа в Версаль с товарищами, между шпалер обезумевших от ярости зрителей, не обошлось однако даром глубоко гуманному человеку: в Сатори́йском лагере Реклю испытал припадок острого помешательства, и его принуждены были отправить в дом умалишенных. Он скоро оправился, и несколько месяцев спустя его приговорили к ссылке. Он ждал на понтонах в Ла-Рошели отправки в Новую Каледонию, когда его спасло вмешательство ученых всего мира — с Дарвином во главе, — которые указывали правительству Франции, какую потерю понесет наука, если Реклю попадет в ужасные условия ссылки. Тьер вынужден был заменить ссылку изгнанием, и Реклю поселился в Швейцарии, занявшись, по приглашению издательства Гашетта, писанием своей знаменитой «Всеобщей географии».

Когда я познакомился с ним в Кларане, то был 50-летний небольшой живой человек с об'емистой не по росту головой, прекрасным лбом и начинавшейся сединой в довольно длинной шевелюре и бороде, каковые Реклю запускал, по обычаю тогдашних демократов. Его серые глаза смотрели обыкновенно ласково, и добродушная улыбка часто расцветала на его выразительном лице, за исключением уже упомянутых мною моментов теоретической распри, пробуждавшей неизменно у Реклю жесткий темперамент верующего. Он был убежденный интернационалист и имел много друзей среди представителей разных народностей, особенно среди итальянцев и русских. Русских он очень любил в это время, и несколько лет перед тем Бакунин произвел на него сильнейшее впечатление. Тогда героическая борьба народовольцев против царского деспотизма всколыхнула всю Европу, весь мир, и Реклю смотрел на русских террористов глазами приверженца анархии, полагая, что в России дело идет о разрушении всякого государства. В этом его поддерживал наш Кропоткин, с которым Реклю тоже был хорошо знаком и который оказал ему значительную научную услугу своим деятельным сотрудничеством по составлению тома об «Азиатской России» в его монументальной географии.

Отчасти таковы же были взгляды и его сотрудника по Японии, Льва Ильича Мечникова, к которому было у меня большинство рекомендаций из Петербурга, и он-то и познакомил меня с Реклю. Но с Кропоткиным мне тогда не пришлось познакомиться, так как в это время он уехал в Савойю, и я увижу его в первый раз много лет спустя, когда он придет знакомиться ко мне в Париже в 1905 году, накануне моего возвращения в Россию. Зато мы довольно близко сошлись с Львом Мечниковым, пока мой от'езд через несколько месяцев в Париж не ослабил этих приятельских отношений. Старший брат уже ста-

новившегося в ту пору знаменитостью Ильи Мечникова, Лев Мечников был и сам интересной индивидуальностью, на которой стоит остановиться. Надо сказать, мы с самого начала нашего знакомства не без любопытства всматривались друг в друга. Я еще в Питере знал в общих чертах биографию Мечникова, главным образом, через Станюковича, проживавшего перед тем несколько месяцев в Кларане, а подробности его интересной жизни мне стали известны из разговоров с ним самим и его друзьями.

Натура авантюриста в хорошем значении этого слова, Мечников еще в 50-х годах побывал в России на разных факультетах, был несколько раз исключен за столкновения с начальством, совершил в качестве переводчика восточных языков путешествие к святым местам с русской дипломатической миссией, оставил ее за «идейную» дуэль с начальником, плавал по Средиземному морю служащим в торговом обществе и вдруг решил обосноваться в Венеции для изучения живописи (он страстно любил это искусство, но мог добиться в этой области лишь очень посредственных результатов, и в этом была одна из трагедий его жизни). Славные имена Гарибальди и знаменитой «Тысячи» заставили импульсивного юношу бросить на время кисти и принять добровольцем деятельное участие в походе против неаполитанских Бурбонов. Взрыв мины в Калабрии причинил ему тяжелые поранения в боку и перебил ногу, так что Мечников остался на всю жизнь хромым и ходил с высочайшим каблуком на правой ступе. К этому времени, если не ошибаюсь, относятся его статьи в «Современнике» под псевдонимом Бранди.

Позже он жил в Швейцарии, приятельствовал с Герценом и Бакуниным, принимал деятельное участие в социалистическом, или, лучше сказать, демократическом движении того времени, с уклоном в сторону анархизма. С самого основания «Дела» он усердно писал в благосветловском органе по-истине обо всем, зачастую очень поверхностно. Действительно, эти статьи под различными псевдонимами нас, молодое поколение, решительно не удовлетворяли. Большинство их носило характер запоздалых популяризаций 60-х годов и мало отзывалось на злободневные вопросы русской революционной интеллигенции. И в этом тоже была трагедия жизни Мечникова. Ему просто приходилось очень много писать, чтобы дать хоть некоторый комфорт своей жене, бывшей сначала замужем за пресловутым редактором «Вести» Скарятиным и ушедшей от мужа к Мечникову.

В разговоре Мечников, в противоположность чистокровным писателям, был гораздо интереснее, чем в своих статьях. Он из'ездил массу стран и незадолго до моего знакомства с ним вернулся из Японии, где был профессором в русской высшей школе, организованной японскими студентами. В течение своей исполненной всевозможных приключений жизни он встречался с массою интереснейших личностей, и, конечно, это не могло

пройти бесследно для разностороннего, чрезвычайно легко ассимилирующего, но мало оригинального ума Мечникова. Он сам шутливо рассказывал, как о нем отзывался с этой стороны Бакунин: «много струн на вашей лире, милый Лев Ильич, но только ни на одной вы не играете, как виртуоз». Впрочем, сам Мечников, упоминая об этой оценке, подчеркивал ею больше свою разносторонность, чем отсутствие оригинальности. Лично ему казалось, что он был достаточно оригинален. А между тем, обладая громадной и точной памятью, действительно, он становился зачастую ее жертвою и думал, что какая-нибудь мысль принадлежит ему, тогда как она была уже высказана кем-либо другим и только сохранилась в огромном складе сведений, помещавшихся в его голове.

Так, почитатели его социологических построений, и в том числе Элизе Реклю, бывший гораздо больше географом, чем социологом, придавали немалое значение якобы самостоятельной схеме развития человечества, набросанной Мечниковым в его посмертной работе «Цивилизация и великие исторические реки», а именно, что цивилизация вырастает сначала в закрытых внутренних бассейнах, распространяется затем на обширные речные бассейны и, наконец, создает всемирные формы общения людей при помощи открытых морей и океана. Между тем, эта схема находится уже целиком в географическом сочинении Фридриха Каппа, появившемся в 40-х годах прошлого века, как справедливо указал в свое время Зупан.

В общем, мировоззрение Мечникова было мировоззрением радикальной демократии 60-х годов с присовокуплением некоторой доли социализма. К Марксу Мечников относился отрицательно и «иронически». Русские вопросы рассматривал под углом зрения бакунизма, подправляя его отчасти инстинктивным уважением западноевропейца к политической свободе, отчасти горячими симпатиями к повстанческой и заговорщицкой деятельности à la Мадзини и Гарибальди. Так смотрел он, напр., на русских народовольцев, не вдумываясь в некоторые чисто русские особенности их программы и тактики. Современную Россию Мечников совершенно не знал, и многое из того, что тревожило наше молодое поколение, не затрагивало его совсем.

Меня особенно поразило в нем очень недружелюбное отношение к «Отечественным Запискам». Из руководителей органа и главных сотрудников его он относился с симпатией разве к Щедрину и отчасти Глебу Успенскому. И снова и снова слышал я от него нелепую легенду о Михайловском, как о плагиаторе Ножина. Она была, повидимому, общим достоянием всей группы «Дела» и некоторых шестидесятников в России и за границей. Тщетно пытался я показать Мечникову, что если даже предположить систематический плагиат Ножина со стороны Михайловского в течение первых лет после смерти «гениального натуралиста», то невозможно об'яснить, что Михайловский продолжал писать статьи с выдающимся талантом и оригинально-

стью по вопросам, о которых при жизни Ножина не возникало и речи. На это Мечников дал мне ответ, еще более повергший меня в недоумение, а именно, что у Михайловского нет никакого таланта, а лишь патологическая самовлюбленность чисто «рассейского» философа во вкусе Кифы Мокиевича. Наиболее оригинальные вещи Михайловского или те, которые в особенности трогали нас своею жизненностью, своею отзывчивостью на русские злобы дня, были, по мнению Мечникова, вздорной отсебятиной. Не берусь решать, была ли то инстинктивная нелюбовь человека очень способного, но не оригинального, к писателю не только оригинальному, но, по моему мнению, стоявшему на границе гениальности [1]), или же непонимание целого нового течения русской жизни со стороны Мечникова, чересчур давно оторвавшегося от России.

Надо заметить, что Лев Ильич был очаровательным собеседником, но запальчивым и очень неприятным спорщиком. Порою, когда он принимался обсуждать мало знакомый ему вопрос и встречал серьезные возражения, на которые не мог ответить по существу и которые не устранялись фейерверком его немножко напряженного остроумия (как часто вспоминал я при этом о непринужденном, но таком захватывающем остроумии Н. Ф. Анненского), он начинал раздражаться и неудачными парадоксами пытался отстоять во что бы то ни стало свою точку зрения. И тогда его выразительное лицо южанина — отец его был потомком молдавских господарей, мать еврейка — краснело, и по красивому лбу, на который спускались уже редевшие и седевшие, но еще густые темные пряди волос, проходили волны неудовольствия, а руки начинали усиленно дрожать. Он был вообще очень нервен, и руки тряслись у него постоянно. Возможно, что на нем уже сказывалось действие все усиливавшейся чахотки, от которой он и умер шесть лет спустя, едва 50 лет от роду.

У Мечникова я познакомился, между прочим, с Николаем Васильевичем Соколовым, способным, но спившимся с круга бывшим сотрудником «Русского Слова» и автором «Отщепенцев». В конце 50-х годов Соколов был блестящим офицером генерального штаба, но, подобно столь многим выдающимся русским людям этой эпохи, подвергся влиянию прогрессивных идей и стал убежденным социалистом-«прудонистом», как рекомендовал он себя. С точки зрения этого не совсем ясного даже для него самого «прудонизма» он написал поверхностную, но зело ругательную критику Милля и принес ее Чернышевскому незадолго до ареста Николая Гавриловича. Тот прочитал это сердитое творение и возвратил его автору, посоветовав Соколову заниматься вообще публицистикой, а не политической

[1]) В оценке Михайловского гораздо ближе к истине Мечников, чем Русанов. Из идеологов народнического социализма Михайловский уступает и Герцену, и в особенности Чернышевскому, по сравнению с которым построения Михайловского являются большим шагом назад.

экономией. Эта вещь появилась года два спустя в «Русском Слове» и стяжала успех скандала. Вместо резюме она заканчивалась стихами:

И прах твой с строгостью судьи-экономиста
Милль оскорбит язвительным словцом,—
Насмешкой злостною купца-артиста
Над промотавшимся купцом.

Соколов принимал участие в тогдашних радикальных кружках, знал Ножина и Михайловского и относился к первому в разговорах со мною с симпатией, а ко второму с величественным презрением, как к плагиатору Ножина. Соколов в начале 60-х годов прожил с год за границей, усердно изучал Прудона и особенно увлекся его учением об анархии, что сказалось, между прочим, в изрядно курьезной брошюре его о Лассале, или, вернее, против Лассаля, на которого Соколов ополчается за его взгляды на государство, как на высшее создание людей, имеющее задачею осуществление наиболее идеальных целей общежития. В своей полемике Соколов не без искусства, впрочем, пользуется аргументацией самого Лассаля против капитала, приводя точные цитаты из разных работ славного трибуна и буквально повертывая их против государства, так что у читателя получается впечатление, что угнетающие и развращающие людей свойства капитала как раз составляют основные черты и государства. Мне эта брошюра показалась гораздо более придирчивой, чем основательной, и невольно вспоминалось восклицание профессора на экзамене в старинном анекдоте: «Ах, молодой человек, все, что вы говорите, остроумно, но не так». И это «не так» проникало все страницы довольно большой брошюры Соколова.

Сам он был очень доволен этой вещью и считал себя одним из немногих прудонистов Европы, понявших своего учителя. Ему хотелось познакомиться и лично с Прудоном, но судьба решила иначе. В 1865 г. Прудона не стало, и Соколову удалось лишь произнести краткую речь на похоронах знаменитого социалиста [1]) в Брюсселе, где он обратился к присутствующим с горячим увещеванием не забывать великих идей учителя: «Прудон умер — да здравствует Прудон!» Слух об этой речи дошел и до России, и власти не очень ласково встретили нашего анархиста по его возвращении на родину. А тут вскоре раздался каракозовский выстрел, и подполковнику генерального штаба пришлось сесть на некоторое время в тюрьму, откуда, правда, он был вскоре выпущен, но вынужден был выйти в отставку в чине полковника. Через некоторое время начальство сочло даже нужным сослать Соколова в Мезень. Николай Васильевич увеко-

[1]) Автор совершенно неправильно называет «социалистом» писателя, учившего, что «собственность есть эксплоатация слабого сильным, а общность есть эксплоатация сильного слабым».

вечил это прискорбное происшествие в юмористическом стихотворении, которое он очень любил цитировать своим приятелям. Помню лишь:

Соколика-Колю
На горькую долю,
На злую неволю
Сослали в Мезень, —
Несчастный был день!

То был, действительно, несчастный день для способного офицера, который и прежде любил испивать, а в ссылке жестоко пристрастился к вину, особенно когда в конце 60-х годов власти перевели его на совершенно другой конец России, на нижнюю Волгу, в крошечный уездный городишко Черный Яр. В Мезени у Соколова были все же кой-какие знакомые из политических ссыльных — в Черном Яру у него не было никого, с кем бы он мог поделиться мыслями. И он стал, как сам выражался, убежденным алкоголиком, т. е. не только человеком, который пьет, но и полагает, что вино действует на пьющего благодетельно во всех отношениях. Сам я в это время не отказывался от дружеской пирушки с товарищами, но внутренно содрогался, слыша из уст Соколова горячие панегирики в честь вина. В защите алкоголя и его неумеренного употребления он был неистощим, и парадоксы и самые курьезные цитаты из разных авторов не сходили тогда с его заплетающегося языка (Соколов всегда слегка заикался, а во хмелю этот недостаток еще усиливался).

— В-в-от, всё говорят, что алкоголь вредно действует на здоровье... А что как не зелено вино спасло меня от неминучей смерти, когда у нас в Черном Яру появилась холера, и люди стали мереть, как мухи? Я же заперся в хозяйской бане на все лето с бутылью и основательно заспиртовал себя, так что слышу, бывало, как колокола заунывно покойников вызванивают, а я постучу в бутыль да еще пропущу стаканчик... Вышел я из засады по осени. Народу страсть сколько повыкосило. А я совсем как у Беранже:

Как яблочко румян,
Одет весьма беспечно,
Не то, чтоб очень пьян,
А весел бесконечно...

— Да, — продолжает, бывало, все более и более коснеющим языком, но все более и более возвышая голос, Соколов, — в-вы знаете, кто и почему против пьянства и против кабаков? Ф-филантропы-буржуа... Им хорошо живется, и они, может быть, пьют не меньше нашего, но в шикарных ресторанах, а наш брат-пролетарий идет в кабак, чтобы встретиться со своими товарищами и там за стаканом вина откровенно поговорить о теперешних порядках... Кабак — пролетарский салон... Вы, может быть, не знаете, что писал о кабаке Прудон, который сам

мало пил, — и за это я его не одобряю, — но понимал революционное значение кабака... «А, говорит, господа буржуа, вы за трезвость и против кабака? Отдайте в таком случае рабочему нормальные условия жизни, которые вы у него ограбили своей эксплоатацией. Дайте ему возможность жить по человечески, дайте ему ваши удобные, светлые жилища — и тогда он, пожалуй, и не пойдет в кабак... Да нет, он и тогда должен итти туда, потому что это — единственное место, где он может сговариваться с такими же, как сам он, обездоленными, чтобы низвергнуть все это общество, основанное на гнете и лжи»...[1]).

Признаться, я не мог найти нигде у Прудона такого места. Но Соколов уверял меня, что на эту тему Прудоном была написана целая статья в газете «Голос Народа», которую тот издавал на закате революции 48-го года, и он лишь не знает, почему «эт-та великолепная в-вещь» не вошла в собрание сочинений Прудона... Надо сказать, что у Соколова была обширная и как будто точная, но со странными провалами память. Он мог порою цитировать целыми страницами из какого-нибудь социалистического или демократического писателя, по большей части, половины XIX века, — дальше его эрудиция заходила редко, т. е. он, вероятно, перестал читать,—но сплошь и рядом то, что он считал принадлежащим Луи-Блану, оказывалось на страницах какого-нибудь трактата Пьера Леру или Консидерана и обратно. И все же я любил разговаривать с Соколовым, человеком бывалым и очень начитанным, и он сам был бы мне вообще симпатичен, если бы не его несчастная страсть к алкоголю, который он проглатывал в Швейцарии в огромном количестве и в самой ужасной форме абсента (тогда еще не был проведен федеральным правительством закон, воспрещающий производство и потребление этого вреднейшего сорта полыновки).

Соколов много видал на своем исполненном приключений веку, еще офицером был на ближнем и дальнем востоке, в Туркестане, Китае, Японии, и изрядно поколесил в Европе. Когда в начале 70-х годов ему удалось бежать из ссылки и пробраться в Швейцарию, на него бунтари возлагали большие надежды, как на писателя. За границей была даже издана кружком бакунистов его книжка «Отщепенцы», которая заключала в себе мало оригинального, но представляла недурную хрестоматию цитат из разных авторов старого и нового времени, имеющих отношение к социализму или коммунизму. В основу книжки был положен памфлет Жюля Валлеса «Непокорные», который был просто-напросто переведен Соколовым и, если память не изменяет мне, даже без упоминания о том. А к этому переводу Соколов приба-

---

[1]) Не спутал ли Соколов Прудона с Некрасовым, который счел возможным идеализировать отношение народа к пьянству на том основании, что он (народ)

... до смерти работает,
до полусмерти пьет?..

вил выписки из первых или вторых рук, характеризующие того или другого политического деятеля или писателя, скажем, отца церкви, громящего ростовщичество, или Томаса Мюнцера, проповедующего коммунизм, или кого-либо из более или менее современных социалистов.

Надежды, возлагавшиеся на Соколова бакунистами, скоро однако развеялись: Соколов уже не мог больше исполнять никакой ответственной работы, с трудом садился к столу, чтобы написать несколько строк, и когда нужда особенно тяжко давила на него, принимался за какой-нибудь перевод. Он прекрасно знал главнейшие европейские языки и недурно писал на них. Но алкоголь сделал свое дело: ему не сиделось, и я помню, как приятели, нашедшие ему работу по составлению небольшого французско-русского и русско-французского словаря в парижском издательстве Гарнье, принуждены были запирать его на ключ, отбирать у него сапоги и стоять, что называется, у него над душой, выжимая из него страницу или две, написанных его чудесным почерком.

Его публичные политические выступления были в это время почти всегда дики или нелепы. Еще в начале 70-х годов он приобрел печальную известность, избив в Цюрихе видного лавриста Смирнова. Летом 1882 г., когда я познакомился с Соколовым в Кларане, мы, русские радикалы, проживавшие в этом местечке, были однажды печально поражены видом нашего ветерана нигилизма, когда он, исчезнув куда-то с горизонта на несколько дней, вынес вдруг на улицу лицо, испещренное радугою синяков всевозможных оттенков, от свеже-багрового до бледно палевого.

— Что это с вами, Николай Васильевич? — участливо спрашивали мы у Соколова.

— Д-д-а вот эти м-м-мерзавцы швейцарские горе-граждане... У них были тут какие-то выборы. Я и стал их убеждать, что п-порядочным людям надо воздержаться от голосования, и доказывал, что этого требует анархия по П-п-п-рудону и Б-б-б-акунину, п-п-отому что всеобщая подача голосов есть всеобщая ложь... А они только х-хох-очут. Тогда я пошел в залу, где они голосовали, стал усовещивать их и оп-п-прокидывать у-у-урны. А г-г-господа избиратели, сколько их там было, все на меня навалились. И давай Николушку тузить. Но и Н-н-николушка сам малый не промах и хороших лещей надавал всем этим к-к-коровникам и с-с-сырроварам... И они меня били, и я их бил... К-к-конечно, как всегда до сих пор, с-с-сила победила п-право, и м-м-еня выбросили на улицу, но и с-с-иле влетело предостаточно: и б-б-улочник В-вишу, и м-ммолочник Шателяр, и мясник Р-р-рюше еще лучше меня разрисованы... А м-м-молодцы все-таки драться г-г-господа мужики-демократы. Я и не думал, что у них такие к-к-кулаки от С-семпаха и М-м-уртена остались, с-с-совсем не ожидал... Д-д-да, м-м-мастера дубасить

БИБЛИОТЕКА

— мы уж за аб-б-сентом и помирились, — с явным умилением вспоминал о перипетиях борьбы анархии с буржуазной демократией Николай Васильевич.

Эта воинственность не мешала ему обладать нежным сердцем. Он любил многих из своих приятелей, а Льва Мечникова, «Левушку», прямо обожал. На этой почве у него происходили курьезные столкновения с женой Мечникова, бывшею типом нигилистки, — но бонтонной нигилистки — 60-х годов.

Сидит Лев Ильич за шахматной доской — он был страстным шахматистом — и, волнуясь и нервно покачивая головой, готовит противнику решительный удар.

— Лева, не тряси головой, — вдруг раздается голос любящей порядок и плавность движений г-жи Мечниковой.

— Не об-б-бижай ты мне Левушку, — раздается столь же внезапно голос Соколова, возжелавшего фамильярным «ты» «п-п-посадить на место б-б-барыню», — чего пристала...

— Опять пил, — презрительно пожимает плечом в сторону Николая Васильевича Ольга Ростиславовна.

— Я п-п-пил, а ты п-п-пила, самая настоящая п-п-пила!.. — парирует негодующе Соколов.

Хохот присутствующих. Ольга Ростиславовна, разобиженная, уходит.

Несколько лет спустя Соколов, переселившись в Париж, сильно там бедствовал, страшно пил, простудился и умер от воспаления легких в госпитале.

С Соколовым связано у меня воспоминание о довольно безобразной сцене, которую он чуть было не устроил в пьяном виде на террасе у кларанской пароходной пристани бывшему проездом в Швейцарии Марксу. Я сидел за столиком ресторана с Соколовым и вскоре после того умершим от чахотки братом жены Кропоткина, «Гришей» Рабиновичем, и смотрел на сошедшую с парохода и усаживавшуюся в саду гостиницы публику.

Мое внимание было привлечено оригинальной парой, сидевшей у соседнего стола: пожилым, широкоплечим господином с лицом, изрезанным глубокими морщинами, с необыкновенно умными черными глазами, мясистым носом и огромной, почти совсем седой бородой, и молоденькой, очаровательной девушкой, повидимому, англичанкой, нежно-румяное лицо которой обрамлялось непокорной шапкой золотистых волос и освещалось лучезарным взглядом карих глаз.

Господин ужасно походил на фотографию Маркса, какая была приложена к французскому переводу «Капитала», и бывший на взводе Соколов сейчас же принялся без церемонии бросать в сторону этого двойника Маркса вызывающие фразы на французском языке: «А, ты думаешь, что тебе даром пройдет твой гаагский скандал: разорвал Интернационал на части, свой загнал в Америку, а нашего тебе никуда не загнать... Ишь, каким буржуа расселся на стуле. Да ты и есть буржуа, сколько «Капи-

талов» ни пиши... С мамзелью на старости лет благодушествуешь... Пережил Бакунина и не боишься раз'езжать теперь по Швейцарии... Да здравствует анархия!»...

Двойник Маркса продолжал оживленный разговор с собеседницей и лишь от времени до времени с недоумением прислушивался к тому, что выпаливал, заикаясь, этот ражий, благообразный (Соколов был очень благообразен), но сильно выпивший иностранец. Наконец, Соколов, раздраженный, как ему казалось, презрительным равнодушием джентльмена, поднялся с твердым намерением подойти к нему ближе и сказать «ему прямо в глаза, к-к-какой же ты М-м-маркс каналья». И мы с Рабиновичем могли увести от греха Соколова, только пообещав угостить его в соседнем ресторане таким Вильневом (белым вином), какого он еще не пивал. Мы совершенно искренно доказывали Соколову всю невозможность того, чтобы это был Маркс, о котором было известно среди эмиграции, что он был серьезно болен и лечился в Алжире. Кстати сказать, много лет спустя, разговаривая с Лаурой Лафарг (второй дочерью Маркса), я узнал, что летом 1882 г. ее отец был действительно проездом в Швейцарии, и она помнила его пребывание с ней в Кларане, но не сохранила ни малейшего воспоминания о соколовских выходках.

Не могу припомнить теперь, Соколов или Мечников познакомили меня с Г. В. Плехановым, которого я встречал на собраниях в Петербурге, но с которым лично знаком не был. За три-четыре года, с тех пор, как я его не видал, он сильно изменился, очень возмужал, зарос большой темно-русой бородой а-ля-Маркс, — его недруги говорили: подражая знаменитому социалисту, последователем которого он становился в это время все более и более. В течение нескольких месяцев летом и осенью 1882 г. мы с ним очень дружили, и я с удовольствием вспоминаю о наших встречах и разговорах. Он жил тогда в деревушке Божи над Клараном с женой и совсем маленькой дочкой, которую он возил в колясочке под платанами разрушенного замка Шателяр. Часто сходил он ко мне в Кларан, нередко и я бывал у него.

Остроумный, саркастический собеседник с вечными цитатами из Щедрина и Успенского, которых он основательно знал и на которых ловко ссылался в разговоре, он мне ужасно нравился. Повидимому, и я возбуждал в нем некоторый интерес, так как кой-какие из моих марксистских статей в «Деле» он читал и одобрительно о них отзывался. У нас завязывались с ним не раз длинные разговоры на социальные темы, и мне вспоминается по этому поводу одна изрядно комичная сцена.

Как-то раз, часов в одиннадцать утра он зашел ко мне и увидал у меня на столе книжку Бернгарда Беккера о реакции в Германии против революции 1848 г. Почти сейчас же наш разговор перешел на эту книгу, которую он еще в это время не читал, в частности на одну из основных мыслей автора,

а именно касательно мелко-буржуазного, ремесленнического характера городских слоев, втянутых в мартовское движение и скоро скомпрометировавших немецкую революцию своею политическою незрелостью и тягой к утопическим решениям на средневековый — цеховой лад.

Отсюда дальнейший переход к Прудону, как типу «мелкобуржуазного социалиста», был вполне естественным в устах Плеханова, который со всем пылом неофита-марксиста напал на писателя, бывшего еще недавно, в бунтовской период «Жоржа», большим авторитетом для него, и скорее зло, чем убедительно принялся вышучивать его. А я как раз в это время, отчасти под влиянием Мечникова и Соколова, усердно штудировал этого несравненного колебателя традиционных взглядов, подымателя нерешенных вопросов, и горячо доказывал Плеханову, что не на основании полемики, проникающей всю «Нищету философии» Маркса, и тем менее на основании отдельных саркастических замечаний в «Капитале», можно судить о значении автора «Что такое собственность», «Системы экономических противоречий» и «Справедливости в революции, церкви и государстве».

Мы сцепились. Возражая по обыкновению очень остроумно, Плеханов нарисовал забавную картину, как его оппонент (в данном случае я многогрешный) стоит, недоуменный и растерянный, на перепутьи между двумя городами и не знает, как бы это ему попасть в один, но не миновать и другой.

— Не понимаю, Н. С., решительно не понимаю, как это можно, усвоивши раз Маркса, возвращаться к Прудону. Прудон — ведь это давнопрошедшее, а мы идем к будущему, или, лучше сказать, к самому непосредственному настоящему, а Маркс именно и освещает нам современность и проливает свет на грядущий путь человечества.

Но я скоро заметил, что Плеханов читал мало самого Прудона и отделывался больше общими местами[1]), несмотря на все мои попытки свести наш разговор на более конкретную почву обсуждения главнейших мыслей Прудона, казавшихся мне значительными. Мой оппонент был немножко этим раздражен и делал беспрестанные отступления в сторону, которые затягивали наш спор до бесконечности...

В дверь комнаты довольно нетерпеливо постучали, и на пороге появился один из домочадцев Георгия Валентиновича, не помню уже кто.

---

[1]) Автор совершенно несправедлив к Плеханову. Настоящим «общим местом» для всякого образованного социалиста стало теперь меткое замечание Плеханова, что Прудон—«это давнопрошедшее». Когда Прудон утверждает, например, что машинная индустрия несет за собой вырождение, болезнь и смерть, то он отражает не точку зрения пролетария, который ставит своей целью овладеть развитыми производительными силами капиталистического общества, а точку зрения разоряющегося мелкого товаропроизводителя. Это, действительно, «давнопрошедшее».

— Жорж, да что же ты с нами делаешь? Ведь ты обещал нам сойти в Кларан на четверть часа, купить сельтерской и хлеба и сейчас же вернуться к обеду. А теперь уже половина второго, и мы тебя все еще ждем... Спасибо, пришло в голову зайти к Русановым: иначе где бы тебя найти?..

Плеханов всплеснул руками и заторопился.

— Вот вам воочию, Н. С., весь вред прудонизма. Все эти справедливости и т. п. прекрасные вещи ужасно мешают решению вопросов желудка... Неизвестно о чем проспорили целое утро и оставили ни в чем неповинных людей без обеда, — немножко раздосадованно отшучивался Георгий Валентинович, обещаясь «выбить из меня прудонистскую блажь» при следующем же свидании.

Плеханов усердно занимался в это время Марксом, его учениками и его предшественниками по созданию теории трудовой стоимости. У него я взял для прочтения «Социальные письма» Родбертуса к Кирхгофу и его же «К освещению социального вопроса». Родбертуса коснулся в ту пору Плеханов в своих статьях в «Отечественных записках». Помню, он как-то раз передал мне 2-ое издание «Системы приобретенных прав» Лассаля и просил меня «по-дружески тонким карандашом сделать слово против слова точный русский перевод латинских цитат», которые встречаются в таком изобилии в этом сочинении знаменитого трибуна. Георгий Валентинович комично жаловался на «кадетское воспитание», помешавшее ему познакомиться с латинским языком. Кстати сказать, с подобною же просьбою насчет тонкого карандашика и точного перевода обратится позже ко мне Лавров, но уже касательно греческих цитат в «Истории философии» Ибервега: ученейшему русскому автору «кадетское воспитание» было тоже помехой для изучения благозвучного языка эллинов.

Я уже упомянул о быстро развивавшейся у Плеханова тяге к марксизму, которая внушала ему порою выпады против всего, к чему можно было приложить кличку «мелко-буржуазный». Плеханов жестоко высмеивал тогдашнюю Швейцарию и ее порядки, создавшиеся на почве конституции 1874 г., и решения будничных, но важных для страны вопросов кантонального хозяйства. Меня же интересовала эта небольшая, трех-и даже четырехплеменная нация, которая, благодаря старинной практике демократии, умела хорошо справляться с теми политическими и общественными задачами, которые выдвигала перед ней история.

— Ах, не говорите лучше, Н. С., о швейцарцах: вы просто идеализируете этих мещан. Ведь у них все мелкобуржуазно... И люди, и даже природа... Посмотрите, посмотрите, напр., разве это гроза?

Разговор этот происходил в мае месяце у меня на квартире, возле окна, у которого мы сидели с Плехановым, смотря на

быстро двигавшиеся с озера к горе Кюбли грозовые тучи, между тем как Мечников и чахоточный чернопеределец Хотинский вели затяжную партию в шахматы.

Внезапно сгустившиеся почти в ночь сумерки вдруг прорезала ослепительная молния, и совсем близко от нас раздался короткий оглушительный удар грома, а через несколько минут к нам вбежала одна из дочерей хозяев и торопливо заговорила:

— Знаете, сейчас за нашим огородом под платаном молочника убило... Ох, боюсь я этих весенних гроз...

Я улыбнулся. Швейцарская природа по своему отвечала Георгию Валентиновичу на его обличения в мелкобуржуазности.

— Не торжествуйте, Н. С., самое подлинное кустарное производство: всего одного убило, да и то, вероятно, не совсем...

Мы все расхохотались — и Плеханов громче других.

Георгий Валентинович познакомил меня с В. И. Засулич и Львом Дейчем, проживавшими тогда временно над Клараном, в Фонтаниване, и сошедшими к нему в Божи (постоянно они жили в это время в Женеве). Вера Ивановна мне очень понравилась своей простотой и своеобразной задушевной, ненапускной скромностью. Она была одета совсем нигилисткой. Ситцевую блузку стягивал черный кожаный пояс. Волосы, правда, не были острижены, за то развевались на вольной воле по спине.

Дейч, отрекомендовавшийся мне какой-то чужой фамилией (я ее забыл), первое время нашего разговора вел себя со мной сдержанно и не без важности. И лишь после того, как Георгий Валентинович двумя-тремя дружескими словами охарактеризовал меня, как недавно приехавшего из России молодого литератора, проводящего социалистические идеи в легальных журналах, сменил гнев на милость и даже, когда мы вышли вместе от Плеханова и шли рядом, счел нужным приостановиться и с расстановкой проговорить:

— Ну-с, Н. С., я не считаю более нужным конспирировать с вами: я — Дейч... Лев Дейч...

При этих словах рыжебородый, проворный, речистый господин бросил вбок, на меня, сквозь пенснэ быстрый взгляд, очевидно, следя за впечатлением, какое должны были произвести на меня его слова.

— Очень, очень приятно, — только и мог ответить я на эту саморекомендацию исторической личности.

Дейч не особенно интересовал меня. Человек практики, он не любил теоретизировать, а меня как раз менее всего занимали практические вопросы. Наоборот, Плеханов очень привлекал меня к себе.

Однажды он пригласил меня прогуляться с ним в Женеву и вместе с тем помочь ему читать корректуру выходившего тогда в его переводе и под его редакцией русского издания «Манифеста Коммунистической партии». Выход этой брошюры сильно затянулся, и в одно из летних воскресений, когда вся протe-

стантская Женева благочестиво соблюдала праздник, мы с Плехановым сидели в маленькой комнате при русской типографии, которая была устроена Георгием Валентиновичем и его товарищами, и усердно правили первые страницы «Манифеста». На мою долю выпало знаменитое предисловие Маркса по поводу положения в России, и я с удовольствием читал, как высоко ставил деятельность народовольцев столь скупой на похвалы автор «Капитала», и даже не видел невозможности для русской общины стать отправным пунктом социалистического развития [1]).

Плеханов летом 1882 г. не относился еще так отрицательно к этой перспективе, как он сделал это годом-двумя позже в первых же изданиях «Группы освобождения труда», так как от прежнего чернопередельческого мировоззрения у него в это время оставались еще значительные куски. Но и теперь, насколько я мог заметить, он был уже энергичным защитником террора, что мне в нем очень нравилось, ибо я переживал тогда как раз первые моменты увлечения политикой, в противоположность защищавшейся мною в России «экономике», и с удовольствием слышал боевые речи Плеханова, по обыкновению, уснащавшего их забавными образами.

— Что же прикажете делать с этим толстолобым Митрофанушкой, ежели он человеческого языка не понимает? — пожимая плечами и иронически улыбаясь, говорил по адресу Александра III-го Плеханов, — приходится трепанировать бомбой этот Неандертальский череп, чтоб втиснуть в него понятие о политических требованиях современной России.

Тогда же мне пришлось — все через Плеханова — познакомиться и с П. Б. Аксельродом, которого Георгий Валентинович привел ко мне на квартиру. Как сейчас помню живые темные глаза на обрамленном черной бородой подвижном лице моего нового знакомого, который быстро передвигал по комнате свою статную небольшую фигурку и расспрашивал меня о своих пи-

---

[1]) Сославшись на автора «Капитала», Н. Русанов не счел нужным добавить ни слова о том, какие условия ставили учителя марксизма для возможности перерастания русской общины в социалистические формы производства. Так, Энгельс, например, писал в ответе Ткачеву: «Если что-нибудь может еще спасти русскую общинную собственность, дав ей возможность перейти в новую, действительно жизнеспособную форму, так это именно революция западно-европейского пролетариата». В письме к Вере Засулич Маркс заявил как будто нечто другое: «Чтобы спасти русскую общину, нужна русская революция». Позднее, в предисловии к переводу «Манифеста Коммунистической партии», Маркс обобщил эти два ответа: «Если русская революция послужит сигналом для революции пролетариата на Западе и, таким образом, обе дополнят друг друга, то существующее общинное землевладение в России может послужить исходным пунктом коммунистического развития». Эти положения Маркса и Энгельса как прежде, так, видимо, и теперь совершенно не поняты, не восприняты Н. Русановым. Кстати сказать, их совершенно не понял также и Н. Михайловский, тогда как, напротив, Н. Чернышевский ставил ставку на ведущую роль передовых стран. См. его «Критику философских предубеждений против общинного землевладения».

терских друзьях. У меня был как раз «подарок» из России для Аксельрода в виде последних чернопередельческих изданий, (газеты «Зерно» и т. п.), заделанных в переплетенную книжку «Дела». Этот презент посылался Павлу Борисовичу моим хорошим знакомым М. И. Шефтелем, который усердно упрашивал меня тотчас же повидаться с Аксельродом.

— Ах, какой это человек, — восторгался Шефтель Павлом Борисовичем: — как он знает Россию, как он понимает наши теперешние условия и что нам теперь нужно!

Сам Аксельрод, наоборот, горько жаловался на недостаточность сведений как раз о современной России и с большим интересом расспрашивал меня о том, что там делается, и в частности о кружке Шефтеля. О моей марксистской литературной деятельности Аксельрод почти ничего не знал, а когда Плеханов, видимо, более его следивший за русской литературой, тут же познакомил его вкратце с характером моих статей, то Павел Борисович ограничился только одним-двумя благожелательными словами и поинтересовался узнать о составе редакции «Дела» и возможности работать в журнале. В разговор наш скоро вмешался Плеханов, который пресмешно изобразил, какое странное впечатление произвел на него приезжавший года три тому назад в Швейцарию Благосветлов, с необыкновенной важностью распространявшийся о кустарной промышленности в России, точно в этом слове заключался какой-то особый таинственный смысл, остававшийся совершенно неизвестным другим.

Тут же зашла речь о Драгоманове, с которым меня уже познакомил Мечников и который пригласил меня к себе в Женеву. Плеханов говорил о Драгоманове с большим раздражением, как об авторе статьи «Обаятельность энергии». Эти два слова слышались тогда при всех свиданиях эмигрантов: статья была напечатана в «Вольном слове» и жестоко нападала на нетерпимость, на склонность к интригам, обману, клевете, которые будто бы царили в русских революционных кружках. Скоро, за подписью наиболее выдающихся русских эмигрантов, появилось и письмо, протестующее против общего тона и мало обоснованных утверждений Драгоманова.

Михаил Петрович Драгоманов был, несомненно, интересным и выдающимся человеком, хотя условия, в которые он был поставлен, в связи с некоторыми особенностями его характера, помешали ему применить как следует его крупные способности и энергию к общерусскому прогрессивному движению. Я думаю, главным препятствием тут было его украинофильство, заставлявшее его рассматривать и явления, и людей пробуждавшейся России с чересчур узкой националистической точки зрения.

Надо сказать, что и в своем украинофильстве он занимал межеумочную позицию, которая оттолкнула от него русских революционеров, но не сделала его признанным вожаком и всех

украинцев. Первое время по от'езде своем за границу опальный профессор все левел и во второй половине 70-х годов из простого либерала стал, если можно так выразиться, социал-либералом. В печатавшейся им на украинском языке «Громаде» он пытался проводить параллельно с украинским патриотизмом идеи умеренного, теперь бы сказали — реформистского социализма. И этого ему не могли простить чистые украйнофилы, которые выдвигали в своей программе на первый план исключительно требование политической самостоятельности отечества и поэтому считали всякое усложнение программы социальными вопросами гибельным для успеха своего дела. От этой полемики у Драгоманова осталось чувство раздражения к своим соотечественникам-патриотам.

Но еще с большим раздражением Драгоманов относился к социалистам-государственникам и социалистам-негосударственникам (ахархистам), которые, по его мнению, забывали из-за общих интересов социализма интересы политической независимости и автономии отдельных национальностей, входящих в состав крупных государственных тел. Кроме того, уже давно он подчеркивал важность охранения прав гражданина и человека от всемогущества центральной, даже республиканской и демократической власти, от государственного якобинизма, отыскивая ему противовес в широком развитии местных свобод. Борьбу за политическую свободу и за права личности он советовал вести со всевозможной энергией, но исключительно «чистыми средствами». Он почти всех русских социалистов считал за великих централистов и поэтому относился к ним неприязненно.

Когда я явился к нему в Женеве, он принял меня очень дружелюбно, пригласил к обеду, интересовался моими статьями и предложил участвовать в «Вольном Слове», на что я ответил отказом, — не потому, впрочем, чтобы я тогда же подозревал редактора газеты Мальчинского в сношениях с третьим отделением, а потому что мне не приглянулось чисто либеральное направление этого органа. После первого часа-двух приятной беседы с Драгомановым, который был в общем интересным собеседником, я вдруг почувствовал в его разговоре ноты, больно резнувшие меня по сердцу. Он сел на своего любимого украйнофильского конька и запальчиво принялся рассуждать о якобы великодержавном централизме [1]) русской социалистиче-

---

[1]) Читатель должен помнить, что В. И. Ленин неустанно бичевал «великорусский шовинизм», встречающийся сплошь и рядом среди «русской социалистической и революционной интеллигенции». Великая Октябрьская революция разоблачила многих и многих. Когда большевики истолковали лозунг «долой аннексии» в том смысле, что любая национальность имеет право на самоопределение, вплоть до отделения,—меньшевики, эсеры, кадеты и т. д. с бешенством издевались над такой трактовкой вопроса. То решение национальной проблемы, которое дано конституцией СССР, естественно вытекает только из положений марксизма и ленинизма. С этой точки зрения,

ской и революционной интеллигенции. Он возводил это мировоззрение еще к 60-м годам и изображал даже Чернышевского и Добролюбова людьми, которые не могли понять до конца значение автономии различных народностей, входивших в состав Русской империи, и которые грешили высокомерным отношением к политической свободе во имя интересов неосуществимого в тогдашей России социализма. А других русских социалистов он уже прямо обвинял в том, что, несмотря на их громкие фразы об общечеловеческих идеалах, они являются помощниками царского правительства в угнетении других национальностей.

Стоя в своем кабинете у небольшого столика, на котором лежал об'емистый атлас, кажется, Андрэ, Драгоманов стучал рукой по картам то России, то Австрии и с пафосом указывал на этнографические границы великой украинской народности, выраставшей в его воображении в обширный культурный, более культурный, чем великоруссы, народ, но угнетаемый всеми, — и русскими, и немцами, и поляками, — как бы радикальны ни были взгляды интеллигенции этих племен по отношению к своему собственному отечеству.

Этот разговор оставил во мне очень неприятный осадок, и у Драгоманова я больше не был, а когда несколько лет спустя он случайно встретился со мной в Париже, я был вежлив, но умышленно холоден с ним, и наши отношения порвались окончательно.

Еще одна интересная фигура восстает в моих швейцарских воспоминаниях. Как-то, зайдя к Мечникову, я застал у него крупного, еще молодого господина, которого Лев Ильич отрекомендовал мне какой-то ничего не говорящей фамилией, а сам в разговоре называл запросто Сергеем. Мое внимание было сразу приковано общим видом нового знакомого. Он был роста выше среднего, очень крепко сложен, — мне особенно запомнилась его богатырская грудь, колесом выпиравшая из-под летнего желтого кителя, — и ходил большими шагами по комнате, горячо продолжая, повидимому, уже давно начатую с Мечниковым беседу. Его лицо было некрасиво, почти безобразно, но оригинально. Он мне слегка напомнил Зайчневского своим большим лбом и выпуклыми карими глазами. Но у него они

должна быть отдана историческая справедливость М. П. Драгоманову: этот политический радикал, даже скорее либерал, в национальном вопросе занимал позицию, одинаково направленную как против крайностей украинофильства, так и против «великорусского шовинизма». В качестве примера существования такого шовинизма в лагере революционеров, приведем свидетельство М. Ф. Фроленко. В „Записках Семидесятника“ он сообщает: „Еще незадолго до моей поездки в Питер в одном разговоре Перовская явилась не только завзятой народницей, но еще и р у с а ч к о й. Все русское, — народ, Волгу, Жегулевские на ней горы, русские песни,—все это она ставила выше м а л о р о с с и й с к о г о“ (стр. 160). Кстати, подчеркнем, как курьёз, что разоблачающий Перовскую добрейший М. Ф. Фроленко сам попадает впросак, именуя украинцев—малороссами!...

сидели под сильно выступавшими вперед надбровными дугами. Черные волосы на голове и короткой бородке кучерявились, а губы были толсты и выпячены немножко, как у негра.

— Ах, как порадовали вы меня, Лев Ильич, своим отзывом о моей книге... Писал я ее наскоро, некогда было справляться, да в Италии трудно и доставать русские книги, писал больше по воспоминаниям да что сердце подскажет. Во всяком случае всю душу вкладывал и очень просил итальянских друзей хорошенько язык вычистить. Я ведь итальянский хоть и хорошо знаю, а все-таки не доверяю себе. Эти, знаете, романские народы — любители хорошего стиля. Не то, что немцы или англичане, которым только дело говори да пиши грамотно: больше с тебя и не спросят. А в Италии каждый проводник, каждый ветурино норовит при случае какую-нибудь изящную фразу из классиков ввернуть... И уж если такой знаток итальянского, как вы, не очень недовольны моей книгой, то значит, она мне удалась.

— Могу только повторить, что сказал: очень живо и хорошим итальянским языком написана... Ну, может быть, кой с чем я и не согласился бы в вашем предисловии. Мне, кажется, напр., что вы недооценили тип нигилиста 60-х годов — я ведь сам шестидесятник, — но портреты современных революционеров вполне рельефны. Перовская и Клеменс мне особенно понравились.

По этим словам я сразу, конечно, узнал, кто был у Мечникова. В то время в эмигрантских кругах очень много говорилось о появившейся недавно в Италии книге некоего Степняка, под каковым всевдонимом скрывался Сергей Михайлович Кравчинский. «Подпольная Россия» была встречена с большой симпатией не только в революционных, но и в демократических и даже просто либеральных кругах Европы. И товарищи Кравчинского, кто только знал по-итальянски, все уже успели познакомиться с книгой и восторженно отзывались о ней. Сам я в это время еще плохо знал итальянский, но с моим недурным знанием французского и латинского да с итальянским словарем я успел составить себе достаточное понятие об этой первой сравнительно большой литературной работе Кравчинского.

Не могу сказать, чтобы эта книга, как и другие, впрочем, вещи Кравчинского, писанные им во второй и окончательный приезд за границу, каковы «Россия при царях» и другие вышедшие по-английски не то памфлеты, не то трактаты, особенно нравились мне. Складно, но очень поверхностно написанные, притом чем дальше, тем больше под углом зрения чисто политического радикала, почти либерала, словно не понимающего или не хотящего понимать значения социального вопроса в современной жизни, они были чересчур приноровлены ко вкусам западно-европейской и специально английской буржуазии. Можно было прямо подумать, что их писал, действительно, какой-то знатный иностранец, который не хочет, чтобы в нем узнали

человека, одно время тесно связанного с русским социалистическим движением и принимавшего в нем участие не только словом и пером, но и самыми решительными действиями. И это проявлялось в писаниях Кравчинского тем заметнее, чем более выпадал на их долю успех за границей.

Из Швейцарии мы с женой поехали осенью 1883 г. в Париж, после того, как я поправился, благодаря месячному пребыванию в горах (в Майене над Сионом-Зиттеном) от болотной лихорадки, схваченной мною во время экскурсии в Ронской долине. Перед от'ездом из Швейцарии я встретился с только-что приехавшей из России Марьей Николаевной Ошаниной (Ашаниной), которая за несколько лет, когда я не видел ее, сильно сдалась, имела болезненный вид, но со всегдашней энергией старалась организовать, пока за границей, народовольческий центр, чтобы создать точку опоры для партии, жестоко разгромленной в России. В это же время познакомился я, через свою жену, с одной интересной во многих отношениях французской семьей, которая была очень полезна нам практическими указаниями в первые месяцы нашего пребывания в Париже и ввела нас во французские полубуржуазные-полуинтеллигентные круги, психология которых открывала нам любопытные стороны среднего сословия старой культурной страны.

II

Париж.—Жизнь и типы французской буржуазии.

Париж 80-х годов почти с первого же взгляда сильно поразил меня. Я впервые увидал настоящий мировой город. И хоть многое в нем для скромного обывателя было не особенно удобно (о чем речь ниже), все эти неудобства отступали на задний план перед огромностью первых же впечатлений.

Мы в'езжали в Париж через Лионский вокзал, миновав бесконечный ряд винных складов по набережной Берси, где бочки всевозможных сортов и величин невольно привлекали к себе наше внимание, и как только сели с незатейливым багажом на извозчика, были охвачены водоворотом парижской жизни. День был теплый, но совсем осенний. Сквозь легкий туман вырисовывались громады однообразных и в этом квартале далеко неизящных зданий. На некоторых из задних стен этих многоэтажных белесых коробков рекламы, выписанные такими гигантскими буквами, каких я еще не видал на об'явлениях, возвещали всему городу и миру миллионное число подписчиков газеты «Пти Журналь», рекомендовали английскую горчицу «Кольманс Мэстард» и приглашали в несравненно дешевый магазин готового платья «Пон-Неф».

И сразу же сквозь перспективу Лионской улицы наш взгляд упал на высокую колонну с золотой статуей наверху. То была июльская колонна (в честь «трех славных» дней 27—29 июля 1830 г.), осеняемая бронзовым гением свободы. Я знал, что колонна возвышалась на площади Бастилии, там, где стояла некогда ненавистная государственная тюрьма, которую народ Парижа взял приступом 14-го июля 1789 г. И сейчас же понял, что одно из обаяний Парижа заключается не только в нем самом, но и в той поразительной ассоциации идей, которая вызывает у мало-мальски развитого человека в памяти ряд мировых событий и великих исторических личностей, что нам, русским революционерам, знакомы с самой ранней юности и кажутся такими близкими и родными.

Путь наш с вокзала лежал, впрочем, в этот первый день приезда в Париж не через Бастильскую площадь: извозчик повез нас через Аустерлицкий мост на левый берег Сены, мимо Ботанического сада, по длинному Сэн-Жерменскому бульвару, где на углу Сенской улицы жила уже упомянутая знакомая нам семья французов. Она играла в начале нашей парижской жизни такую роль и притом была настолько типична для средней интеллигентной семьи Франции, что мне придется подробнее остановиться на ней. Я только считаю необходимым затушевать некоторые особенности ее положения, изменить профессию главы семейства и стереть кой-какие другие черты ее обихода, так как не желаю, чтобы эти добрые люди, сошедшие уже в могилу, были узнаны, — что даст мне возможность изобразить с большею свободою и правдивостью их, повторяю, очень характерную для средней французской буржуазии, жизнь.

Итак, допустим, что мосье Моро де Жуар был ученым физиком, который превосходно изучил один из отделов ее, скажем электричество, и несмотря на то, что написал несколько книг по своей специальности и выпустил из своей лаборатории немало выдающихся знатоков своего дела, не был ни профессором, ни академиком, ни даже обладателем красной ленточки Ордена почетного легиона. Тому помешали некоторые особенности его характера и отчасти его биографии. Когда я познакомился с ним, ему было под 50 лет. Он родился в начале 30-х годов прошлого века, но прекрасно сохранился. Небольшого роста, статный, довольно плотный, он производил в общем очень приятное впечатление правильными чертами своего гладко выбритого лица (кроме небольших усов и эспаньолки), умным взглядом серых глаз, толковой спокойной речью и изящною простотою своих манер.

Он был рожден в богатой аристократической семье и вместе с нею принужден был проделать политическую эволюцию от орлеанизма к бонапартизму, оставшись, однако, навсегда в душе любителем умеренно либеральной монархии Людовика-Филиппа. Его жена, наполовину греческого происхождения, принесла своему мужу значительное приданое, и молодая чета увлекалась шумной и изрядно расточительной жизнью светских парижан Второй империи, пока нашествие немцев, Коммуна и установление сначала фактической, а потом и легальной республики не произвели серьезной перемены в положении супругов. Дача под Парижем, дом в Нормандии были проданы, капиталы прожиты. Сорокалетнему фешенебельному, до сих пор праздно жившему господину надо было искать работы, чтобы хоть как-нибудь существовать.

Какую карьеру избрать? Де Жуару всегда претила политика, а теперь «пришествие новых социальных слоев», которое восторженно приветствовал Гамбетта, вызывало в исполненном аристократических и буржуазных предрассудков человеке лишь чувство отвращения. Помогло случайно одно обстоятельство.

Наш дэнди, несмотря на свой рассеянный образ жизни, всегда интересовался естественными науками и от нечего делать, в свободные от светских удовольствий часы изучил довольно основательно электротехнику, когда на эту отрасль обращали еще очень мало внимания. И вот он решил завести лабораторию, где молодые люди, готовящие себя к ученой или промышленной карьере, могли в свободной от профессорского педантизма форме и теоретически, и практически знакомиться с различными отделами электричества. А так как, кроме того, де Жуар был в молодости для проформы на юридическом факультете и даже получил диплом лиценциата, то ему пришло в голову освежить свои знания гражданского кодекса и открыть при лаборатории кабинет юридической консультации по составлению, проверке и защите патентов на электрические изобретения.

Дело сразу пошло шибко, и, благодаря своим прежним светским знакомствам, де Жуар скоро приобрел целый круг хорошо плативших ему учеников в лаборатории и клиентов в юридическом кабинете. Вообще, в сношениях с ним была масса разнообразного и любопытного народа, не только французов, но и иностранцев, и зачастую изрядно экзотических: левантинцев, бразильцев, японцев, порою русских.

Надо сказать, что ко времени моего с ним знакомства де Жуар успел своими специальными работами в течение 10—15 лет приобресть известное имя, и у него завязались сношения с ученым персоналом Третьей республики, в роде знаменитого Бертело. Но де Жуар от дней своей молодости сохранил самую жестокую антипатию к новому государственному строю и ни за что не хотел занять никакого официального поста «на содержании у Марианны», как он любил называть республику, иронизируя над этой демократической кличкой. Он даже лучше относился к крайним радикалам в роде тогдашнего Клемансо, чем к главам умеренного республиканства, «оппортунистам» Гамбетте, Жюлю Ферри, Полю Беру, Вальдэку-Руссо и т. п.

Вообще, политические взгляды де Жуара были очень смутны. Идеалом его была конституционная монархия с управлявшей государством цензовой буржуазией. Но и к бонапартизму он относился снисходительно.

— Ах, мосье Русанов, настоящая свобода была только при Людовике-Филиппе. И даже ваши друзья социалисты, все эти Луи Бланы, Прудоны, Консидэраны, могли свободно пропагандировать все эти бредни... А теперь что? Вы вот восхищаетесь нашей свободой прессы (незадолго перед тем прошел через парламент очень либеральный закон 1881 г. о печати). Но ведь это просто оружие в руках республиканской партии, чтобы диффамировать своих противников. Да и городскому плебсу надо было бросить подачку: пускай думает, что он действительно свободен, потому что может безнаказанно браниться в своих грязных газетках. А пусть-ка монархисты или бонапартисты станут снова силой — и вы увидите, как республиканское правитель-

ство сократит все эти пока ему необходимые мнимые свободы... Да излишняя свобода и вредит правильному развитию общества и ведет к разнузданности. Я помню, как в дни моей юности вся Франция вздохнула свободно, когда Наполеон прибрал к рукам всю эту банду красных демагогов.

— Но послушайте, мосье де Жуар: в эту банду входили и орлеанисты, к которым, как мне кажется, вы тяготеете. Разве вы были за империю?

— В сущности, конечно, нет. Но все было лучше, чем это трехлетнее политическое безумие. При империи же я не занимался политикой, а жил себе частным человеком совершенно спокойно и до сих пор вспоминаю это время с удовольствием. Личной свободы было у нас и тогда сколько угодно... И знаете: и народ, и столь любимый вами рабочий были довольны. Посмотрели бы только, какие тогда шли работы по переустройству и украшению Парижа, и как всем, у кого лишь были здоровые руки, жилось привольно... А крестьяне, ну хоть бы у нас в Нормандии, недаром кричали: да здравствует император! Как они на яйцах да на масле наживались! В Париж, в Лондон посылали, и сколько было луидоров опущено в знаменитый шерстяной чулок... Опять погубили демагоги конца империи.

— Простите, мосье дэ Жуар, но ведь не демагоги же об'явили войну Пруссии. Наоборот, я читал, что императрица Евгения прямо считала эту войну «своей»...

— А что оставалось правительству делать? Надеялись победой отвратить Францию от увлечения всяким радикализмом... И уж во всяком случае не империя была виновата в ужасах осады Парижа и в коммуне. Кстати, бонапартисты и не осмелились бы так расправиться с коммунарами, как расправились ваши же господа республиканцы с ренегатом орлеанизма Тьером во главе... Хороши, впрочем, были и господа коммунары. Посмотрели бы вы на одного Рауля Риго, как он в фантастической военной форме и со всяческими украшениями на груди носился как бешеный по улицам отданного во власть черни Парижа и расстреливал всякого, казавшегося ему подозрительным «реакционером».

Рауль Риго вовсе не был героем моего исторического романа, но я не считал нужным возражать что-нибудь моему собеседнику. Мне было просто интересно слушать его, и я даже не желал задать ему вопроса, что он лично видел из рассказываемых им ужасов про коммуну, потому что знал, что, подобно многим другим буржуа, он заблаговременно уехал из Парижа и осаду его немцами и коммуну пережил в провинции, на бретонском берегу, где-то возле Сэн-Мало.

Философское мировоззрение моего знакомого тоже было довольно смутно и, главное, поражало внутренним противоречием. Формально католик, сам он был совершенно неверующим, но жестоко восставал против «официального атеизма» республиканцев, Жюля Ферри ненавидел за организацию светской

школы, «школы без бога», всячески издевался над гражданскими обрядами брака, крещения, погребения и ссылался по-своему на Вольтера:

— Ну, разве Вольтер мог бы участвовать в этих пресловутых образовательных реформах? Помните, как он говаривал своим знакомым, когда те пускались вольнодумствовать при слугах: «Осторожно, милые друзья, вышлем сначала отсюда эту сволочь, а там уже будем рассуждать, какой бог существует, да и вообще существует ли бог»... А теперь с этим всеобщим, светским и обязательным обучением республиканская Франция соберет через десяток-два лет хорошую жатву фальшивомонетчиков и бандитов... Нет, народу нужна религия.... Да даже и мы, образованные люди, понимающие всю детскость религии, разве мы можем безнаказанно уклоняться от внешнего выражения ее, посещения мессы и т. п.?

Я не мог сдержать улыбки, потому что де Жуар не был в церкви лет двадцать пять, со дня своего бракосочетания.

Улыбнулся и он, но сейчас же заговорил серьезно:

— Нет, знаете, хорошая месса, право, стоит оперы... Да у нас на некоторых службах в церкви и поют оперные певцы. Я признаю великую эстетическую и социальную роль католицизма. Не колеблите эту веру в народе...

В особенности забавно было слушать де Жуара, когда он распространялся о женском вопросе. Его речь становилась тогда положительно сборным пунктом всевозможных предрассудков старой романской страны, — что не мешало ему в действительной жизни отступать от этих принятых на веру положений.

— Ах, не говорите мне, пожалуйста, о женском равноправии: самая умная женщина остается до могилы ребенком... Я уже оставляю в стороне ее неспособность подниматься до высших научных обобщений. Но она не годится никуда даже и в практическом отношении. И наш наполеоновский кодекс недаром дает мужчине руководящую роль в семье. Вы от женщин никогда не услышите настоящего делового совета...

А я знал, что строгий критик женщин всегда прислушивался к мнению своей жены как раз в практических вопросах и в большинстве случаев поступал, как она советовала.

Но речь де Жуара звучала все внушительнее:

— Нет и не может быть равноправия между мужчиной и женщиной, как не может быть и одинаковой нравственности для двух полов. Мужчина должен быть вечным опекуном над женщиной, и ему принадлежит право поощрять и наказывать ее за поведение... Скажу вам откровенно, хоть вас с вашими удивительными русскими понятиями о женщине это, пожалуй, и поразит: у нас в последние годы возмущались Дюма и его брошюрой «Убей ее», — ее, изменившую тебе жену, а я вполне признаю эту точку зрения. Только обладая правом жизни и

смерти над связанной законным браком с тобою женщиной, ты можешь охранять прочность семьи и, стало быть, всего общества...

Как раз несколько месяцев спустя мне пришлось на примере самого же Жуара убедиться, в какой степени наше поведение зависит больше от общего нашего склада, чем от наших взглядов. Но об этом речь будет ниже, когда я познакомлю читателя с мадам и мадемуазель де Жуар.

Мадам де Жуар была, как я уже сказал, наполовину иностранного происхождения. Ее мать была эмансипированная гречанка из очень богатой семьи и, выйдя замуж за француза, старалась отстоять свою независимость не во имя каких-нибудь общественных идеалов, а только для того, чтобы жить по своему усмотрению. Ее муж, слабохарактерный бонвиван, довольный богатым приданым, не особенно препятствовал ей в этом, и оба супруга жили в свое удовольствие, не мешая друг другу. Юная дочь Зоя с ранних лет привыкла к этому необычному во Франции складу семейной жизни и, кроме того, подверглась влиянию некоторых горячих поклонниц Жорж-Занд. Она зачитывалась «Валентиной», «Консуэлой», «Мопра» и с жаром распространялась о «святости чувства», о «свободе сердца», о «высшем законе любви». Это не помешало ей влюбиться в мосье де Жуара и обещать ему быть не только любящей, но и покорной женой, как того требовал светский, но исполненный традиций молодой человек.

Вскоре она испытала ряд разочарований. Ее муж, в общем добрый малый, был очень любезен с ней. Но это не препятствовало ему иметь массу приключений с дамами света и полусвета, — что он даже не особенно скрывал от нее, оправдываясь тем, что то были легкие, чисто физические увлечения, в которых его сердце не принимало, мол, никакого участия, тогда как ее, свою несравненную Зою, он любил всей душой.

Первое время мадам де Жуар горько плакала при каждой такой измене, но потом привыкла и, видя, что мужа ей не переделать, стала в свою очередь утешаться с ухаживавшими за нею кавалерами светского круга. В противоположность мосье де Жуару, телесно она оставалась верна ему, за то несколько раз испытала очень сильную платоническую любовь, которая на целые месяцы совершенно выбивала ее из колеи, превращала в восторженную обожательницу временного избранника сердца и оставляла почти всегда в глубочайшем разочаровании и с невероятно расстроенными нервами.

Но шли годы, и эта вечная экзальтация не прошла ей даром, сделав ее, наконец, героиней очень печального приключения, невольными свидетелями которого пришлось быть нам. Когда мы познакомились с де Жуарами, ей было около сорока лет. Полная, живая, неглупая, необыкновенно говорливая, с резкими чертами отцветающей южанки в критическом возрасте, она производила странное, двойственное впечатление. В ней

собственно было два человека: практическая парижанка, которая была превосходной помощницей своему мужу в его научно-технических занятиях, и совершенно взбалмошная, сентиментальная, наивная женщина, с вечными фразами на устах из Руссо, Жорж-Занд, Мюссе и жаждой великой, испепеляющей любви.

Для того, чтобы читателям был понятнее дальнейший рассказ, мне придется познакомить их еще с третьим членом семьи: дочерью супругов, мадемуазель де Жуар. Она носила поэтическое имя Лелии, данное ей мамашей в честь одной из героинь Жорж-Занд, и была в то время привлекательной маленькой шатенкой с красивыми серыми глазами, вздернутым носиком и чудесным сопрано. Она недурно играла на фортепиано, училась пению у знаменитой Гарсии, и ее дуэты с отцом, который тоже славно пел баритоном, доставляли истинное удовольствие слушателям на домашних вечерах, которые де Жуары давали от времени до времени своим знакомым из ученого и промышленного миров.

Но уже три года, как с этой барышней произошло большое, как говорится в этой среде, несчастие. Лелия, согласно обычаю консервативных кругов, обучалась на правах приходящей в «монастыре», светском католическом пансионе, директрисою и надзирательницами которого были монашенки уж не помню какого ордена, а преподавателями — строго консервативные учителя гимназий и профессора университета. Такой характер школы гарантировал, по мнению родителей, в достаточной степени усвоение их дочерьми как вечных христианских истин, так и более временных, но не менее необходимых правил светского этикета. А для того, чтобы столь тщательно выхаживаемое в этой благочестивой теплице растение не могло попортиться от соприкосновения с грубой действительностью, например, сценами на шумных улицах Парижа, к прелестной Лелии была приставлена особая, специально отрекомендованная монастырем горничная, на чьей обязнности было сопровождать барышню по дороге из пансиона домой и вообще ни на минуту не оставлять ее.

В течение нескольких лет родители не могли вдосталь нахвалиться ни благонамеренной школой, ни высоко нравственной бонной, носившей, кроме того, небесное имя Цецилии. Никто, действительно, не умел так хорошо потуплять глаза, не знал такого количества церковных гимнов, например, об ангеле, который внезапно спустился с неба к древоделу Иосифу и об'явил ему и одетой в белые и голубые ризы деве Марии о готовящемся злодеянии Ирода; никто не был так тверд в разных церковных службах и обрядах.

Но, увы, когда Лелии минуло пятнадцать лет, то благочестивая бонна сообщила своей барышне под страшным секретом, что у нее есть жених, некто Леон, красавец-приказчик из знаменитого магазина Лувра, и что каждый вечер он приходит

к ней на свидание, в ее комнатку-мансарду на верхнем этаже, над квартирой де Жуаров; но что у этого жениха есть друг Октав, тоже красавец и тоже приказчик из Лувра, который несколько раз видел мадемуазель Лелию и ночей не спит, и руки готов наложить на себя от внезапно воспылавшей любви: так не пожелает ли барышня познакомиться с этими молодыми, очень изящными господами и не прольет ли хоть каплю бальзама сострадания на глубокую рану, нанесенную ее глазами пламенеющей душе Октава?..

Через несколько дней у обеих пар состоялось свидание позднею ночью в двух соседних мансардах, и аристократическая Лелия довольно скоро отдала свое сердце демократическому Октаву. Так продолжалось несколько месяцев, пока изобиженный по какому-то поводу горничною консьерж не доложил о ночных свиданиях мосье де Жуару. Произошла сцена, началом своим напоминающая «боярина Оршу» Лермонтова. Но так как дело происходило в культурной Франции девятнадцатого века, а не на границе средневековой Литвы, то конец был все-таки помягче, и злополучную Лелию отец не запер навеки на ключ в комнате и не бросил ключа в реку, а отдал на два года в другой, уже провинциальный монастырь-пансион, славившийся строгостью нравов, и поручил настоятельнице неусыпно следить за дочерью и «исправлять ее характер».

Живая и неглупая от природы, как мать, с темпераментом бонвивана отца, Лелия поняла, что ей предстоит пережить тяжелый искус, но решила внешним послушанием приобрести расположение монашенок и вела себя столь безукоризненно в духе заведения, что воспитательницы ставили ее всем ученицам в пример и сообщили, наконец, родителям, что алмаз, врученный их попечению, отшлифован теперь по всем правилам католической педагогии, а посему дальнейшее пребывание Лелии они считают бесполезным.

Де Жуары взяли дочь домой и не могли действительно нарадоваться на мадемуазель Лелию в новом воплощении. А Лелия осталась по существу тем, чем была, разве с еще увеличившейся жаждой жизни, но теперь скрывала это под необыкновенно скромными и размеренными манерами. В строго католическом пансионе она выучилась образцовому лицемерию и изощрила свою и без того большую природную наблюдательность, — что помогло ей узнать массу невинных и не невинных секретов в заведении, в котором процветали нравы, описанные еще Дидро в его знаменитой повести «Монахиня», и этим знанием она держала воспитательниц и подруг в своих руках.

Вернувшись в семью, она стала зорко всматриваться в жизнь родителей и сейчас же схватила ее особенности. Она видела, что с течением времени отец ушел в науку и технику, сделался примерным мужем и очень полюбил свою практичную

подругу жизни; но что у ее матери увлечения проходили по душе одно за другим, словно грозы, и с каждым разом становились все серьезнее.

Случилось так, что к этому времени в числе учеников де Жуара оказался молодой человек лет двадцати двух, кровный парижанин, сын маленького чиновника, с огромными аппетитами, но с крошечными средствами для их удовлетворения, не особенно умный, но изрядно хитрый, не очень способный, но крайне энергичный и прекрасно подкованный для борьбы за существование, словом, тип чистокровного карьериста или, как говорят французы, арревиста. Безошибочный инстинкт ловца человеков подсказал Жюлю Бертье,—таково было имя нашего героя, — наиболее выгодную линию поведения в семье Жуаров: необыкновенно почтительное отношение к папаше; скромное при других, шумное с глазу на глаз восхищение физическими и духовными красотами мамаши; удивительную предупредительность и услужливость в обращении с дочерью, которая наедине с ним вела себя совершенно по-товарищески, так как нашла в нем внутреннее сходство с собой.

В результате, папаша души стал не чаять в молодом да из ранних ученом, который пожирал глазами своего учителя, когда этот производил какой-нибудь сложный опыт, и быстро, не колеблясь, по одному жесту руки, по беглому взгляду, подавал мосье де Жуар различные инструменты или «специи», нужные в данный момент для эксперимента. Не один секрет своего ремесла стареющий электрик передавал преданному юноше и видел в нем украшение своей лаборатории.

С мадам дело обстояло иначе. Жюль скоро заметил склонность великовозрастной дамы к романтическим чувствам и стал безукоризненно разыгрывать роль несчастного влюбленного. Надо было показать ей, что в его душе пылает настоящий вулкан, но эта пылающая лава чувств сдерживается необыкновенными усилиями воли, ибо добродетельный юноша знает, что столь высоко стоящее над ним существо, как жену известного ученого, можно только безгранично уважать и — молча обожать.

Порою Бертье устремлял долгий-долгий выразительный взгляд своих обыкновенно довольно циничных, но в эти моменты становившихся восторженно мечтательными черных глазок на зрелую красавицу. А когда ее взор встречался с этим взглядом, он необыкновенно быстро, но с видимым великим замешательством опускал его перед собой и молчаливо вздыхал. Порою, когда на вечерах у де Жуаров хозяева и гости просили его что-нибудь продекламировать (Жюль недурно декламировал), он неизменно в числе прочих номеров, рассчитанных на разные вкусы, читал что-либо убийственно чувствительное специально для мадам, напр., «Плакучую иву» Мюссе или патетические места из «Размышлений» Ламартина.

Зная страсть госпожи де Жуар к сентиментальным письмам, он всякий раз, когда выезжал за город, составлял великолепный букет из полевых цветов и посылал его даме своего сердца с необыкновенно почтительным, но исполненным наивно неловких косвенных признаний письмом; и такими же эпистолиями сопровождал билеты на концерт, в театр или цирк, которые он добывал для супруги своего патрона от знакомых музыкантов и артистов.

С мадам де Жуар у ловкого юноши дело кончилось таким же успехом, как и с мосье де Жуар, и даже успехом более скорым и решительным, чем он сам этого ожидал, так как после нескольких месяцев усердного ухаживания Жюль стал любовником женщины, которая физически до сих пор не изменяла своему мужу.

Это был первый не-платонический роман сорокалетней светской дамы, и она ушла в него с трагическою серьезностью, с отчаянием сознания, что это была последняя—с ее стороны глубоко искренняя — любовь, с готовностью пожертвовать ей многим, только, конечно, не общественным положением.

Бертье оказался настоящим альфонсом и на первых же порах уговорился с милой своего сердца, что в виду его непрочного материального положения, она должна помогать ему как своим влиянием на мужа, так и деньгами, на что последовало согласие мадам Зои, с присовокуплением даже некоторых других доказательств любви. Так, молодой человек должен был приходить три раза в неделю обедать у Жуаров и сверх того получал ежемесячно известное количество подробностей элегантного мужского туалета в роде галстухов необыкновенного вида и цвета, щегольских перчаток, тонких чулок и т. п.

Но на Жюля были возложены и некоторые обязанности, по большей части сентиментального характера, так как, отдавшись ему, мадам де Жуар все-таки, прежде всего, стремилась к идеальной стороне любви. Получив вкус к нежным посланиям молодого человека в период его ухаживания за ней, она поставила теперь прямо в обязанность Жюлю каждый день писать ей подробные письма с изображением его чувствований, словом, нечто в роде дневника любви.

Но в этом заключалась драма их отношений, так как Бертье, добившись своей цели, вовсе не желал попусту тратить с пером в руках время, которое он привык проводить по вечерам гораздо веселее. Между тем, мадам де Жуар была с своей стороны прямо неутомима и ежедневно угощала своего избранника длиннейшими посланиями, с цитатами из романов и своими собственными размышлениями о родстве душ, о величии любви, которая освящает даже отступления от обычной морали, даже от женской добродетели.

Все остальное в репертуаре любви Жюль проделывал добросовестно. Но писание было для него нож острый, и он под всякими предлогами скоро стал всячески уклоняться от

этих литературных упражнений, притворяясь хронически нездоровым, а затем даже начал манкировать тремя обязательными обедами в неделю, когда он должен был приносить госпоже Жуар свои доклады о переживаниях сердца в промежуток между посещениями.

Влюбленная женщина совершенно потеряла голову и, чтобы привязать к себе Жюля, стала довольно часто бывать вечерами у него на маленькой студенческой квартирке, ссылаясь своим домашним на необходимость разных светских визитов. А дочь внимательно следила за матерью и даже при помощи новой горничной успела заметить, что мадам Жуар надевала на себя для этих выходов самое тонкое белье и по возвращении тщательно прятала его. Эта тактика нужна была дочери, чтобы взять мать в руки и завоевать себе свободу, по которой алкала ее маленькая, но энергичная душа авантюристки и в которой ей решительно отказывала мать.

И вот, в один прекрасный вечер, когда отец ушел на заседание ученого общества, а мать собралась в свое сентиментальное путешествие, дочь тоже стала демонстративно надевать пальто и шляпу.

— А ты зачем выходишь?.. — с непритворным изумлением спросила мать.

— Да затем же, зачем и ты, милая мама, — преувеличенно спокойным голосом ответила дочь.

— Ты с ума сошла!.. Приличная девушка — и одна уходишь из дому неизвестно куда! — вскипела мадам де Жуар.

— Приличная замужняя женщина — и одна ночью идешь на свидание! — умышленно патетически подает реплику дочь.

— Что это значит, Лелия?

— Ты сама знаешь что.

Мать побледнела.

— А ты... ты знаешь? — едва выговорила она.

— Конечно, знаю, и радуюсь твоему счастию.

— Мадемуазель Лелия!

— Мадам Зоя!

Взоры большой брюнетки и маленькой шатенки скрестились, как две остро отточенные рапиры. Победила маленькая шатенка.

— О, не губи меня, милая Лелия, я так люблю Жюля, — не выдержала мать и выдала свою тайну дочери, которая лишь подозревала мать, но в сущности еще ничего не знала и теперь только сразу поняла свое торжество. — Но эта любовь такая чистая, такая святая... как всегда... о, я несчастная, я всегда искала такой любви, мне так не доставало ее, — лепетала мать.

— А кружевное белье? — рапира дочери вонзается в бедную мать хорошо рассчитанным ударом.

— Ты... ты... осмелилась... искала... видела?..

— Все, дорогая мамаша, все сентиментальные и прочие узоры, — лжет маленький Маккиавелли в ожидании эффекта.

Грузная брюнетка падает на близстоящее кресло и принимается истерически рыдать:

— Боже мой, я погибла... погибла... за что же ты так меня?

Лелия наклоняется к матери и покровительственно гладит ее по волосам:

— Пожалуйста, не рыдай, мама, а то прислуга еще не поднялась к себе наверх и может бог знает что подумать... А потом я скажу тебе вот что: ты хочешь жить, хочу жить и я, и даже, извини меня, имею больше на это прав, потому что у меня нет мужа, да и я моложе тебя... Уходи по своим делам, а я буду уходить по своим: нам нечего ссориться, лучше будем помогать друг другу...

— Как, у тебя снова любовник?

— Не бойся: пока нет, да я и не такая дура, какой была. Я должна найти себе подходящего мужа, а до поры до времени хочу выходить, когда и куда пожелаю... Не плачь, мама, умойся и попудрись, — и дочь услужливо вытащила из своего саквояжика коробку пудры...

Соглашение было заключено. И мать, и дочь должны были взаимно способствовать своим выходам, даже оставаться, когда то нужно было, с отцом, напоминать друг другу, что предстоит такой-то визит, куда они должны якобы пойти вместе и т. д.

Сначала стыдясь, затем все более и более впадая в свойственный ей восторженный тон, мать рассказывала дочери, которую она теперь избрала своей наперсницей, какой это замечательный человек Жюль, какой благородный юноша, какой любящий и какой нравственный. Лелия не делилась такими откровениями, да ей пока и нечем было делиться, только улыбалась и внимательно выслушивала мать. Через некоторое время, когда Жюль стал явно пренебрегать своим амплуа, не приходил обедать и предпочитал даже оставаться с мосье де Жуар в лаборатории для вечерних работ, только чтобы избежать чувствительных тет-а-тет'ов с мадам, последняя не выдержала и упросила дочь сопровождать ее на рекогносцировку в Латинский квартал, чтобы узнать, почему вот уже неделя, как Жюль не показывается в доме патрона. Ей кто-то из знакомых шутливо рассказал, что встретил ассистента из их лаборатории в приятной компании в одном из ресторанов улицы Школ.

Мать и дочь переоделись в простых работниц и отправились на разведку. Первым делом мать подвела дочь к квартирке Жюля и попросила ее узнать у консьержки, дома ли молодой человек. Консьержка, которая насмешливо посмотрела на молодую девушку, заместившую, по ее мнению, зрелую даму, ответила, что Жюля нет дома, но что она найдет его в таком-то ресторане, где он обедает с товарищами, а если его

нет и там, то пускай поищет по разным кабачкам все в той же улице Школ: он далеко ходить не любит, все в своем квартале вертится.

Не оказалось Жюля и в ресторане. И вот началось путешествие матери и дочери по студенческим тавернам, пока, наконец, случайно мать не заглянула с улицы в полузавешенное окно одного из кабачков. Она схватилась за сердце и громко вскрикнула.

— Мама, что с тобой? — окликнула стоявшая поодаль и жестоко соскучившаяся дочь.

— Лелия, Лелия!.. Поди скорее сюда, смотри... Это он...

Дочь подошла и стала у окна рядом с матерью. В хорошо освещенной комнате, очевидно, отдельном кабинете, плохо защищенном от взоров с улицы красивой, но чересчур ажурной занавеской, сидело за столом несколько молодых людей и веселых дам. Жюль, любящий, благородный, высоконравственный Жюль, страдавший, по его словам, вечерами сильной невралгией, сидел тоже в этой компании между брюнеткой и блондинкой и занимался тем, — обед, очевидно, дошел уже до дессерта, — что ел вишни втроем, т.-е. подносил их ко рту то правой, то левой соседке, а когда та надкусывала, быстро вырывал ягоду из накрашенных губ подруги и доедал сам. Товарищи с интересом следили за этими маневрами и от души хохотали и рукоплескали, когда Жюлю, несмотря на его проворство, не удавалось донести до рта ничего. На столе стояло несколько бутылок вина, несколько фляжек ликера, и, кончив пир, молодежь принялась отчаянно отплясывать канкан под звуки расстроенного фортепиано.

Мадам де Жуар стояла как вкопанная, дрожа всем телом, и вдруг разразилась потоком проклятий:

— Злодей, чудовище, неблагодарный... Теперь я понимаю, почему он не приходит к нам обедать. А уж, кажется, такой кухарки, как у нас, во всем Париже поискать... Смотри, смотри, Лелия, как он... пожирает... все пожирает кругом: ртом, глазами, вишни, этих грязных созданий... О, я завтра же об'ясняюсь с ним... Все кончено между нами... Он недостоин такой великой любви.

Лелия едва отвела мать от окна. На завтра же состоялось бурное об'яснение, которое окончилось, однако, слезами и поцелуями примирения. Жюль успел убедить мадам де Жуар, что то была случайная попойка по поводу предстоящей женитьбы одного из его друзей, который прощался со своей холостой жизнью; что он, Жюль, хотя совсем больной, не мог отказать товарищу в своем присутствии и пошел со скорбью в душе, с вечно носимым им в сердце образом мадам де Жуар, но по случаю нездоровья скоро охмелел и совершенно не помнит, что с ним было...

После этого происшествия злополучная женщина в такой степени зачастила к Жюлю, что он решил, наконец, прибег-

нуть к героическому средству, чтобы порвать эту связь. Он выбрал одно из самых патетических писем к нему мадам де Жуар и, вытравив из него свое имя, послал его по почте самому мужу, а мадам предупредил, что влюбленная в него консьержка перехватила ее письмо и теперь грозится переслать его мосье де Жуару. Охваченная ужасом, мать тщетно убеждала дочь принять грех на себя, — благо почерки их сильно походили один на другой, — и сказать отцу, что письмо это писала она своему возлюбленному. Лелия отказалась наотрез.

— Благодарю, милая маман! Это, чтобы вы меня снова в монастырь засадили, теперь уже до совершеннолетия? Нет, вывертывайся сама, как знаешь... Вино нацежено — надо пить, — закончила дочь общеизвестной французской поговоркой...

Бледный, с дрожащими губами, конвульсивно сжимая листок бумаги в руке, мосье де Жуар на следующее утро вошел в будуар жены.

— Зоя, это ты писала?

— Нет... то-есть... да... нет... Это — Лелия! — вдруг отчаянно вскрикнула мадам де Жуар.

— Позови Лелию и сама приходи в мой кабинет.

Мать бросилась к дочери и попробовала еще раз уговорить ее.

— Лелия, все, что хочешь, но спаси меня... пойми, я погибаю...

Мадам де Жуар вспомнила всегдашние разговоры мужа о том, что неверность жены может быть искуплена только ее кровью... Лелия осталась непреклонной. Шатаясь, мать прошла к мужу в сопровождении дочери.

— Лелия, это твоя рука? — спросил видимо хладнокровно мосье де Жуар, протягивая письмо дочери.

Лелия бросила беглый взгляд.

— Очень похожа на мою, но не моя...

— Чья же?

— Не знаю.

— Не знаешь?

— Совершенно не знаю.

Отец отирал выступившие у него на лице капли холодного пота. Две минуты зловещего молчания — и вдруг глава семейства решительно указал дочери на дверь:

— Можешь уйти, останься пока в своей комнате, я приду к тебе, если будет нужно.

Не успела Лелия затворить дверь, как мадам де Жуар бросилась на колени перед мужем и лихорадочно стала целовать его руки, страстно шепча:

— Прости, дорогой, хороший: то была минута безумия... До сих пор я никогда не изменяла тебе, несмотря на то, что ты...

Она запнулась.

— Понимаю, несмотря на мои старые измены... Так это правда? Ты писала письмо? Ты отдалась другому... Совсем?..

И он провел рукой по лицу, точно снимая паутину.

— Да... я... не знаю... как это случилось... Мрак, все кругом меня мрак... Только ты один светишь мне теперь, бесценный...

— Дочь знает?

— О, нет!..

— Послушай, Зоя, будем говорить серьезно. Если ты действительно любишь этого... этого... я не хочу знать кого... уходи к нему, оставь меня... я буду выдавать тебе ежемесячно половину того, что зарабатываю. Я сам был когда-то виноват пред тобой... а теперь встань.

Но мадам де Жуар не вставала, обнимала колена мужа, и ее слезы продолжали жечь его руки.

— Клянусь... Люблю тебя, тебя только одного... Ни за что не оставлю тебя... Убей, но не гони... Все кончено... Я опять твоя, вся, целиком, душой и телом, до гроба.

— Встань же, говорю тебе, встань, Зоя!.. Пусть будет все кончено, как ты говоришь. Ни слова больше о прошлом... Хорошо, что Лелия не знает... Напрасно я ей показал это письмо, погорячился...

И жизнь в семье де Жуаров потекла попрежнему. Только жена сидела теперь все время с мужем и прекратила свои вечерние выходы. Добродетельный Жюль аккуратно ходил в лабораторию, изредка обедал у учителя и заменил удивительные галстухи более простыми. Лелия выходила свободно куда хотела, и мать старалась всячески покрывать эти выходы.

Эта семейная трагедия, кончившаяся, как увидит ниже читатель, мещанской драмой, была рассказана мне и моей жене Лелией, а отчасти и самой матерью, так как обе они очень любили нас и в течение некоторого времени были с нами очень откровенны. Здесь приходится даже упомянуть о кой-каких особенностях нашей парижской жизни, своеобразно истолкованных нашими знакомыми и введших — по крайней мере дочь — в забавное заблуждение.

Мы с женой поселились, дешевизны ради, на довольно пустынном в то время бульваре Араго, на углу улички Мармузе, в нижнем этаже, в крошечной комнатке, окна которой выходили так низко на улицу, что по желанию можно было входить к нам не через дверь, а просто перешагнув подоконник. К нам ходило довольно много народу из тогдашней немногочисленной — революционной и учащейся — колонии Парижа, по большей части молодых людей обоего пола и нашего возраста. Из более пожилых посетителей вспоминаю только Германа Лопатина, эмигранта Цакни, «Гришу» Гуревича (родственника очень дружившего с нами Романа Ромма).

Нередко у нас набиралось столько посетителей, что в погожие дни часть их предпочитала садиться у окна с внешней стороны на стульях, поставленных тут же на тротуаре — эта

комбинация очень нравилась веселому Герману Александровичу, который зачастую приносил к нам свой завтрак, — и между улицей и нашей квартиркой устанавливалось через окно общение душ и передача на улицу незатейливого угощения: чаю, дешевых печений, яблок и т. п. Обе де Жуар — и мать, и дочь — были в восторге от этих собраний, где царили дружеская простота и непринужденное веселье тогдашней русской немножко нигилистячей интеллигенции, и если сами не решались садиться в своих шикарных платьях на тротуарном партере, как называли мы в шутку внешнее под открытым небом отделение нашей квартирки, то довольно отважно помещались на единственной сидельной мебели нашей комнатки, — длинном канапе, где средним числом сиживало у нас человек по пяти-шести особ обоего пола.

Однажды Лелия восторженно вскрикнула в разговоре с женой:

— Ах, счастливые вы, нигилистки! Я тоже хотела бы попасть в нигилистки...

— А ты знаешь, что это такое нигилистка?

— Ну, конечно: образованная кокотка!..

Бесполезно было бы разубеждать Лелию в таком мнении, которое, впрочем, скоро сменилось у нее недоумением, когда она увидела, что самые дружеские разговоры молодых людей и дам или девушек не вели к путешествиям парами в номер гостиницы. А сделав атаку на одного из наших юных знакомых и увидав, что эта тактика была им не понята, Лелия совсем развела руками и в раздумьи промолвила:

— Странные вы все-таки люди, русские... Вас не поймешь: как будто вы и совсем свободны в отношениях между собой, а посмотришь, у вас все это кончается ничем.

Но она, как и мать, продолжала бывать у нас на Араго и даже, когда ей нужно было уходить по своим делам, говорила отцу, что идет к нам. А «свои дела» состояли у нее в том, чтобы поскорее найти мужа, так как ей жестоко надоела в общем довольно однообразная жизнь дома. Пробовала было она прибрать к рукам одного своего родственника, кончавшего курс студента-юриста. Но тот, зная хорошо нрав Лелии, уклонился, как рассудительный француз, от этого счастия, рассчитывая на лучшую партию. Сорвалось у нее также с одним богатым инженером бельгийцем. И тогда не то с отчаяния, не то в порыве легкомыслия, она завела интригу с одним красивым, но очень глупым молодым человеком, сыном состоятельных родителей, которые, желая вывести свое единственное детище в люди, держали его в черном теле и давали ему на содержание гроши, так что до поры до времени он принужден был служить за скудное вознаграждение в каком-то страховом обществе.

Дело, однако, зашло у Лелии с этим господином так далеко, что ей нужно было во что бы то ни стало стать его законной женой. И хотя ее мать и особенно отец были очень

против этого брака, другого выхода в их среде не было. Родители жениха условились выдать на обзаведение молодой чете довольно изрядную сумму денег, а мосье де Жуар принялся за трудную работу обучать своей специальности будущего зятя с тем, чтобы устроить за границей одно из отделений своей лаборатории.

Это событие курьезным образом повлияло на наши отношения с Жуарами. Многоречиво и путанно мадам де Жуар принялась об'яснять нам, что они хоть и очень любят нас, но принуждены теперь прервать знакомство с нами, потому что ее муж считает виновными в поведении Лелии, закончившемся нежелательным браком, именно нас, Русановых, и нашу нигилистическую обстановку, внушившую, мол, их дочери чересчур свободное для людей их круга обращение с молодыми людьми. Но, повидимому, и мать и дочь просто чувствовали, что мы, вовсе того не желая, слишком много знали из их интимной жизни и внушили главе семейства мысль о необходимости отказаться от дальнейшего знакомства с нами.

Лишь несколько лет спустя, когда де Жуары рассорились с дочерью и зятем, которые немилосердно тянули с них деньги на жизнь, а сами ничего не зарабатывали, возобновились наши в общем дружеские отношения со стариками. Но и первых двух лет нашего знакомства с ними было достаточно для нас, чтобы через них познакомиться с нравами средней парижской, и притом интеллигентной, буржуазии.

Впечатления от этого мира, падавшие на наши свежие идеалистически настроенные души, были поистине подавляющие. И когда приблизительно в эти годы появился роман Золя «Семейный горшок», против которого посыпались в буржуазной печати ожесточенные обвинения в клевете на французское среднее сословие, мы, наоборот, должны были признать общую художественную правду изображения и разве лишь добавили бы, что Золя сконцентрировал, как в фокусе зажигательного стекла, рассеянные в разных уголках французского буржуазного мира явления частной и общественной морали.

Не то, чтобы эти слои целиком состояли из злодеев и развратниц. Но нас поражала сама обстановка их жизни, которая делала средних порядочных людей незавидными представителями общества, основанного на борьбе интересов, страстей и предрассудков.

Начать хотя бы с материальной стороны. Почти все эти семьи были расчетливы, так расчетливы, что у многих эта расчетливость переходила в скаредность. Годами эти семейные ячейки копили деньги, стараясь сколотить такую сумму, чтобы под старость, скажем годам к пятидесяти—шестидесяти, их главам можно было бы жить на ренту. А те из этих людей, которые были побогаче и могли существовать на капитал, все-

таки сочли бы себя очень несчастными, если бы их расходы целиком поглощали их доходы и они не могли бы отложить в год тысячи—двух, а то и более франков.

Это достигалось прежде всего тем, что собственно материальные потребности отступали у этих людей на второй план перед социальными, т.-е. они старались жить на-показ, не столько для самих себя, сколько для тщеславного парадирования перед другими такими же семьями, для удовлетворения идеалов комильфотности и порядочности, принятой в их среде.

Все члены семейной ячейки одевались очень хорошо. В шкафах и комодах у дам было достаточное количество шикарных платьев и хорошего белья для выхода и приема гостей, — а дома они донашивали до последней нитки все, что становилось старым, и мужья и братья видели родственных особ женского пола в самых затрапезных одеяниях.

Мужчины тоже имели по нескольку пар костюмов, и молодое поколение, сын студент или служащий, старалось для воскресного или вообще торжественного выхода быть одетым во все праздничное, так что на этот конец полагалось даже обладать особым праздничным кошельком. В этих семьях досконально знали дешевых, но сравнительно хорошо шьющих портних, хотя бы на другом конце Парижа. Но раза два в год считалось хорошим тоном заказать хоть какую-нибудь часть туалета у известного портного, чтобы можно было сказать: «А я, знаете ли, сделала себе чудесное манто к пасхе у... Ворта (или Пакэна, или Лаферьера)».

Но главным образом все эти боевые доспехи покупались в гигантских магазинах или универсальных базарах, в роде Лувра, Бонмарше, или начинавшего тогда входить в моду «Прентан», или, наконец, тогда совсем дешевых «Галлерей Лафайета», «Самаритянки» и т. п. Добродетельная мать семейства знала, конечно, также в точности дни больших распродаж в этих учреждениях, особенно дни в неделе, когда продавались по дешевой цене так называемые купоны, или обрезки. Этим путем обыкновенно подновлялся гардероб матроны, и составлялось годами приданое дочерям.

Несколько раз в году давались обеды друзьям и полезным знакомым и два-три танцовальных вечера. Обеды были на славу, изготовлены по всем правилам классической французской, действительно превосходной кухни и состояли из пяти—шести перемен. Блюда, конечно, шли точно по алфавиту, начиная от аза (закусок) и кончая фитой (кофе с ликерами). Каждой перемене соответствовали издавна установленные обычаем сорта красного и белого вина, и можно было бы осрамить себя на целый год, если бы к супу было подано вино, которое полагалось к жаркому, и наоборот.

У каждой уважающей себя семьи этого круга имелся погреб, куда не только складывался запас каменного угля и кокса, но и помещались две-три бочки вина, которые обыкновенно

покупались на набережной Берси и подвергались зачастую самим главою дома операции, — или, лучше сказать, священному обряду, — клейки при помощи яичного белка или рыбьего клея. Обыкновенное вино пилось хозяевами круглый год с прибавлением изрядного количества воды, самое плохое давалось прислуге, получше ставилось только в упомянутых экстренных случаях гостям. А когда не было такого своего, то покупалось несколько бутылок в хорошем винном магазине, при чем одни предпочитали подавать его на стол в бутылках с ярлыками, приписывавшими мафусаиловы веки напитку, а другие считали долгом придавать ему более семейный вид, ставя его в графинах, и только со скромной гордостью уверяли присутствовавших, что «это винцо идет от одного знакомого нам винодела возле Бордо» или «от нашего кузена из Бургундии».

Эти потребительные священнодействия сопровождались обыкновенно вечером, на котором присутствовали, кроме приглашенных на обед гостей, гости второразрядные, дожидавшиеся в «салоне», пока торжественно не откроются двери из столовой, откуда раздавался стук ножей и вилок и звук разговоров, и не проследуют попарно в гостиную хозяева и избранные посетители.

Иногда давались и танцовальные вечера, поражавшие настем, что кавалеры и дамы оставались вместе, лишь пока танцовали, а когда замирали звуки вальса или польки, издававшиеся на семейном фортепиано или чаще пианино каким-нибудь кузеном-виртуозом или захудалой учительницей музыки, мужеский пол и пол женский немедленно расходились по местам, и матери семейств зорко следили, чтобы этот обычай, напоминавший не то восток, не то первобытное племя, не нарушался неуместными разговорами между существами разного пола вне танцев. До такой степени дочери семейств считались горючим материалом и вообще хрупкими вещами, которые нужно было тщательно охранять, чтобы их не постигла участь знаменитой вазы, воспетой Сюлли-Прюдомом: «Ах, не касайтесь ее — она разбита»...

Для того, чтобы удовлетворить социальной необходимости давать обеды и вечера и в то же время не делать лишних расходов против программы семейного бюджета, который составлялся и исполнялся французской буржуазией, несомненно, с большею тщательностью, чем государственные бюджеты Третьей республики, все члены семьи должны были ежедневно экономить. И экономия эта сказывалась на пище, отоплении и освещении.

Люди этого слоя ели вообще очень плохо, и, напр., у де Жуаров на хорошей посуде подавалось всего так в обрез, что для случайного посетителя не хватило бы даже лишней чашки кофе. Мы, конечно, никогда не позволяли себе приходить к нашим знакомым не только в обеденное время, но и к чаю. Тогда, кстати сказать, только что стало в Париже входить в

моду пить чай якобы по-русски, и в романах из русской жизни, печатавшихся фельетонами в дешевых газетах для консьержей и прикащиков, можно было прочесть сплошь и рядом фразы вроде: «Сама княгина раздала своим блестящим светским гостям по прекрасному куску самовара»...

Бывавшие у нас французы в свою очередь удивлялись, как это к нам могут приходить к чаю наши знакомые без предупреждения. И одна эмансипированная старая дама, бывшая приятельница Жорж-Занд, повела однажды с моей женой такой разговор:

— Ах, дитя мое, дитя мое, смотрю я на вас и только удивляюсь вашей поразительной нерасчетливости. Я уж не говорю о ваших бесконечных собраниях, когда к вам приходят по нескольку человек и запросто пьют и даже едят у вас. Но вот я каждый вечер (она жила в нашем доме наверху и спускалась часто к нам посидеть запросто вечером и вспомнить времена своей молодости) вижу у вас одного вашего знакомого, инженера, и каждый день примечаю, сколько он у вас стаканов чаю выпьет.

Старушка горько-хитро улыбнулась и покачала много видавшей на своем веку головой и продолжала:

— Вы, дитя мое, не думаете об этом, а я — о, я слежу за этим и скорблю, прямо скорблю за вас. Знаете ли вы, что этот господин, страдающий неумеренной жаждой у чужих людей, каждый вечер выпивает у вас три-четыре стакана, а в стакан кладет по четыре, — да, по четыре куска сахару! — значит, кусков двенадцать—пятнадцать в вечер. Но ведь вы знаете, в фунте кусков шестьдесят в среднем, а фунт стоит пятьдесят сантимов. Подумайте, в четыре дня он истребляет у вас на полфранка сахару, а в месяц франка на четыре напьет. Сосчитайте, и вы увидите, что в год вам придется выложить из кармана только на сахар и только для одного знакомого до пятидесяти франков. А перед вами ведь вся еще жизнь впереди... Пойдут дети... Наступит старость...

И старушка тяжело вздохнула.

Скаредничали наши знакомые и на отоплении. В сущности, меня всегда поражало, как французы, которые так долго живут в своей стране и так, казалось бы, должны были приспособиться к ней, до сих пор не могли выработать себе некоторых элементарных удобств в жизни (так было, по крайней мере, сорок лет тому назад, но, кажется, и теперь в этом отношении прогресс был не очень головокружительным).

Посмотрели бы вы тогда на квартиру среднего француза. Центрального отопления в то время, за редкими исключениями, не было и в помине, и, конечно, не было и хороших печей. Лишь с половины восьмидесятых годов стали входить в употребление передвижные печи, и истинно-русский поляк, инженер Шуберский, очень нажился изготовлением, как называли мы их тогда, «шуберок». Французы же принуждены были огра-

ничиваться каминами, которые гораздо больше грели небо, чем земное помещение. Разумеется, в богатых семьях, где в обширные камины клалась уйма дров, нельзя было жаловаться на холод, да и там обитатели жались больше к огню. А средний обыватель, обыкновенно топивший свой небольшой камин каменным углем, должен был пройти целую науку, прежде чем выучивался закладывать горящие угли смоченною золой и поддерживать под пеплом огонь в течение нескольких часов.

Прибавьте к этому отсутствие двойных рам, которых не могли заменить в обыкновенной квартире прибивавшиеся к створкам окон кожаные колбаски, начиненные кострикой, и вы поймете, почему среднее буржуазное семейство, хотя и уверяющее вас, что домочадцам совсем не холодно, так как, мол, зимы у нас сравнительно теплые, снег бывает, видите ли, всего несколько раз в году, да и то не надолго, зимою предпочитало сбиваться в одну комнату. (Дамы, мало-мальски занимавшиеся хозяйством, с наступлением зимы носили неизменно на руках «ципки» от холода). А, кроме того, таким образом получалась и экономия на освещении, так как лишь в очень зажиточных семьях глава семьи работал отдельно в своем кабинете.

В духовном отношении нас поражало больше всего отношение между полами. В типичной буржуазной семье браки заключались столь же мало по любви, как и в крестьянстве. Любовь, по крайней мере, искреннее влечение друг к другу, встречалась разве в рабочей среде, где свободные браки, без участия священника и даже мэра, были нередки. Обыкновенный же французский брак был прежде всего деловым союзом, и в особенно традиционных семьях родители даже раньше условливались между собой насчет брака их детей и лишь после таких переговоров позволяли молодым людям смотреть на себя, как на жениха и невесту, но зорко следя за тем, чтобы парочки не оставались совсем наедине, ибо народная мудрость имела на этот счет многовековой афоризм: «Нельзя грязнить воду, которую собираешься пить», — роль воды играла, конечно, девица, невинная от рождения.

Легальное положение женщины было во Франции восьмидесятых годов очень низкое. Тогда еще не было проведено ни одной из тех половинчатых реформ, которые в последующие десятилетия изменили положение женщины несколько к лучшему. Муж был господином жены, которая, как значилось в гражданском кодексе и комментариях к нему, должна была следовать за мужем, если бы он того возжелал, даже в зараженную местность. Жена не могла заключать никаких имущественных сделок без согласия мужа. Муж имел право на личный заработок жены. Даже при распространенной среди буржуазии форме так называемого раздельного имущества муж был в сущности распорядителем состояния жены.

Женское образование было в загоне. Когда энергичный Жюль Ферри и его правая рука, живущий до сих пор ветеран

свободной мысли Фердинанд Бюиссон, организовали средние женские учебные заведения в виде так называемых лицеев для молодых девушек, большая часть буржуазии отнеслась к этой серьезной реформе с явным предубеждением и продолжала посылать своих дочерей в католические пансионы-монастыри, — мы видели на примере де Жуаров, с каким успехом.

На студенток же почтенные представители французского мещанства смотрели, как на погибших существ. Любопытно, что самое слово «студентка» сохраняло в то время в латинском квартале почти исключительно свое средневековое значение разбитных подруг средневековых же студентов, бывших вместе учащимися, нищими и отчаянными авантюристами в роде знаменитого поэта-висельника Франсуа Вийона (Виллона). Первые пионерки высшего образования, по большей части иностранки и между ними прежде всего русские и англичанки, встречались во Франции студентами и профессорами с нескрываемой враждой и презрением. На кафедрах нередко можно было увидеть господ в роде профессора эмбриологии Кадья, который умышленно входил в такие цинические подробности на лекциях об оплодотворении, что слушавшие его студентки иногда не выдерживали и с горевшими от стыда щеками и слезами на глазах уходили из аудитории при общем одобрительном хохоте студентов.

И, однако, живая человеческая натура не отказывалась от своих прав даже в этом лабиринте идейных клетушек и в этом сплетении традиционных цепей. Желание удовлетворять запросам тела и духа было, конечно, неистребимо и, встречая на своем пути препятствия, лишь принимало карикатурные или недостойные свободного человека формы. Взаимное тяготение полов, проявлявшееся во Франции с давних пор и притом с энергией, следы которой носит искусство, литература, сама социальная жизнь страны, вызывало среди этой очень старой, очень искусственной и в сущности очень консервативной культуры явления, которые могло отрицать только лицемерие и подробное социологическое и историческое об'яснение которых было бы здесь не у места. Не нужно было дожидаться Золя и французских «нана-туралистов», чтобы констатировать распространенность и адюльтера, и семейного треугольника, а то и четыреугольника. Так было издавна во Франции, до революции в более откровенной и аристократической форме, после революции же, с наступлением господства буржуазии, в форме более прикровенной и мещанской.

Да и как хотите вы, чтобы живые люди, принадлежащие к очень одаренной, подвижной и импульсивной расе, имеющей притом за собой по крайней мере пятнадцать веков цивилизации, могли удовлетвориться в области чувств тем, что давал им брачный, прежде всего имущественный союз? Жажда любить и быть любимым, построить на почве зоологического влечения дурной или хороший, но все равно привлекательный человече-

ский идеал вполне естественно влекла участников легального сожития к тому, что французы картинно называют «ударами перочинного ножа в брачный контракт». Именно в большинстве случаев перочинного ножа, а не какого-нибудь более страшного оружия.

Конечно, без трагедии, в которой играл роль и кинжал, и револьвер, и серный купорос, нельзя было совсем обойтись, и от времени до времени сенсационные убийства и процессы красноречиво говорили о протесте человеческой личности против связывавших ее пут. Но в среднем, сам адюльтер, само нарушение законов принимало аккуратные и умеренные формы, позволявшие супругам жить жизнью сердца и в то же время соблюдать интересы семьи, французской семьи, к которой, может быть, больше чем к какой-нибудь другой применимо гениальное изречение Глеба Успенского: «Муж грабит, а жена подбирает — и выходит семейный дом».

О, импульсивные, поддающиеся влиянию сильных аффектов и звучных фраз французы и француженки могли быть очень пламенными любовниками! Но эта пламенность нисколько не мешала им постоянно иметь в виду интересы стяжательной ячейки, именуемой семьей. Святость страсти, откровенность чувства, право на любовь, — все эти горячие речи, текшие расплавленной лавой со страниц знаменитых романов Жорж-Занд, конечно, не годились для среднего француза. Наоборот, прелюбодеяние, любовная интрига, правильно организованная связь карались на словах, но проделывались на каждом шагу самыми ревностными обличителями и обличительницами. Тут разве замечалась только разница между полами. И как во время Второй империи пресловутый профессор Низар разглагольствовал о двух моралях, морали господствующих классов и морали классов подчиненных, так и буржуа Третьей республики серьезно рассуждал о двух моралях: мужской и женской.

Главное отличие их заключалось в том, что при соблюдении правила общежития «не пойман—не вор», все же, раз адюльтер раскрывался, предписывалось гораздо строже относиться к адюльтеру женщины. И почему? Потому, видите ли, что результатом связи мужчины на стороне может быть ребенок, внесенный им в чужую семью, тогда как результатом адюльтера женщины может быть ребенок, внесенный ею в свою, т.-е. мужнину семью. Это рассуждение готтентота нам приходилось слышать неизменно в буржуазной среде, которая, очевидно, забывала, что «чужая» семья была для кого-то «своей», и что живой результат появлялся столько же по вине мужчины, как и по вине женщины.

До какой степени это совершенно варварское понятие вкоренилось среди французской буржуазии, можно видеть хотя бы и из того поистине сногсшибательного факта, что один из крупнейших французских радикалов Третьей республики, который прославился своими похождениями за кулисами

театров, счел, однако, верхом либерализма созвать на семейный совет своих старших, в то время уже взрослых, детей и заставить их произнести суровый приговор над матерью, его женой, потому что бедная, оставленная мужем женщина позволила себе временно увлечься гувернером своих младших детей.

Но, повторяю, прелюбодеяние — вещь, освященная обычаем во французском буржуазном обществе. И если французам принадлежит забавное определение: «деспотизм есть форма абсолютной монархии, смягченной политическим убийством монарха», то французам же принадлежит и определение «брак есть форма абсолютной принадлежности одного человека другому, смягчаемой прелюбодеянием». Недаром у одного модного писателя восьмидесятых годов вырвалась в каком-то из его романов фраза: «Бьет пять часов вечера, — время, когда весь Париж занят адюльтером».

То, что мы видели у де Жуаров и их знакомых, подтверждало эти наблюдения отечественных романистов Франции. Любопытно было, напр., смотреть на приятелей, добрых приятелей мужа, когда они обступали хозяйку дома на вечерах или успевали улучить среди дня момент, чтобы заняться чувствительным разговором с ней (мадам де Жуар очень любила эти сентиментальные беседы и порою даже умышленно устраивала так, чтобы мы могли присутствовать при них).

Вспоминаю красивого, чернобородого адвоката лет сорока, который становился на балу против хозяйки, скрещивал по-наполеоновски руки на груди и упорно, целыми минутами смотрел своими выразительными глазами сквозь пенснэ на пышное декольте мадам де Жуар, в позе самого недвусмысленного устремления, еще более подчеркивавшегося заглушенными взрывами смеха, походившего на звуки, которые несутся порою из конюшни, и залпами комплиментов, посвященных исключительно физическим красотам мадам де Жуар и произносившихся горячим полушопотом.

Вспоминаю пятидесятилетнего седовласого астронома, пламенного руссоиста, почти целиком составлявшего за несколько сот франков «Научный ежегодник» пресловутого Луи Фигье и преследовавшего цитатами из «Новой Элоизы» мадам де Жуар, которая даже допускала его во время своего нездоровья в спальню и охотно позволяла выслушивать и выстукивать себя почтенному естествоиспытателю.

Вспоминаю богатого офранцузившегося бразильца, который старался брать госпожу де Жуар «полезными» подарками, напр., дорогими заказами в лаборатории де Жуаров различных электрических приборов, с цены которых мадам Зоя брала себе определенную комиссию.

И немало еще портретов таких поклонников госпожи де Жуар сохранила моя память, включая сюда и известного уже читателю Жюля, как сохранила она и образ вхожего в дом аббата, одного из викариев прихода св. Сульпиция, который в

разговоре со мной любил распространяться о психологических достоинствах католицизма и, сам не замечая того, подводил самые убийственные итоги царившей среди его духовных сынов и особенно дщерей морали. Надо заметить, приход св. Сульпиция населен зажиточной клерикальной буржуазией, которой принадлежит вся эта масса магазинов церковных вещей, начиная от больших статуй святых и кончая крошечными крестиками, придающих такой своеобразный характер улицам этого квартала между Сэн-Жермэнским бульваром, Люксембургским садом и Ренской улицей.

— У нас нет той жестоковыйности, — говорил мне внушительно аббат, — которая замечается у фарисеев протестантизма. Мы высоко ценим истинно христианскую нравственность. Но мы знаем и несовершенства человеческой природы со времен самого грехопадения, и потому мы снисходительны. Прежде всего мы требуем безусловной, неколеблющейся веры во всеблагого и всемогущего бога и беспрекословного подчинения догматам и предписаниям нашей святой церкви, один из самых смиренных представителей которой говорит в данный момент с вами. Мы преследуем гордыню греха, преследуем скандал и чрезвычайно строго относимся к тем, кто публичным выступлением соблазнит хоть единого от малых сих. Но у нас неиссякаемые источники милосердия для скромных и кающихся грешников...

Аббат прилично улыбнулся и продолжал:

— Скажу вам из своей практики, лучше сказать из нашей практики, потому что я и четыре остальных священника храма св. Сульпиция видим одно и то же. Мы не можем пожаловаться на наш приход. Он один из самых благочестивых левобережного Парижа и выгодно отличается от других приходов тем, что по крайней мере по воскресеньям вы увидите в нашей церкви не только женщин, но и мужчин. Да и выбираем мы по теперешним нечестивым временам все же сравнительно умеренных и боящихся бога депутатов... Но знаете ли вы, что и у нас в приходе нет почти ни одной супружеской четы, которая бы оставалась верна друг другу в течение всей своей жизни... Что же, должны мы быть неумолимы к этим грешникам? Нисколько. Мы требуем от них искреннего покаяния, мы строго порицаем их за этот величайший из смертных грехов, налагаем даже на них в случае надобности церковное наказание. Но мы не приводим их в отчаяние, не ожесточаем их. В особенности поучительно в этом отношении поведение женщин...

Аббат, с которым мы сидели в углу салона, поодаль от других, на небольшой козетке, придвинулся ко мне и заговорил совсем тихо:

— Если бы вы знали, какие искренние слезы сокрушения мне приходилось видеть на исповеди льющимися из прекрасных женских глаз! И можно даже сказать, что те, кого воля

всевышнего подвергла испытанию и кто не мог устоять против царящего в мире греха, становились особенно верными дочерями церкви. Порою мне казалось, что это падение было даже необходимо для того, чтобы сломить гордыню суетной добродетели и напомнить человеку, что все же благодать божия необходима для праведной жизни... Вот почему, кстати, я с ужасом гляжу на нашу хваленую современную школу, школу без бога, где преподается так называемая гражданская, в сущности языческая, мораль, и человеку внушается мысль, будто можно быть добродетельным и без веры в творца-промыслителя... Наш храм получил много пожертвований из рук кающихся, и если бы я имел право сказать, какие всеми почитаемые и принадлежащие к самым лучшим семьям дамы грешили против духовной и даже телесной чистоты и приносили в знак покаяния богатые подарки церкви, то вы были бы очень удивлены.

III

Русская колония в Париже 80-х годов. Ткачев, Лавров, снова Ошанина.—Я—сотрудник „Вестника Народной Воли".—Французские радикалы и социалисты: Рошфор, Клемансо, Гэд, Лафарг, Малон, Лефрансэ.

Знакомства с французскими семьями, несмотря на свой общественный интерес, были, однако, у меня лишь второстепенными эпизодами в парижской жизни. Потребность участвовать и за границей в русском политическом движении и прежде всего свести концы с концами в моем пошатнувшемся еще в России марксистском мировоззрении, придать снова и книгой, и общением с представителями европейского, а особенно русского социализма за границей определенность основным взглядам, — эта потребность была преобладающей в моем сознании.

Конечно, парижская жизнь была сама по себе слишком шумна и интересна, чтобы можно было замкнуться от нее. И некоторые ее особенности, порою в комической форме, напоминали властно о себе юным россиянам.

Большие бульвары, уставленные далеко по панели столиками бесчисленных ресторанов и горящие вечером огнем целого ряда театров. Латинский квартал со своим Буль-Мишем, высшими школами и студентами. И тогда еще не снесенное после коммуны величавое полуразрушенное Тюильри. И несравненная перспектива Площади Согласия и Елисейских полей. Булонский лес и исторический Версаль под Парижем. Знаменитая Национальная библиотека и Собор Парижской Богоматери. И Пантеон, и Зоологический (буквально ботанический) сад. И повсюду живая подвижная толпа, конки и омнибусы всевозможных родов, которых в то время не хватало для сильно разраставшегося Парижа. И почтенная корпорация привратников-консьержей и консьержек, услужливость которых когда-то восхвалял Герцен, которых Вторая империя переделала в сущности в полицейских и вольных и невольных соглядатаев обывательской жизни и которые были необходимым, порою удобным злом.

Не могу без смеха вспомнить приключения, происшедшего у нас с одним из таких стражей врат в первые же дни нашего приезда в Париж. Мы как-то засиделись у де Жуаров, — «засиделись», т. е. пересидели за десять часов, когда входные двери в благочестных домах запираются, а газ на лестнице, если только не попросят специально те или другие жильцы в день их приема, неизменно тушится. Как же выйти?

— А вы, проходя мимо «ложи» консьержа, попросите у него шнурок, — сказал мне как о совершенно обыкновенной вещи мосье де Жуар.

Увы, эта столь обыкновенная для парижанина вещь, как шнурок консьержа, показалась нам совсем необыкновенной. Мы не знали, что ночью, когда привратники ложатся спать, у них под рукой возле кровати помещается особое приспособление, шнурок, за который стоит только потянуть, чтобы дверь механически открылась. Входя, вы звоните у под'езда, выходя, вы громко кричите консьержу: шнурок, пожалуйста! И входящему, и выходящему обычаями, более строгими, чем закон, предписывается захлопывать за собой затворку двери, которая уже не может открыться без шнурка консьержа, и кроме того при входе выкрикнуть вашу фамилию или того лица, куда вы идете...

Казалось бы, просто. Но это надо было знать. А мы не знали и, сойдя с лестницы, остановились в недоумении у ложи консьержа. Увы, не желая прослыть варварами или провинциалами, мы не расспросили хозяина, что значит «попросить шнурок». С свойственною мне практичностью я сообразил, что консьерж должен был дать нам кусок шнурка, чтоб потянуть что ли что-то или проделать некую другую сложную операцию с замком. И как человек, стремящийся поскорее стать европейцем вообще, а парижанином в особенности, я подошел во тьме — последняя спичка сгорела — к самой двери консьержа и с изысканнейшей вежливостью тихо проговорил:

— Господин консьерж, не можете ли вы дать мне немного шнурочка?

Во всем доме царили тьма и молчание. Прождав минуты две-три, я насмелился стать немножко варваром и уже несколько громче повторил:

— Господин консьерж, не откажите же дать мне шнурка.

Во мраке что-то щелкнуло у парадной двери. Но никто не выходил, и никто не давал мне шнурка. И уже совсем громко я прокричал:

— Господин консьерж, будьте же любезны! Дайте мне хоть немного шнурка!..

Что-то опять скрипнуло в темноте у двери, но уже не щелкнуло. Консьерж все отсутствовал, и в руках моих все не было магического шнурка, чтобы выйти из этого заколдованного

замка. Тут уже с отчаянием в душе я закричал изо всех сил на манер шекспировского Ричарда, молящего дать ему «коня» и обещающего за него полцарства:

— Господин консьерж, господин консьерж! Шнурок, шнурок мне, ради бога! Не могу иначе выйти... Что хотите берите, но дайте хоть самый маленький кусочек!..

В ложе вспыхнул газ. К дверям подлетела мужская усатая фигура в длиннейшей рубахе ниже колен, с голыми ногами, и проревела:

— А чтоб чорт вас побрал!.. Что вы здесь полчаса уже танцуете: какого вам еще шнурка надо? Дверь давно открыта. Что вы людей будите? «Шнурок, шнурок, немножко шнурка»,— консьерж мастерски передразнил меня.

— Но мне господин де Жуар сказал непременно попросить у вас шнурка.

Поняв из неумеренного употребления мною условного и сослагательного наклонений — я старался говорить первое время во Франции по всем правилам грамматики Ноэля, — что имеет дело с иностранцем, и притом выходящим от таких хороших жильцов как де Жуары, консьерж расхохотался и, получив от меня за хлопоты и беспокойства один франк, совсем размяк и об'яснил мне, что шнурок висит над его головой, и что им он отворяет дверь, а мне остается только защелкнуть — «только защелкнуть, а то знаете, долго ли ворам забраться».

«Немножко шнурка» Русановых стало вскоре очень популярным в знакомых нам французских семьях и среди русской колонии, которая была в то время очень немногочисленна. Ее патриархом и представителем во всех отношениях был П. Л. Лавров, к которому прежде всего и заходили обыкновенно вновь приезжавшие.

Но, по странной случайности, мы познакомились не с ним, а с его великим антагонистом, П. Н. Ткачевым. Его мы увидели в первый раз у зятя Николая Федоровича Анненского, Иосифа Деникера, полу-француза—полу-русского, который много занимался зоологией и антропологией, позже получил степень доктора естественных наук и место библиотекаря музея при ботаническом саде. Он был женат на сестре Анненского, к которой у нас были рекомендации еще из Петербурга, между тем как женой Анненского была родная сестра Петра Никитича Ткачева.

В то время, когда мы познакомились с Ткачевым — то было поздней осенью 1882 г. — у него уже замечались некоторые странности, которые скоро обострились и кончились через несколько месяцев припадком буйного помешательства, а затем прогрессивным параличем, сведшим его три года спустя в могилу. Но в общем я с большим интересом встретился с Ткачевым, о котором мне всегда с уважением в дни моей ранней юности говорил Зайчневский и бланкизм которого в этот период кризиса мировоззрения, переживавшегося тогда мною,

нашел в моей душе созвучные струны якобинизма, струны, замолкнувшие было у меня во время моего увлечения Марксом, а теперь все громче и громче говорившие в моем сознании.

Ткачеву не было еще в эту пору сорока лет. Но он уже тогда производил впечатление человека, сильно помятого жизнью, видимо, очень нервного, и по его бледному, слегка одутловатому лицу шатена с немного раскосыми серыми глазами и небольшой бородкой странно пробегали волны какого-то беспокойного возбуждения, внезапно застывавшие в задумчивую неподвижность. Кажется, он в последние месяцы своей сознательной жизни был очень несчастлив в личном отношении. За год перед тем он разошелся со своей женой, довольно известной в свое время Дементьевой, жил с какой-то миловидной, но совершенно необразованной француженкой, сильно пил, страдал, повидимому, и от сознания, что, несмотря на торжество некоторых его идей, пропагандировавшихся им издавна, напр., политического террора и строго централизованной заговорщицкой деятельности, осуществляемых Народной Волей, эта партия, еще пользовавшаяся тогда громадной популярностью не только в России, но и за границей, сторонилась его и предпочла даже обратиться для совместной революционной работы к его врагу Лаврову.

Кроме того, Ткачев сильно нуждался и из-за куска хлеба взял место секретаря у некоего Корвина-Круковского, русского знатного барина, который одно время прославился во Франции написанной им вместе с Александром Дюма-сыном драмой из русской жизни «Братья Данишевы» и вообразил себя заправским литератором, хотя кроме некоторой наблюдательности не обладал никакими талантами, по-русски писал безграмотно, да и по-французски с большими ошибками. Мне пришлось изучить его с этой стороны довольно близко вследствие одной прискорбной случайности.

Секретарство Ткачева у Корвина-Круковского состояло не много — не мало в том, что Петр Никитич писал для него за сто пятьдесят франков в месяц корреспонденции из Франции, посылаемые Корвином в «Голос», постоянным сотрудником которого он значился, подписывая их своим именем и получая за них уже пятьсот франков ежемесячно.

В день похорон Луи Блана, кажется в декабре 1882 г., ко мне вбежала в слезах сожительница Ткачева и еле-еле могла из-за рыданий рассказать, что с ее мужем случился припадок помешательства на улице, что его забрали в полицию и что Круковский ищет лицо, которое могло бы временно и сейчас же заместить Ткачева, так как автор «Братьев Данишевых» оказался теперь в критическом положении: ему надо писать немедленно очередную корреспонденцию, а один он справиться с этой работой не в состоянии. Она просила меня взять место Ткачева у Круковского, пока к Петру Никитичу не вер-

нется рассудок, и сохранить секретарство для ее мужа. Она была уверена, что то был лишь острый приступ сумасшествия и что скоро Ткачев вернется снова к своей работе.

Увы, этой надежде не было суждено осуществиться. И когда через несколько месяцев я посетил Ткачева в доме умалишенных св. Анны, нельзя уже было сомневаться, что он окончательно вышел из разряда разумных существ: ко мне надзиратели вывели человека с неподвижным лицом, на котором иногда, как слабый проблеск осеннего солнца сквозь тучи, пробегала улыбка, когда он ощущал что-нибудь приятное, и это приятное принадлежало исключительно к животной, притом окончательно расстроенной области чувствований. Я содрогнулся, когда Петр Никитич вынул из кармана кусок конфетки с густо налипшим на него табаком от помещавшихся в том же кармане изорванных папирос и с видимым удовольствием стал поглощать эту ужасную смесь...

В течение двух-трех месяцев, пока казалось еще возможным возвращение Ткачева к работе, я заменял его у «принципала», как Ткачев иронически называл Круковского, и скоро узнал последнего с литературной, а немного и с человеческой стороны. В то время Корвин-Круковский был сорокалетним ражим, довольно красивым мужчиной. Он успел уже запастись к этому возрасту изрядным брюшком, одышкой, подагрой, сахарной болезнью и тому подобными недугами людей русского высшего круга, которые десятками лет неумеренно ели и пили, да и от своих предков, вероятно, уже унаследовали склонность к знатным болестям.

Он получил образование в одном из высших привилегированных заведений Петербурга, кажется, Училище правоведения, жил довольно долго во Франции, болтал по-французски, был женат на французской актрисе, терся в политических и литературных кружках и считал себя — но только для Франции — умеренным, о, каким умеренным республиканцем, знал много сплетен из той среды, где вращался, но в вопросах общей политики был очень невежествен, хотя с чисто хлестаковской развязностью рассуждал решительно обо всем.

Мое первое «сотрудничество» с ним состоялось при писании корреспонденции о похоронах Гамбетты, в начале 1883 г. Мы с Круковским смотрели на эту импозантную, чисто гражданскую процессию из окон Большой Луврской гостиницы, тогда считавшейся одною из самых шикарных в Париже.

— Мы, знаете, начнем с изображения картины, а затем перейдем к отзывам о Гамбетте в печати и кончим нашей собственной оценкой, — были первые слова, обращенные ко мне Корвиным... — Садитесь, г. Русанов, берите перо, я сейчас буду диктовать... Мне, кажется, Ткачев еще говорил о вас, что вы что-то в России писали и достаточно посвящены в таинства ятя и прочих трудностей русского языка, — тараторил знатный барин.

Я взял перо и приготовился записывать.

— Да, так вот: «Париж устроил достойные похороны одному из знаменитейших сынов своих»... Нет, постойте: «Похороны знаменитейшего из сынов Парижа превзошли самые пылкие ожидания»... Погодите, погодите: «Париж и его любимейший сын Гамбетта оказались достойными друг друга во время похоронной процессии, которая сейчас развертывается»... Нет: «Прекрасная панорама, которая развертывается из окон Гранд Отель дю Лувр, где я сижу и наблюдаю ее»... «Сижу и наблюдаю ее»... Да, или лучше просто «откуда я наблюдаю ее»... Написали, г. Русанов?

Я заметил, что не знаю, какова будет окончательная редакция фразы, но во всяком случае, мне казалось бы, было неудобно говорить по поводу похоронной процессии, что Париж и Гамбетта оказались достойными друг друга, ибо выходило, будто Гамбетта брал на себя роль какого-то режиссера на своих же похоронах. А кроме того, насколько я знаю, Гамбетта родился в Ницце, а не в Париже, и называть его сыном Парижа неверно.

— А, да, вы правы... Итак: «Гамбетта, этот сын Ниццы, и Париж оказались достойны самих себя»... Ах, г. Русанов, мне некогда входить в детали. Это уже ваше дело строить фразы. Я вам даю мысль, а вы должны ее выразить... Пишите, пожалуйста, время идет, а мы еще ничего не написали... Да я и отвык от русского языка... Пишите же!..

Я привел в некоторый порядок «мысль» Круковского и прочел.

— Отлично... Вижу, вы будете мне полезны... А теперь дальше... «Можно было лишь жалеть, что церемония носит чисто гражданский характер, что церковь не освятила своим присутствием похорон великого патриота»...

— Виноват, г. Круковский, но сказать так это значит сыграть на руку здешним реакционерам и клерикалам, которые в своих газетах все ополчаются на Гамбетту как раз за то, что он не завещал хоронить себя с причтом, и только называют его «великим шарлатаном», а не «великим патриотом». Вы же имеете намерение прославлять Гамбетту именно как истинного республиканца и антиклерикала.

— Вижу, вижу, г. Русанов, вы атеист, вы против высшего существа, против бога... Но ведь еще Паскаль сказал: «Допустим, что весь мир наш — плевок, но кто же, однако, сделал этот плевок!?»

— Простите, дело идет у нас не о существовании бога и вообще того, кто сделал этот великий плевок, — я кстати не уверен, что это изречение принадлежит Паскалю, — а я просто только хотел обратить ваше внимание на некоторые политические неудобства вашей редакции.

— Ну, делайте, как знаете, но будем писать скорее. Даю вам карт-бланш... Я вам сообщу только несколько мало известных анекдотов из жизни Гамбетты, которые я знаю от наших с ним общих друзей...

Последние слова Круковский произнес с большою важностью.

Я пересмотрел ворох газет, лежавших на столе, и составил на основании их краткую политическую биографию так неожиданно сошедшего со сцены главы умеренных республиканцев, между тем как Корвин-Круковский старался в заключении об'яснить в довольно аляповатой форме читателям «Голоса», почему Гамбетту надо все-таки считать почти бедным человеком, хотя находившиеся у него в портфеле акции его хорошо тогда шедшей газеты «Французская республика» представляли ценность в несколько миллионов франков.

На мои соображения о необходимости изменить и это место, так как было бы преувеличением подчеркивать материальную необеспеченность Гамбетты, тем более, что Гамбетта вовсе не был аскетом, каким хотел его представить мой принципал, он сначала ответил было решительным отказом изменить эту редакцию:

— Это, знаете ли, в пику всем коммунарам и особенно Рошфору, — но потом оставил лишь фразу, что после Гамбетты осталось некоторое состояние, но он нажил его «честным трудом».

В общем моя первая проба пера в роли сотрудника приглянулась Круковскому и, так как он должен был уехать на месяц в Петербург, то он поручил мне писать это время корреспонденции самостоятельно и посылать ему на редакцию «Голоса», где он будет «исправлять их» — и подписывать.

Случилось так, что как раз в это время—февраль 1883 г.— из-за манифеста принца Жозефа Бонапарта, в просторечии «Плон-Плона», пал кабинет Дюклера, и у власти стал Жюль Ферри. Признаться, когда я в своем письме изображал замешательство, царившее в правительственных сферах Франции под влиянием агитации претендентов и указывал вместе с тем на разочарование масс, как на одну из причин неустойчивости Третьей республики, я сомневался, скрепит ли своею подписью такое изложение обстоятельств мой почтенный наниматель.

Против ожидания, моя корреспонденция очень понравилась и Круковскому, и «Голосу», и тотчас же по своем возвращении в Париж Круковский предложил мне окончательно заменить больного Ткачева и поехать с ним, Круковским, в Лион на процесс французских анархистов, к которому был привлечен и князь Кропоткин. Но тут же нам пришлось и разойтись с Круковским, так как я заявил ему, что согласен давать беспристрастные сообщения о деле, но никаких выпадов против людей, подвергшихся преследованию французской буржуазной юстиции, писать не буду.

Круковский поехал на процесс один и возымел желание заинтересовать читателей «Голоса» картинностью и драматичностью изображений. Одна из его лионских корреспонденций приобрела даже большую популярность в наших юмористических журналах фразою: «Князь Петр Кропоткин своей большой рыжей бородой и оттопыренными ушами выдает ученого». В этой характеристике я уже повинен не был...

Как раз в это время П. Л. Лавров сделал мне в самой общей форме предложение принять участие в предполагавшемся издании заграничного журнала партии Народной Воли, редакторами которого являются Тихомиров, Плеханов и он, Лавров. С Лавровым я познакомился за несколько месяцев перед тем, в конце 1882 г., и мы обменялись с ним визитами. В своих воспоминаниях, нескольких биографиях и некрологах Лаврова я довольно подробно охарактеризовал этого замечательного русского человека и не буду возвращаться к детальной характеристике Лаврова и моих с ним отношений. Здесь я дам лишь несколько дополнительных сведений и, в частности, остановлюсь на некоторых подробностях моего участия в «Вестнике Народной Воли», — так в конце концов стал называться орган.

До предложения, сделанного мне Лавровым, мы виделись с ним не особенно часто. Конечно, он очень заинтересовал меня, и впечатление, произведенное им на меня при первом же моем посещении, было довольно сильно, сильно хотя бы уже потому, что с именем Лаврова была связана могущественная ассоциация идей, которая шла у меня, можно сказать, с первого же моего пробуждения к сознательной жизни и в центре которой стояли его «Исторические письма».

Когда я вошел к Лаврову, он сидел в старом, низком кресле перед большим столом, заваленным целыми формациями книг, брошюр и газет. Я увидел очень крупного, еще совсем крепкого человека с седыми кудрями и седой же большой бородой, великолепным лбом почти без морщин и прищуренными, близорукими глазами, глядевшими несколько настороженно сквозь очки, оправа которых врезалась в мясистую переносицу сильно утолщавшегося книзу русского носа.

Любезно, немножко на старомодный и отчасти военный лад, Петр Лаврович, которому я назвал свою фамилию, поднялся во весь свой могучий рост и шагнул ко мне из-за стола навстречу. Он радушно пожал мне руку, пригласил меня сесть на стул у стола и снова занял свое место в кресле. Начался разговор, который сразу же показал, с каким вниманием Лавров следит за жизнью и литературой как за границей, так и в России. Кое-что мне очень живо запомнилось из этой моей первой беседы с Лавровым, так как речь шла о вещах и лично, и общественно интересовавших меня.

Лавров, как оказалось, с большим вниманием читал мои марксистские статьи в «Русском Богатстве» и «Деле» и очень сочувственно отзывался о них, — «кроме ответных Тихомирову».

— Вы напрасно, Н. С., по моему мнению, сдали часть своих позиций. Вы могли бы ответить на возражения, не поступаясь ни одним из ваших положений. А то эти статьи производят такое впечатление, как если бы сам автор не был теперь вполне уверен в том, что раньше защищал с такой определенностью.

Я поблагодарил П. Л. за его общий благожелательный отзыв о моих работах и признался, что его оценка моих последних полемических статей особенно заинтересовала меня. Он угадал: они писаны были действительно при начале кризиса, который я испытал после первого продолжительного и сильного увлечения марксизмом и который я еще далеко не изжил.

Это признание, в свою очередь, заинтересовало Лаврова и, повидимому, даже огорчило его.

— А я думал, вы останетесь все-таки несомненным марксистом. Маркс, как-никак, должен считаться теперь бесспорным авторитетом для всех искренних социалистов и не только в экономической, но и в социологической области. Но меня занимает один вопрос: в чем же состоит ваш кризис? Кого же вы думаете противопоставить Марксу?

— Я думаю, Петр Лаврович, не противопоставлять кого-либо Марксу, а сопоставлять с ним и сопоставил бы теперь его теоретического противника Дюринга и вообще «политиков», полагающих, что Маркс чересчур перегнул палку в одну сторону и недостаточно оценил самостоятельное значение политических и культурных условий. А в чистой философии я склоняюсь теперь, пожалуй, всего больше к нео-кантианству, как оно выражается хотя бы Альбертом Ланге. «Историю материализма» его я проштудировал как раз перед от'ездом за границу, и социальный идеализм этого автора мне ужасно нравится [1]).

Лавров в очень любезной форме, но с жаром принялся опровергать высказанную мною точку зрения.

— Ах, Н. С., признаюсь, я немножко в досаде на вас. Ну, как же можно сравнить Дюринга с Марксом? В Дюринге я вижу умного, даже отчасти оригинального, но совершенно сбитого

---

[1]) Глубоко последовательный монизм диалектического материализма автор «бракует» во имя плюралистической «теории факторов» («самостоятельное значение политических и культурных условий») и во имя кантовского идеализма. Можно иметь разные вкусы. Н. Русанов вправе сказать вслед за Кузьмой Прутковым:

«С ума ты сходишь от Берлина,
Мне больше нравится Медынь»...

Мы позволим себе привести цитату, которая покажет читателю, до чего в самом деле «ветхозаветны» выпады Н. Русакова против марксистского монизма. В августе 1861 г., т. е. почти 70 лет тому назад, бледнолиберальные „Отечественные Записки" писали против Чернышевского: «А так как народ и общество указывают нам на существование не одного экономического мира, доказывают, что экономическим истинам не подчиняются, а свободно живут с ними и действуют другие начала жизни, то ваше един-

с толку своим непомерным самомнением и почти болезненного писателя... Возьмем его «Историю философии». Вы читали ее?

Я утвердительно кивнул головой.

— Ну, вот видите, а я не только читал, но и писал о ней в свое время в «Знании».

Я прервал Лаврова замечанием, что я читал и его рецензию, и что она мне очень понравилась...

— Тем лучше. Теперь я бы лишь выразился еще резче о недостатках Дюринга. В самом деле, тот угол зрения, под которым он хочет рассматривать философские системы, мне всегда был по сердцу. Я сам всегда настаивал на необходимости сближать мысль и жизнь и с особой симпатией останавливался на философах, у которых дело не расходится со словом и на практической деятельности которых сказываются их теоретические убеждения. Но ведь при такой оценке надо прежде всего добросовестно изучать мыслителя и его обстановку, а не подчиняться в своей критике капризам, предрассудкам и увлечениям... Я — суб'ективист, но требую, насколько то возможно, согласного с фактами изложения предмета... А то, только потому, что Дюрингу не симпатичен такой или иной философ, или даже только потому, что в своей критике какого-нибудь мыслителя он может прямо или косвенно зацепить того или другого из нелюбимых им современников, он в состоянии совершенно извратить историческую перспективу и разместить представителей различных течений по самому фантастическому ранжиру.

Петр Лаврович на минуту остановился и продолжал все с большим и большим воодушевлением, я бы сказал, почти со страстью:

— Ну, разве же можно характеризовать Лейбница только как «придворного» философа, который и в своей системе не забывает парика? Или дозволительно ли видеть в таком гиганте античной мысли, как Аристотель, исключительно только начетчика и эклектика, который отражает, мол, на себе все недостатки эпохи разложения греческой философии и, не будучи оригинальным, является в лучшем случае энциклопедистом

ство направления нам очень не нравится». По-истине, «все изменилося под нашим зодиаком». Ученик Чернышевского повторяет слово в слово допотопные афоризмы умереннейших либералов, направленные против его учителя.

Оказывается, Н. Русанову тоже не нравится „единство направления". Какой шаг назад! Какое падение мысли!

Современный советский читатель, наблюдая эклектическую мешанину Русанова, еще и еще раз вспомнит острое плехановское слово: «да, это — давнопрошедшее». Подобный отход, не говоря уж от Маркса, но даже от Чернышевского, бывшего убежденным материалистом, если не в истории, то в философии, является очень интересным отражением большого исторического процесса, — упадка влияния левого крыла разоряемого капитализмом мелкого товаропроизводителя и перехода этого влияния к центру и правому крылу. С этой точки зрения крайне характерны симпатии автора и к Прудону, и к Канту, и к Дюрингу...

мнимой науки, науки упадка?.. Ведь всякий знающий философию чувствует, что на Аристотеле — как и на Гегеле — Дюринг сводит свои счеты с Марксом, которого он тоже считает педантичным собирателем фактов и желал бы разделать заодно с родственными ему великими мыслителями. А все почему? А потому, что нет социализма, изволите ли видеть, кроме «социетарной системы», а Дюринг пророк ее... Я уже не говорю о безобразной, прямо недозволительной для социалиста полемике, которую Дюринг ведет против Маркса на страницах своей «Критической истории политической экономии и социализма».

Я не хотел прерывать очень заинтересовавшего меня Лаврова, который сам, видимо, почувствовал, что для первого раза говорил, может быть, с большей резкостью, чем это было вообще в его манере, и уже размеренным тоном, немножко по-профессорски, слегка улыбаясь, перешел к моему тогдашнему увлечению нео-кантианством и Альбертом Ланге:

— Ланге я сам очень высоко ставлю, и его «История материализма» написана так, как и убежденному материалисту, пожалуй, не удалось бы написать. С научной точки зрения его симпатии, видимо, принадлежат этому направлению, но опять-таки его конечные выводы, лучше сказать, его общая позиция, как она раскрывается в конце книги, все же не может удовлетворять современную критическую мысль. Меня особенно смущает этот уклон в сторону религии: понимать, что христианство в теоретическом смысле есть метафизика, и метафизика не совсем продуманная, а с практической точки зрения в разговоре с Ибервегом восторгаться протестантским церковным гимном, обращенным к «окровавленной голове» мифического Иисуса, сочувственно цитировать из предсмертных сочинений уже ослабевшего логически Милля его соображения насчет возрождения религиозной мысли в массах, — нет, это, знаете ли, не столько приближает нас, сколько отдаляет от надлежащего решения социального вопроса...

Лавров на минуту остановился.

— В этом смысле нео-кантиантство мне совсем не симпатично. Не будучи сам материалистом-метафизиком — в этом отношении я собственно не изменился с конца пятидесятых годов, — я считаю, однако, необходимым, чтобы искренние социалисты стояли на позитивной точке зрения. Мы должны самым определенным образом бороться против всякой религии, всякого мистицизма, всякого отступления от строго критической мысли, всякой попытки решать земные вопросы рассуждениями из потусторонней области...

Лавров умолк. Его толстый нос забавно подергивался, уходя в большую пушистую бороду и усы. Он мне странным образом напоминал в это время огромного, но добродушного хищника, отдыхавшего после охоты за врагом. На одной из фотографий Петра Лавровича хорошо схвачено это выражение.

Я стал прощаться.

— Ну, заходите, пожалуйста, почаще, Н. С. У меня, кстати сказать, есть кой-какие литературные виды на вас, но об этом мы еще поговорим.

Мне, однако, не особенно хотелось заходить снова к Лаврову. Наши отношения, как я уже упоминал в своих прежних биографиях Петра Лавровича, не отличались тогда большой близостью, а вскоре и совсем временно испортились. Пока же меня расхолаживали к нему резкие отзывы о нем, как о политическом деятеле, со стороны Марьи Николаевны Ошаниной, которая к тому времени приехала из Швейцарии в Париж, где она поселилась на улице Флаттерс с другой народоволкой, Галиной Федоровной Чернявской, после Бохановской, и идейно очень подружилась со мной.

Теперь она начинала все больше и больше видеть во мне возможного политического товарища. Происходивший во мне душевный кризис очень располагал меня к Марине Никаноровне Полонской, как Ошанина называлась во Франции. Теоретически она не могла мне особенно помочь в пору этого умственного перелома: она была прежде всего человеком жизни, а не теории. Но, реагируя на свое первоначальное увлечение марксизмом, я тяготел инстинктивно к представителям того политического направления, которое так блестяще выражалось тогда партией Народной Воли. А Ошанина была очень видной деятельницей этой партии. Кроме того, меня с ней связывали наши якобинские традиции, которые шли у нас с ней еще из Орла, от кружка Зайчневского.

В другом месте я дал характеристику этой замечательной женщины и особенно поразительного дара психологического внушения, которое она распространяла вокруг себя. Возвращаться к этой стороне Ошаниной я вообще не стану. Но для того, чтобы сделать понятным для читателя то влияние, которое оказывала на меня Ошанина, я должен отметить еще одну особенность этой крупной в своем роде личности. Она была ярким жизненным воплощением того мировоззрения, которое станет впоследствии столь популярным под именем прагматизма. Для нее суть человеческой деятельности заключалась в практической работе. Истинность идей она измеряла их полезностью для достижения известной большой задачи. Для нее в этом отношении цель действительно оправдывала средства. И она с искренней товарищеской симпатией следила за развитием моего кризиса, толкая меня поскорее составить себе новое мировоззрение.

— Без мировоззрения нельзя: надо только, чтобы оно было подходящим для нашей общественной, скажу прямо, для нашей партийной деятельности, — твердила мне Ошанина.

Вспоминаю один из наших разговоров, оставивших на мне сильное впечатление. В который уже раз я дружески жаловался ей, что никак не могу отделаться от раздиравших мою душу сомнений с тех пор, как в моем марксизме оказались

столь большие бреши, нанесенные русской жизнью и прежде всего деятельностью Народной Воли: к ней я не принадлежу, но туда тяготеет теперь все мое существо.

— В марксизме есть много правды, но далеко не вся правда, — признавался я Ошаниной. — Мне даже кажется, что он вернее в научном отношении, чем любое из других миросозерцаний в отдельности, но все они, взятые вместе, составляют массу, вес которой перетягивает значение марксизма, и он мне представляется об'ясняющим лишь меньшинство общественных явлений... Как ни верчусь, как ни читаю, как ни думаю, а все чувствую, что марксизм придется бросить. Но что поставить на место его, по совести не могу сказать.

Ошанина с большим сочувствием слушала мои жалобы и вдруг, лукаво прищурив свои серые, слегка томные глаза, огорошила меня вопросом:

— А зачем вам, собственно, бросать марксизм?

— Вы меня удивляете, Марина Никандровна... Зачем? Затем, что он мне кажется неверным, затем, что он не об'ясняет уйму явлений, не дает точки опоры для деятельности...

— А вы все-таки попробовали бы все об'яснять именно с точки зрения марксизма, и деятельность Народной Воли в том числе... Подумайте, какая выгода: я не бог знает какая ученая, но все-таки знаю, что в Европе учение Маркса пользуется теперь большою популярностью. А к тому же и сам Маркс признал целесообразность политической программы Народной Воли. Что же касается нашей социальной программы, то он считает возможным при известных условиях дальнейшее существование и развитие нашей общины. Чего бы лучше, если бы можно было только подвести под нашу партийную работу фундамент марксизма? Вон Жорж меня уверял все в Швейцарии, что лучшего основания для Народной Воли и не сыскать. А он теперь совсем ученый стал, не хуже Лаврова... Да я думаю, что и вы учености не меньше их набрались... Только старайтесь не походить на Петра Лавровича, — она досадливо махнула рукой [1]).

— А почему?

— А потому, Н. С., что он книжный педант, что у него нет никакого чутья, что он вечно отстает от жизни, что жизнь заставляла его уже не раз изменять свою точку зрения, но он никогда не хочет откровенно признаться в этом и все старается смазать изменение взглядов своей мнимой наукой и подыскивает мостики и переходы в бесконечных цитатах из книг, чтоб доказать, что он-то в сущности не изменился, что он и все другие великие мыслители всегда так думали: он ведь ужасно робок в умственном отношении и страшно обожает авторитеты, прячась за их спину... Пускай, мол, хоть и ошибаюсь, но ошибаюсь в хорошей компании...

---

[1]) См. примечание к стр. 85.

Ошанина произнесла эту необычайно длинную для нее цитату с необычною же для нее запальчивостью: она говорила обыкновенно короткими фразами и скорее с легкой усмешкой, но тут, видно, что-то задело за ее живое.

Я поневоле спросил:

— Но в чем же дело? Почему вы так напали на Лаврова?

— Ах, если бы вы знали, что он только с нами делает, со мной, с Долинским (тогдашний псевдоним проживавшего временно в Савойи, в Морнэ, Л. Тихомирова. *Н. Р.),* с Жоржем. Тот за словом в карман не полезет, прямо говорит: — «препротивный старикашка».

Видя, что я продолжаю недоумевать, Марина Никаноровна спросила меня:

— Разве вы ничего не знаете о том, что мы, народовольцы, будем издавать заграничный журнал партии при участии Жоржа и Лаврова?

— В общих чертах я слышал кое-что об этом еще в прошлом году в Швейцарии, но прямо мне никто из заинтересованных лиц ничего не говорил, а я в таких случаях не люблю расспрашивать. Теперь, впрочем, я начинаю соображать, что, вероятно, именно этот журнал имел в виду Лавров, когда он недавно говорил со мной, но в очень неопределенной форме, о каком-то литературном предприятии.

— Ну, так я вам скажу, что уже больше года наша партия намеревается печатать свой теоретический журнал за границей и приглашает всех, кто в главном согласен с нами, участвовать в нем. Сначала думали было издавать под редакцией Лаврова, Плеханова и Кравчинского. Но Кравчинского из-за его личных приятельских отношений к этому несносному хохломану Драгоманову пришлось забраковать. А теперь, с приездом Василия Игнатьевича Долинского, третьим будет он.

Я вслушивался в речь Марины Никаноровны с большим вниманием.

— И вот, когда мы стали составлять об'явление об издании, — вы знаете, я не литератор, но читательница неплохая, и программу партии твердо знаю, так что со мной охотно советуются, — с Жоржем мы скоро могли сговориться: был против политической борьбы, был против террора, теперь стоит за террор, а политическую борьбу даже прямо собирается из Маркса выводить... Но с Лавровым сладу нет. Переписываемся. переписываемся, уже условились, кажется, и вдруг ему придет в голову, что это как-будто на якобинство похоже выходит. Сейчас всполошится и начнет все выправлять, что покажется ему в программе страшным, все жупелы... И снова начинается канитель. Он, напр., ужасно боится прямо сказать, что мы — централисты, что мы стремимся к организации государства, конечно нового, народного, но во всяком случае государства. А ведь он в душе остался еще, ей-богу, чуть не анархистом. И хоть жизнь жестоко смяла все эти прежние и анархизмы, и

федерализмы, и сам он писал уже о государственном элементе в будущем обществе, а все же до сих пор не осмеливается подписаться под заявлением, что мы ставим своею задачею овладение государством. Вот и бьемся с ним который уже месяц...

Как-то я снова зашел к Ошаниной и в длинном разговоре высказал ей, что все, что я читаю, все, над чем я думаю в последнее время, приводит меня все более и более к заключению, что марксизм не способен дать теоретическое об'яснение всей сложности общественных явлений и точку опоры для современной революционной деятельности, особенно в России. Наоборот, под влиянием изучения политической истории Франции, в частности великой французской революции и коммуны, сочинений Луи Блана и того, что я мог достать в парижской национальной библиотеке из вещей Бланки, я склоняюсь все решительнее к выводу, что политика является такой же важной общественной силой, как и экономика, подобно тому, как в ножницах одно лезвие столь же важно для резания, что и другое.

И снова и снова я жаловался на то, что до сих пор не могу составить себе такого же цельного миросозерцания, каким было для меня прежде учение Маркса.

— Ну, так совсем пускайте по боку ваш надтреснувший марксизм и становитесь политиком, — сказала, внимательно выслушав меня, совершенно в духе своего жизненного прагматизма моя собеседница, которая за какие-нибудь два месяца перед тем предлагала мне все же попытаться выводить народовольческую программу из Маркса. — Это, пожалуй, как раз кстати будет. У нас теперь с Жоржем кой-какие нелады пошли, и в случае, если он будет очень на своем Марксе настаивать, так мы вами, Н. С., в журнале козырнем... Вы знаете, Лавров должен будет скоро предложить вам участие в нашем журнале, первая книжка которого уже составляется. Придумайте-ка статейку, отвечающую вашему теперешнему настроению. Это совсем не плохо будет, а то все Маркс да Маркс... [1]).

---

1) Русская революция того времени могла быть не чем иным, как революцией разоренного «первоначальным накоплением» товаропроизводителя, — крестьянина, кустаря, ремесленника. Западная революция, прихода которой ждали Маркс и Энгельс, — это революция пролетариата, опирающегося на подготовленную капитализмом базу единого мирового хозяйства. Опираясь на развитые капитализмом производительные силы, рабочий класс в то же время осуществляет смычку с теми, кто пал жертвой азиатских форм капитализма, не имея, по выражению Маркса, «материальных условий для осуществления коллективного труда». Если западные утописты звали к созданию производительных ассоциаций, то русские утописты, пусть ошибочно, видели в общине прежде всего уже существующий, хотя и разрушаемый капитализмом зародыш производительной ассоциации. Позиция Маркса была такова: победоносная социалистическая революция на Западе даст «производительной ассоциации» русских товаропроизводителей необходимые «материальные условия», чтобы избежать капитали-

Через несколько времени (думаю, в мае 1883 г.) Петр Лаврович пригласил меня через одного из своих знакомых к себе и, действительно, сделал мне предложение сотрудничать в «Вестнике Народной Воли».

— Я уже говорил вам, Н. С., о кой-каких литературных видах, которые я имею на вас. Теперь дело совершенно выяснилось, и я попрошу вас быть постоянным сотрудником журнала, который я редактирую с Тихомировым и Плехановым... Я очень рад, что на страницах нашего органа будет писать литератор, легальные статьи которого всегда читались мною с большим интересом и удовольствием... Вы согласны работать у нас?

Я, конечно, обещал.

Лавров высказал надежду, что вместе с Плехановым я буду в их издании выразителем идей научного социализма. И когда я напомнил ему о своем прежнем разговоре с ним, предметом которого был мой умственный кризис и скептическое отношение к марксизму, он любезно ответил, что все же не отказывается от мысли найти во мне истинного социалиста, понимающего значение тактики сомкнутыми рядами с другими такими же

стической стадии развития. В основе — Маркс смотрел на русскую революцию того времени так, как теперь смотрим мы на революцию в Китае, в Индии и других отсталых странах: мощные движения масс, разоряемых первоначальными этапами развития капитализма, являются необходимыми резервами для упрочения социалистической революции передового пролетариата. И, с другой стороны, протестующие народные массы получают от победоносного пролетариата необходимые им «материальные условия».

Такова подлинная сущность отношений Маркса к народовольчеству, вернее, к тому его крылу, которое не было простым политическим радикализмом, а представляло собой идеологию революционно-настроенного мелкого товаропроизводителя, мечтавшего «задушить капитализм в самом зародыше», захватив и использовав для этого политическую власть. Ошанина принадлежала именно к этому крылу «Народной Воли» и верным политическим инстинктом чувствовала то, чего и тогда не понимал Н. Русанов, — что союз с марксизмом означает крайне необходимый союз с западно-европейским пролетариатом (см. стр. 83). Но до какой степени путал Н. Русанов, — видно из следующих сопоставлений. Он, например, пишет, якобы против марксизма: «Политика является такой же важной общественной силой, как и экономика». Отрицал ли это «Жорж» (Плеханов)? В своей брошюре «Социализм и политическая борьба» он писал: «Всегда и везде политическая власть была рычагом, с помощью которого добивавшийся господства класс совершал общественный переворот, необходимый для его благосостояния и дальнейшего развития». Или еще: «Вопреки Прудону, пролетариат продолжает смотреть на «политическую революцию», как на самое могущественное средство достижения экономического переворота». Далее: «Каждый из классов достигал высшей, кульминационной точки своего развития лишь после того, как он приобретал политическое господство». Казалось бы, трудно было подать ткачевско-якобинскому крылу партии «Народной Воли» более сильную помощь в деле обоснования идеи «захвата власти». Но, тем не менее, даже Ошанина ворчала: «все Маркс да Маркс». И та же Ошанина говорила Н. Русанову: «пускайте по боку ваш надтреснувший марксизм и становитесь политиком». В чем же дело?

социалистами не только против русского самодержавия, но и против всемирного капитализма.

Я забыл сказать читателю, что месяца два тому назад, вскоре после смерти Маркса в Лондоне, мне пришлось быть у Лаврова за рекомендательным письмом к Лафаргам, которые жили в то время в Париже и у которых я рассчитывал получить некоторые биографические сведения о Марксе для статьи, изготовлявшейся мною в «Дело», и что Лафарги с большою готовностью помогли мне в этом отношении, упомянув при последнем свидании с Лавровым о благоприятном общем впечатлении, какое я произвел на них [1]). Лавров и полагал, что мой кризис разрешился в положительном смысле для моего прежнего марксистского миросозерцания.

Нужно было выбрать однако тему для статьи. В это время проживавшему, как я уже сказал, в Савойе Тихомирову пришло в голову поручить мне разобрать вышедшую в 1881 г. книжку профессора Иванюкова «Основные положения теории экономической политики». По этому поводу я получил от Тихомирова и Плеханова вместе с книгой очень интересное коллективное письмо, о потере которого (как и всего моего архива в 1907 г.)

Почему только-что благословлявшая марксизм Ошанина не договорилась с Плехановым на его вышеприведенных, по внешности совершенно для нее приемлемых формулах? Дело в том, что в положениях Плеханова идет речь о захвате власти пролетариатом, понимающим, что «только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма» (Ленин), а когда говорила о захвате власти Ошанина, то она разумела, как основную активную силу, не пролетариат, а разоряющегося товаропроизводителя, подымающегося для того, чтоб не допустить развития капитализма. Внешнее сходство формул скрывало за собой глубокое различие содержания. История показала, что ошибались единомышленники Ошаниной, захвата власти они не произвели, но ошибся и Плеханов, не усвоивший идеи Маркса о необходимости сочетания революции пролетариата и революции мелкого товаропроизводителя под гегемонией первого, как усвоено это было Лениным, и положивший начало оппортунистическо-реформистскому истолкованию роли пролетариата в революции. Согласно этому истолкованию, при непрерывном процессе массовой пролетаризации, никакие иные общественные слои не будут играть революционной роли, и самый вопрос о той или иной форме свержения капитализма встанет лишь тогда, когда процесс пролетаризации дойдет до своего логического конца, т.-е. поглотит огромное большинство населения; отсюда происходила недооценка крестьянства, его полупролетарской и пауперизованной части. Но Ошанина, как оказалось, напророчила Н. Русанову: он бросил «марксизм» и стал «политиком». Впрочем, он выполнил завет умной женщины по-своему: долго не скидывая со своих плеч «бланкистского» сюртука, он на деле, особенно со времени образования с.-ровской партии, в рядах которой он оказался, принадлежал к тому крылу народничества, про которое Плеханов говорил так метко: «Это — либерализм плюс бомба». Читатель легко в этом убедится, если не даст сбить себя с толку «социалистическим» фразам революционеров этого крыла. (См. примечание к стр. 295).

[1]) О Лафаргах см. в моем довольно подробном некрологе в „Русском Богатстве“ за 1910 г.

я сильно сожалею и которое являлось как бы дружеской инструкцией мне, в каком духе, по мнению редакции «Вестника Народной Воли», я должен был подвергнуть критике иванюковскую вещь. Из письма я помню теперь лишь одну яркую мысль Плеханова: особенно в серьез Иванюкова принимать нечего; его выпады против заправских социалистов показывают лишь, что он представитель не катедер-социализма, каким он воображает себя, а всего на всего п о л и ц е й-с о ц и а л и з м а.

Сообщивши Лаврову о сделанном мне из Женевы предложении, я принялся за работу и поставил себе задачей, по поводу мнимо глубокомысленных рассуждений почтеннейшего Ивана Ивановича Иванюкова, показать значение революционной организации социалистов в борьбе за лучшее будущее человечества.

«Роль революционного меньшинства — писал я — несомненна. Оно должно создать боевую организацию для того, чтобы, расшатав старые устои, дать народу возможность поскорее устроиться на более справедливых началах».

«И пусть не пугают нас словесными жупелами: якобинство, диктатура, посягательство на свободное развитие народа. Более чем кто-либо другой, мы уверены, что народ имеет право на истинно-человеческое развитие; мало того, что в целом он стремится к более нормальному, более справедливому строю, чем настоящий. Но от права на известную вещь до обладания этой вещью — целая пропасть. От стремления к более нормальному строю до его осуществления—пропасть не меньше. Именно, чтобы пожелания народа не остались пиа дезидериа, революционное меньшиство и должно врезаться острым клином в современную организацию насилия и эксплуатации, — в современное государство. Этой организации оно должно противопоставить свою организацию. Раздробив политический гнет, оно должно, так сказать, поднять шлюзы народной жизни, должно освободить накопившуюся энергию народных стремлений, потребностей, одним словом, «народной воли». Сила революционного меньшинства именно и состоит в том, что оно опирается обеими ногами на основные интересы народа, большинства, эксплуатируемой массы. И если до сих пор привилегированное меньшинство успевало осуществлять свои эгоистичные интересы благодаря крепкой хищнической организации, то почему же революционное меньшинство не успеет осуществить коллективные интересы, интересы народа, благодаря организации революционной?».

И далее: «Наш век — век социализма. Так или иначе, мирно или насилием, — это зависит от уступчивости современных хищников, — но человечество разрешить социальный вопрос, несмотря на ярость привилегированного меньшинства, не взирая на сердитое клохтанье катедер-социалистических кур, обвиняющих революционных борцов в безнравственности и демагогических страстях».

Называть полицей-социалистом Иванюкова мне не хотелось. Я его называл впродолжение всей статьи выразителем катедер-социализма. Но в самом катедер социализме видел лишь «банкротство буржуазной науки» (отсюда и заглавие моей статьи): «Катедер-социализм далеко не социалистичен. В сущности он — буржуазная экономическая наука, пасующая перед истинным социализмом и ликвидирующая весь свой теоретический капитал. Внутренний смысл его заключается, по нашему мнению, в попытке примирить привилегии буржуазного строя с нормальной организацией будущего».

И в противоположность Иванюкову, набрасывавшемуся на революционеров, как на «невежественную фракцию социализма», я стремился защитить употребление революционных средств против современного государства, основанного на гнете и эксплуатации масс, и в частности против носителей русской самодержавной власти:

«Вопрос не в том, целесообразно ли употреблять силу — видим, что крайне целесообразно — а в том, кто и во имя чего будет употреблять ее. До сих пор она была в руках меньшинства и служила отвратительным орудием отвратительной цели. Но пусть она будет захвачена большинством или революционными группами, борющимися за большинство,—и она превратится в полезное орудие для достижения истинно-гуманной человеческой цели. Отвратительна пуля, когда ее пускают в грудь работника прогресса и цивилизации, но она приобретает сама значение орудия этого прогресса, этой цивилизации, когда ею убивают дикого хищника,—четвероного или двуногого — все равно...» [1]).

Статью свою я прочел Петру Лавровичу в присутствии Ошаниной и Г. А. Лопатина, который, сбежав незадолго перед тем из туркестанской ссылки, явился в Париж и проживал некоторое время на квартире Лаврова, где я с ним и познакомился. Марья Николаевна была в восторге от моей вещи и с необычайной для нее шумностью сейчас же стала выражать свое восхищение:

— Молодец, Н. С., совсем как народоволец написал. И не без учености: знай наших... А вы что скажете, любезный редактор? — обращалась она вкрадчиво-ласково к Петру Лавровичу.

— Ну, а вы что скажете, Герман Александрович?.. Милый, славный Герман Александрович, поддержите же меня, ну скажите Петру Лавровичу — он вам больше поверит, чем мне — что Н. С. славную вещь написал... Видите, как Петр Лаврович насупился, а ведь он всегда такой любезный. А зачем? Это же не против Маркса... Правда, Герман Александрович, не против?.. Кому как не вам знать учение Маркса, — полунасмешливо, по-

---

[1]) К. Тарасов, Банкротство буржуазной науки: „Вестник Народной Воли“, Женева, 1883, № 1.

лусерьезно, и ласково, и упорно, все более и более оживляясь, продолжала восхвалять достоинства моей статьи Ошанина.

Лопатин усмехнулся. Легкая улыбка пробежала и по лицу Лаврова.

— Ну же, Герман Александрович, докажите, что вы, как и всегда, на стороне хорошего дела, и вкус у вас безошибочный... Да вы и такой умный... почти такой же умный, как Петр Лаврович. Недаром я слышала, сам Маркс говорил, что вы один из всех людей поняли его и даже предсказали, что он будет писать во втором томе... Петр Лаврович на этот раз такой строгий, а вы будете помягче. Ведь, право же, Н. С. как раз то написал, чего нам не хватало в этом первом номере нашего «Вестника».

Лопатин улыбался все добродушнее и потом заговорил весело, но серьезно:

— Мне лично статья Н. С. понравилась. Не говорю, чтобы я был совсем с нею согласен. Иное я выразил бы в другой форме. Но в общем она будет у места, да и живо написана... Вот насчет Маркса я согласен с Петром Лавровичем, мне кажется, что, действительно, можно почаще упоминать о Марксе. И я наметил уже такие места.

Через несколько дней статья моя кой с какими поправками Лаврова была послана Тихомирову с просьбой прочитать ее, высказать о ней свое мнение, а затем передать для прочтения Плеханову, как третьему редактору: сам Петр Лаврович считал мою статью приемлемой, хотя и разочаровавшей его несколько в ожиданиях. Я знал, что на следующий же день после собрания, на котором состоялось чтение моей статьи, Ошанина написала Тихомирову самый восторженный отзыв о моей вещи, говоря, что она как раз за то любит мое «Банкротство буржуазной науки», за что оно Лаврову не нравится, а именно за подчеркивание политической формы дела и значения революционной организации меньшинства, словом, за народовольческий, как она писала, характер моей статьи.

Через некоторое время я узнал, что Тихомиров тоже очень остался доволен моим «Банкротством», и что, таким образом, голосом двух редакторов, несмотря на скорее отрицательное отношение к ней Плеханова, моя статья принималась для первого же номера «Вестник Народной Воли». Вместе с тем я узнал от Марины Никаноровны, что нелады между Плехановым и между нею с Тихомировым все усиливаются, и что, может быть, придется оставить для ведения журнала редакторами только Тихомирова и Лаврова.

В половине июля я уехал на берег моря, в Бретань, и возвратился в Париж лишь в октябре. В мое отсутствие и произошёл разрыв с Плехановым и его товарищами, Аксельродом, Засулич и Дейчем, равно как выступление их в качестве резко марксистской группы «Освобождения труда».

Когда я вернулся, я застал в Париже переселившегося сюда окончательно Тихомирова, который вместе с Ошаниной

принял меня совсем по-товарищески, как своего человека, и горячо просил меня принять самое деятельное участие в «Вестнике Народной Воли». Позже я расскажу все, что мне известно о появлении журнала под измененной редакцией и о последующей участи его, связанной отчасти с личной судьбою Лаврова, Тихомирова, Ошаниной, пишущего эти строки и других сотрудников теоретического органа Народной Воли за границей. А пока мне хотелось бы подвести итоги этим первым месяцам парижской жизни в политическом отношении и охарактеризовать как русских, так и французских деятелей, с которыми мне пришлось познакомиться в Париже.

Я уже говорил раньше о некоторых французских семьях из буржуазной интеллигенции, с которыми я начал знакомство еще в Швейцарии и которые давали мне некоторое понятие о тогдашней культурной Франции.

Из социалистов же я познакомился с Лафаргом, а через него с Гэдом и Девиллем, которых всех троих вместе называли тогда тремя мушкетерами марксизма, а из людей другого направления в социализме — с Лефрансэ, Малоном, Адемаром Леклером, Эли Реклю, старшим братом Элизэ, и еще кой-какими менее видными социалистами. Однако знакомство и с этими выдающимися представителями французской социалистической мысли не могло мне много помочь в переживавшемся мною тогда кризисе.

Начало 80-х годов характеризовалось во Франции большим разбродом в социалистическом лагере. Не успело из старого, разгромленного вместе с коммуною и довольно неясного социализма Второй империи, — где прудонизм, бланкизм и чисто профессиональное движение переплетались в довольно причудливом сочетании, — выделиться в конце 70-х годов более определенное, так называемое коллективистическое направление с марксистским оттенком, как оно уже снова стало распадаться на различные течения, резко сталкивавшиеся между собой.

Когда я приехал во Францию, особенно жестоко враждовали друг с другом марксисты и только что отпавшие от них «поссибилисты», — теперь бы сказали: ревизионисты, считавшие необходимым, в противоположность первым, взывавшим в то время к захвату власти пролетариатом и социальной революции, осуществлять социалистический идеал постепенно и «возможными» реформами (отсюда и данная им кличка).

На рабочих собраниях в Париже, которые я сейчас же начал усердно посещать, марксисты, или гэдисты, как назывались они тогда, и поссибилисты, или бруссисты, едва ли не больше боролись между собою, чем против буржуазии. И этим пользовались анархисты, которые в свою очередь свирепо набрасывались на тех и на других, как на врагов и усыпителей рабочего класса, и порою успевали срывать эти митинги.

Кроме того, по всей Франции шла в то время ожесточенная борьба между умеренными республиканцами, так называемыми оппортунистами, и крайними республиканцами. Некоторая часть последних пыталась сблизиться в этой борьбе по кой-каким вопросам с поссибилистами, подвергаясь вместе с ними нападению со стороны революционных гэдистов, которым эти радикально-социалистические группы были более ненавистны, чем даже монархисты. Подобную же тактику вели в буржуазном лагере радикалы, нападавшие с большим ожесточением на оппортунистов, чем на представителей отживавших, но далеко еще не отживших свой век бонапартизма и орлеанизма и в палате даже заключавшие порою коалиции с консерваторами для свержения оппортунистских кабинетов.

Все эти столкновения, вся эта идейная борьба, часто переходившая и в прямые потасовки, благодаря мастерам по этой части анархистам, не могли мне особенно помочь при разрешении переживаемого мною умственного кризиса, который только усиливался под влиянием столь кипучей, столь пестрой общественной жизни Франции. В общем, однако, зрелище этой борьбы партий и неизбежно возникавшие во мне размышления над ней скорее настораживали меня против марксизма и внушали мне мысль, что и для успешности социальной борьбы прежде всего надо решать насущные политические вопросы.

Собственно выступавшие на собраниях гэдисты больше всего нравились мне как ораторы. У них была большая определенность во взглядах, и их критика буржуазного строя била более в точку, проникая глубже в сущность вещей. И когда такой замечательный полемист, как сам Гэд, с пафосом убеждения и темпераментом глубоко верующего в свое учение и глубоко ненавидящего идейных врагов борца, разносил половинчатые решения социального вопроса, выдвигавшиеся буржуазными радикалами, я не мог не чувствовать влечения к нему.

Я помню, какую уничтожащую критику он направил на одном из собраний против системы грошевого участия рабочих в прибылях капиталиста, системы, защищавшейся одним из видных тогдашних радикалов Парижа, некоим Менье. И его оппонент не мог найти лучшего ответа, как заявить, что по существу он согласен с предшествующим оратором, но все же считает, что лучше что-нибудь, чем ничего, так как большего, мол, от эгоистичной крупной буржуазии не дождаться.

Увы, тот же Гэд показался мне уже много слабее, когда в конце собрания с невероятной запальчивостью напал на поссибилистов за выставленную ими тогда в городском совете Парижа программу «общественных служб», попросту муниципализации некоторых крупных предприятий в роде снабжения города водою, газом, трамваев и т. п. (десяток лет спустя сами гэдисты обратили серьезное внимание на эти ближайшие практические требования).

Возражавший поссибилист—кажется, рабочий Жоффрэн—в свою очередь жестоко набросился на гэдистов и в пылу полемики гораздо меньше развивал положительную часть своей программы, чем старался издеваться над своими идейными врагами, все время называя их импоссибилистами («невозможниками») и утверждая, что вся их революционность и состоит в том, чтобы требовать невозможного, и что гэдисты почли бы себя опозоренными, если бы хотя один раз они выступили с осуществимою реформою.

Но ни те, ни другие представители новейшего французского социализма не удовлетворяли, как оказалось, еще одного моего знакомого, Жоржа Лефрансэ, с которым я познакомился незадолго перед тем и который, видимо, страшно потускнел со времени своих огромных ораторских успехов в последние годы Второй империи. Слушая его, я невольно думал о печальной судьбе людей, которые переживают самих себя. Некогда член Первого Интернационала, позже член социалистического меньшинства коммуны, он в свое время пользовался большою популярностью среди рабочих, борясь на собраниях не только против бонапартистского правительства, но и против его врагов, «буржуазных республиканцев», во имя интересов «рабочей демократии» с точки зрения прудоновского мютюэлизма.

Но теперь это было пройденным этапом в развитии французского социализма, и речи Лефрансэ, звучавшие отголосками прошлого, напоминали действие знаменитого Мюнхгаузеновского рожка, который вдруг оттаял в тепле постоялого двора и стал совсем не во время издавать замерзшие перед тем в дороге отчаянные сигналы предостережения. Теперешние посетители митингов только улыбались, когда этот пятидесятилетний крепкий, желчный человек с сивой бородой и гневными карими глазами, не зная, чем насолить молодому поколению социалистов, боролся с ними не по существу, а больше не совсем удачными шутками. Так, он все время называл в полемике Гэда — Гэздом (согласно правописанию, а не произношению), считая этот прием, очевидно, очень убийственным, а теоретика поссибилистов, Малона, высмеивал фразами в роде следующей: «И знай я, граждане, латынь, как знает ее мой ученый приятель Малон, я высказал бы ту же самую мысль по латыни, т.-е. на том непонятном языке, на каком написаны его на первый взгляд как будто и французские книги».

Собрание кончилось безобразным выступлением анархистов, которые вначале все требовали, чтобы митинг происходил без участия председателя, являющегося, мол, как никак властью, каковой они, конечно, признавать нигде и никогда не могут, а позже в своих речах честили всех без разбору—и радикалов, и гэдистов, и поссибилистов, и старых коммунистов—предателями народа и кончили атакой на президиум, бросая на трибуну стулья.

Столь же мало была поучительна полемика на столбцах социалистических газет разных фракций, главным образом, между теми же гэдистами, которые издавали то исчезавшее, то снова появлявшееся «Равенство», и теми же поссибилистами, которые проводили свою точку зрения в «Пролетарии», тогда как анархисты в еженедельнике «Бунтарь» предавали одинаково всех боровшихся братьев-врагов общей анафеме.

Поневоле у меня начинало порою лежать сердце к органам крайнего радикализма, вроде рошфоровского «Непримиримого» или «Справедливости» Клемансо, где проводились, по крайней мере, определенные политические требования демократизации французской полумонархической конституции, и в то же время социальный вопрос обсуждался с большой симпатией в статьях некоторых сотрудников [1]).

Рошфор, который в то время еще не скомпрометировал себя ни участием в буланжизме, ни союзом с антисемитами в деле Дрейфуса, продолжал быть идолом значительной части парижской демократии, ремесленников, мелких торговцев, мелких рестораторов, некоторых групп передовой интеллигенции. Его линия поведения была вполне отрицательная, но и вполне определенная: быть в оппозиции ко всякому тогдашнему правительству, что было в сущности очень полезным прогрессивным делом, так как сменявшие друг друга министерства во Франции 80-х годов были разновидностями оппортунизма, отрекшегося от чистых республиканских идеалов и видевшего во власти лишь средство удовлетворения эгоистических, зачастую очень низменных вожделений правящего персонала.

— Читайте, гражданин, Рошфора, читайте его непременно каждый день! — говорил мне ближайший сапожник, которому я отдавал для починки свою обувь, пламенный поклонник знаменитого публициста. — Он у нас всегда на страже интересов народа, всегда на бреши для защиты республики, вечно воюет со всеми этими мерзавцами Ферри и Вальдэками, и всегда с документами в руках. А уж эти документы — сущая правда, такой же честный добротный товар, как... ну как, скажем, подметки, которые я вам подкидываю...

Увы, подметки моего приятеля-сапожника были как раз отвратительны, и через какой-нибудь месяц я принужден был снова обращаться к просвещенному содействию почитателя Рошфора. Признаться, и некоторые «документы» красного маркиза напоминали мне своею прочностью товар моего приятеля, напр., изо дня в день преподносившееся Рошфором своей

---

[1]) Чрезвычайно характерно для Н. Русанова, принадлежавшего, повторяем, к тому крылу народничества, которое отражало интересы приспособлявшихся к капитализму и выигравших от развития городской промышленности известных слоев товарного крестьянства и которое точно характеризуется формулой: „либерализм плюс бомба плюс социальные реформы". Это крыло боролось не столько против капитализма, сколько против его, по выражению Ленина, отсталых азиатских форм.

публике утверждение, что Гамбетта купался каждое утро в какой-то особенной великолепной ванне из чистого серебра.

Но под этими капризными узорами, которые расшивала порою политическая фантазия Рошфора, бывшего блестящим, но не столь злостным, сколько легковерным полемистом, скрывалась все же в общем доброкачественная канва, состоявшая в понимании разлагающего влияния оппортунистской политики. С другой стороны, мало сам что понимая в социализме, Рошфор инстинктивно тяготел к массам и отдал целый «социальный» отдел в руки Малона, который в то время был наиболее образованным из социалистов умеренного направления.

Кстати, те самые Лафарг и Гэд, которые в печати и на собраниях старались представить Малона образцом тупости и невежества, в частном разговоре признавали немалые достоинства за этим рабочим-самоучкой, возбуждавшим, по словам Лафарга, одно время симпатии даже у самого Маркса. Они ему не прощали собственно того, что их «экономическому материализму» он противоставлял «интегрализм» всей человеческой личности, у которой экономические потребности играли важную, но не исключительную роль. Его об'емистые, набитые цитатами сочинения страдали отсутствием стройности плана, но нравились мне своею содержательностью. В личных сношениях этот бородатый, неуклюжий человек, оставшийся по своим манерам рабочим, производил скорее неблагоприятное впечатление. Он выражался тяжело, и вы не всегда могли понять вполне точно, что он хотел выразить. Но порою и сквозь этот туман блистала живая мысль. Надо сказать, что я встретился с ним по частному делу в редакции рошфоровской газеты и, повидимому, уже в то время, когда его здоровье было надломлено трудовой жизнью и годами изгнания.

С Клемансо русская колония сносилась, когда то было нужно, через Лаврова. Лавров находился в личных дружественных отношениях с ним и питал большую слабость к этому тогда наиболее блестящему представителю французского радикализма, хотя и сожалел, что тот не был социалистом. Но в органе Клемансо, который сам в это время не писал, а лишь давал общее направление своей «Справедливости», писали социалисты: муж старшей, в то время уже умершей дочери Маркса, Шарль Лонгэ; Либкнехт (из Германии под псевдонимом Утиса), а из русских подававшая большие надежды, но скоро унесенная в могилу злой простудой Варвара Николаевна Никитина-Жандр.

В противоположность необыкновенно блестящей, но зачастую чересчур легковесной полемике Рошфора, газета Клемансо выгодно отличалась серьезностью тона и была действительно идейным, немножко абстрактным и академическим органом французского радикализма в его борьбе с оппортунистами и консерваторами. Не будучи, как я уже сказал, социалистом, довольно высокомерно относясь к социалистическим пар-

тиям Франции, не являясь для возражений на организуемые ими митинги, несмотря на неоднократные вызовы гэдистов, Клемансо временами, однако, затрагивал своими боевыми речами в палате депутатов струны, которые заставляли звучать сочувственно сердце всякого отзывчивого человека и в социалистическом лагере.

Таково было его выступление, — с которым я познакомился еще в Швейцарии летом 1882 г., — против участия Франции в завоевательной политике Англии по отношению к Египту. Таков был ряд его речей, в которых он боролся против колониальной политики Франции, воплощаемой Жюлем Ферри, и наносил жестокие удары теории естественного господства высших, белых рас над низшими, цветными. А под влиянием Шарля Лонгэ он порою энергически подчеркивал всю важность решения социального вопроса путем вмешательства государства.

Эти особенности политической и общественной жизни Франции заставляли меня все более и более выдвигать на первый план в моем миросозерцании политику и отодвигать на второй экономику [1]). А лучшее знакомство с политической литературой Запада и особенно Франции лишь подкрепило меня в этом стремлении. Вообще, в эти первые года два моего пребывания во Франции я перечитал ужасно много и с благодарностью вспоминаю долгие часы, проводившиеся мною в великолепной Национальной библиотеке.

В этом замечательном учреждении были — да, кажется, есть и до сих пор — некоторые из'яны, напр., отсутствие общего подробного каталога и недостаток широко образованных библиотекарей, которые могли бы помочь, по крайней мере в начале, читателю, желающему серьезно заниматься изучением разного рода специальных вопросов. Но у меня скоро выработалась привычка обращаться самостоятельно с действительно драгоценными коллекциями этого книгохранилища. И хоть я не мог претендовать на такое глубокое проникновение в прошлое, которое вызывало, напр., у Мишлэ почти священный трепет при соприкосновении с непосредственными документами той или другой изучаемой им эпохи, но и у меня были моменты высокого умственного наслаждения, когда мне случалось в книгах, насчитывавших уже несколько десятков лет существования, находить удачную постановку, а порою и решение важных вопросов, которые раньше казались мне, при моих недостаточных, просто уже по молодости моей, знаниях, впервые поднятыми лишь в наше время.

Так, изучение истории политических движений Франции и работ великих французских социалистов создавало во мне настроение, которое я мог выразить словами Уриэля Акосты: «ах, все это уже было». Оказывалось, действительно, что замечательное, но чересчур схематическое изложение эволюции

---

[1]) См. примечание к стр. 94.

человечества Марксом и его школой, именно потому, что оно было схематичным, оставляло в стороне массу подробностей, если не прямо противоречащих учению, то сильно усложняющих его. Уже одни революции, столько раз потрясавшие почву Франции, давали богатый материал, из которого выходило с очевидностью, что политические события были далеко не простыми узорами истории на экономической канве.

С другой стороны, в книгах и памфлетах представителей французского социализма или его предшественников можно было встретиться с целым рядом значительных мыслей, от которых нельзя было отделаться голым соображением, что все они упразднены Марксом, основавшим новый и более верный взгляд на развитие человечества. Чтение Луи Блана, Прудона, Сэн-Симона и сэн-симонистов, особенно же полузабытого в то время Бабёфа и мало известного в совокупности взглядов Бланки, влиявшего на своих учеников больше практически, вызвало во мне неистребимое желание подвергнуть пересмотру все положения марксизма [1]).

И эту работу мне приходилось проделывать на свой страх, находя мало опоры в окружающих меня тогда живых людях. Я уже говорил, как мало помогали мне разобраться в вихре возникавших в моем сознании вопросов враждовавшие тогда между собой представители различных оттенков французского социализма. С другой стороны, русская эмиграция, проживавшая в то время во Франции, главным образом, в Париже, не заключала в своих рядах почти никого, кто мог бы быть полезным мне в этот период обострившейся ломки моего мировоззрения.

К Лаврову, который был головою выше тогдашних русских и большинства заграничных социалистов, я относился пока скептически. Мне казалось, что, несмотря на свои выдающиеся способности мыслителя и свою эрудицию, он чересчур легко отказался от критического рассмотрения учения Маркса и чересчур недоброжелательно смотрел на всякую попытку проверки положений марксизма. А то, что говорила мне о Петре Лавровиче Ошанина, только укрепило меня в моем скептицизме.

Ткачев уже сидел в это время в доме умалишенных. Из парижских второстепенных эмигрантов зрелого возраста некоторую умственную силу я чувствовал в Н. П. Цакни. Но к тому времени этот неглупый человек был заеден горькою борьбою за

---

[1]) Советского читателя заставит улыбнуться этот запоздалый выпад против марксизма, завоевавшего ныне безраздельно гигантские массы пролетариата и полу-пролетариата и оправданного всем ходом истории. В особенности курьезно выглядит неуклюжее противопоставление „политики“—„экономике“, между тем, не кто иной, как марксисты бесчисленное количество раз раз'ясняли, что хотя „политика“ и является „надстройкой“, вырастающей из базы — экономики, но этот факт не исключает обратного воздействия надстройки на базу. Впрочем, стоя на точке зрения политического радикализма, естественно считать фактор „политики“—самодовлеющим.

существование, заставлявшею его писать где попало и о чем попало, начиная от радикального «Слова» и кончая ланинским «Русским Курьером», а с другой стороны, заражен глубочайшим жизненным скептицизмом, который делал его совершенно равнодушным к вопросам теории и практики. Лопатин появился на парижском горизонте на несколько месяцев и скоро исчез, уехав в Россию.

И оставалась пока Ошанина, которая не могла мне помочь непосредственно в теоретическом отношении, но которая продолжала быть живым человеком, проникнутым большою политическою страстью, и потому близко принимала к сердцу мои попытки выработать новое миросозерцание, поддерживая меня на пути пересмотра старого и ободряя дружеским сочувствием, когда я буквально изнемогал от внутренней борьбы.

В середине лета 1883 г. я почувствовал себя страшно утомленным и был рад, когда моя юная, но практическая жена устроила на очень дешевых условиях нашу поездку на берег моря, в Бретань, где мы могли остаться в течение трех месяцев, проведенных нами в обществе двух-трех русских совсем не политических, но в общем довольно милых семейств. Пребывание в Бретани было не только полезно для меня в смысле здоровья, но и дало мне возможность познакомиться с провинциальным французским бытом и притом среди населения моряков и мелких земледельцев, отставших на несколько десятков лет, если не на столетие, от общей культурной жизни Франции.

IV

Бретань начала 80-х годов.—Мои отношения к Лаврову, Тихомирову, Герману Лопатину, Серебрякову, И. А. Рубановичу.—Характеристика Тихомирова.

Если год тому назад, уезжая из России, я думал только о том, чтобы поскорее разрешить начавшийся умственный кризис наблюдением над европейской жизнью и общением с виднейшими представителями русской эмиграции, а потому сравнительно мало обращал внимания на внешнюю природу, хотя всегда очень любил ее, и даже величественные горные ландшафты Швейцарии стушевывались у меня перед потребностью идейных знакомств, то летом 1883 г. я находился несколько в ином настроении. Я понял значение слов, сказанных древним греческим ученым одному из египетских Птоломеев: «Царь, нет царского пути для математики». Каждый из нас должен пройти своими силами до конца через тот нелегкий душевный процесс, который характеризует идейную ломку, если только желает добиться серьезных результатов. Перелом приходится выстрадать, и книги и живые люди могут облегчить, но не заменить собственную умственную работу.

Но я понял также, что это дело более или менее затяжное, и что напряженность происходящего в сознании кризиса не должна мешать человеку раскрыть глаза и посмотреть на огромный, широкий и разнообразный внешний мир и на окружающих людей не только с определенной целью выработки мировоззрения. Я чувствовал потребность проще отнестись к жизни и моим ближним и дальним.

Меня прежде всего заинтересовала отчасти суровая, немного меланхоличная, своеобразно могучая природа приморской Бретани. Еще когда поезд подходил ко взморью, меня, жителя равнинной России и временного обитателя швейцарских гор и долин, поразил несшийся из окон вагона незнакомый мне упорный запах чего-то вместе и свежего, и пряного, и лекарственного: пахло крепящей сыростью и не то лабазом, не то

аптекой. Скоро я узнал, что то был запах сильно соленого моря, иодистых водорослей и зревших яблок.

А когда мы вышли из вагона и двинулись через средневековый приморский город Сэн-Мало к устью широкой реки Рансы, тут же вливавшейся в океан и отделявшей нас от элегантных вилл Динара, поднимавшихся на утесах другого берега, нашему восторгу не было границ.

В бухте стоял пароход, все время сновавший между Сэн-Мало и Динаром, весь пропитанный запахом соленой воды, просмоленных досок и канатов. На борту сновали вразвалку невысокие, но могучие, широкоплечие бретонцы-матросы с лицами, сожженными солнцем и морем. У штурвала уже стоял еще более могучий рулевой, словно неуклюжая статуя бога, и его огромные жилистые руки, распластавшиеся пока спокойно по колесу, казалось, могли поднять весь пароход. На мостике виднелась немножко более отшлифованная фигура капитана, старавшегося все время любезно улыбаться и отвечать на наивные вопросы туристов, среди которых особенною любезностью отличались англичанки, очень мало понимавшие по французски.

Мы сошли к более простой публике второго класса и тотчас же могли начать наше знакомство с «местным колоритом» в виде здешних жителей, которые в изобилии примешались к купальным гостям и поражали нас: — мужчины шерстяными куртками, кольцеобразными бородами при стриженных усах и вечной жвачкой табаку, которая бурой струею поминутно выплевывалась ими тут же на палубу, а женщины — своими черными платьями, темными шалями и порою изящными, порою просто причудливыми, жестоко накрахмаленными гребнями белоснежных чепчиков, формами которых одна деревня и отличалась от другой.

Мы были на границе департаментов Илль-и-Вилэн и Северных Берегов, т.-е. той более цивилизованной части Бретани, где старинный бретонский язык уже уступил место французскому. Но все, что мы здесь видели, отодвигало нас, как мы скоро убедились, на долгие годы назад от культуры современной Франции. Все эти бретонцы и бретонки обложили себя целыми горами тюков и корзин, наполненных всякого рода с'естными припасами, особенно сухопутной и морской живностью. И опытные парижанки среднего круга, т.-е. из той категории, что приехали сюда не только купаться, но и подешевле прожить летом с чадами и домочадцами, тут же старались найти себе поставщиков на дачное время.

Вокруг нас стоял немолчный шум то грубых, то визгливых голосов, сообщавших друг другу местные новости. И к этому шуму примешивался своеобразный концерт низших братий человечества, несшийся из различных мешков и плетушек. Отовсюду клохтали куры, гоготали гуси, квакали утки. Даже недавно пойманные крабы, лангусты, омары, креветки, которым

полагается по штату безмолвствовать, поднимали шум, беспрестанно ползая и шурша среди прикрывавших их морских водорослей в корзинках.

А когда мы вышли на другой берег, нам тут же пришлось присутствовать при оригинальной сцене морской ловитвы, поразившей нас своею новизной. В расселине красноватой гранитной скалы, там, где осталось крошечное озерцо соленой воды после отлива, молодая бретонка проворно погружала в замутившуюся жидкость довольно длинный железный крюк и после нескольких нащупываний ловко выбрасывала им на песок какую-то большую сизую тряпку, из которой высовывалось что-то похожее на клубок шевелящихся змей, поспешно вывертывала, словно перчатку, эту массу и начинала преусердно бить ею по камням. То, что казалось змеями, извивалось и вытягивалось по голым, толстым рукам бретонки. От движения ее лицо покрывалось потом. Туго заплетенные в несколько косичек волосы выбивались из-под платка, а она все продолжала гвоздить по скалам своей добычей, пока та не переставала шевелиться, и бросала ее тут же в мешок.

При несколько пылком воображении эту приморскую нимфу в черном, когда она, замахиваясь, свистела в воздухе мимо головы этими живыми бичами, можно было принять за страшную медузу со змеями вместо волос. Мы подошли поближе, чтобы узнать, в чем дело. То была охота за спрутами, или осьминогами, теми самыми животными, которых фантазия Виктора Гюго даже в нашем умеренном климате превращала в грозных врагов человека (вспомните приключение с Жильятом в «Тружениках моря»), а полет научного воображения Жюля Верна делал способными останавливать своим клювом движение подземного корабля в «Двадцати тысячах миль под водой».

При свете яркого солнечного дня, в реальной Бретани эти существа принимали более скромные размеры, не превышая вместе со своими щупальцами какого-нибудь аршина-полтора, но в общем со своей огромной мешкообразной головою, из которой неприятно глядели два глаза, костистым клювом, похожим на клюв попугая, и длинными отростками с рядами присосков, они производили изрядно противное впечатление. И оно не уменьшилось, когда нам пришлось увидать, как в бедной бретонской хижине их варили в большом чугуне и тут же с'едали с хлебом, уснащенным соленым коровьим маслом, рассказывая нам в утешение, что в сущности большая часть содержимого в банках с консервами омаров подделывается именно при помощи спрутов.

Вообще, Бретань готовила нам немало сюрпризов. Уже необходимость найти поскорее дешевую квартиру заставила нас столкнуться с некоторыми особенностями и самой местности, и ее обитателей. Прежде всего, мы сейчас же почувствовали, что попали в очень религиозную, или, лучше сказать, страшно суеверную страну, где язычество срослось с католичеством и обра-

зовало смесь самых диких идей и представлений. Это выражалось уже наглядно в том, что на некоторых огромных доисторических камнях, поднимавшихся столбом к небу мечтательной Бретани, или так называемых менгирах, были водружены кресты. Старый Олимп здесь причудливо переплетался с новым. В Бретани все было «свято», по крайней мере по названию: «сэн», «сэнт» или на бретонском «кэр»: и Сэн-Мало, и Сэнт-Энога, и Сэн-Люнэр, и Кэр-Марья, и т. д. И с каждым ручейком, с каждой рощей, с каждой бухтой были связаны самые чудесные сказания. У среднего бретонца, а еще более у средней бретонки в душе жили верования давно минувших дней.

Как-то раз наша восьмидесятилетняя хозяйка, у которой мы поселились возле Сэн-Бриана и которая своими бородавками на высохшем лице напоминала старую, выброшенную на берег, всю поросшую раковинами лодку, спросила меня, хитро улыбаясь своими выцветшими глазами:

— А что же, мосье, Чортов камень видели?

— Нет, мадам, не видал... А что это такое? Интересно?

— Еще бы не интересно. Вот сходите — мы потом и поговорим.

— Да в чем дело?

— Нет, уж вы побывайте сначала в этом месте, расскажите, что вы там видели, тогда и потолкуем.

На следующий же день с картой генерального штаба в руках я скоро нашел Чортов камень. Километрах в трех внутрь страны от берега, за дубовой рощицей, среди густой заросли из ежевики, лежала на ровном месте огромная гранитная глыба, вся поверхность которой была из'едена довольно глубокими кругловатыми дырами: длинный ряд веков и бретонские бури и ливни прорезали эти морщины на жестком лице камня. Глубоко протоптанные тропинки показывали, что здесь побывало немало народу, чтобы полюбоваться на местную достопримечательность.

—Ну, что ж, мосье, видели Чортов камень?

— Как же, мадам, видел и даже с большим вниманием осматривал.

— А дырки-то видели?

— И дырки видел.

— А отчего, по вашему, дырки?

Я, конечно, не мог пускаться в мудреные геологические об'яснения насчет того, что, мол, этот камень — типичный образец эрратического валуна, оставшегося здесь от ледяного периода и подвергавшегося продолжительному процессу выветривания, и сказал просто:

— От времени.

— От времени?! — с неподражаемой иронией воскликнула хозяйка, сама такой же эрратический валун старой культуры. — Ха-ха, от времени... Вот все вы такие ученые люди: толкуете бог

знает о чем, и о дальних временах, и о дальних местах, а что на глазах делается, того не видите.

— А что же на глазах-то делается, мадам?

— А то делается, — скрипучий голос старухи зазвучал почти патетически, — что этот камень не даром называется чортовым. Всякий раз, когда кто-нибудь здесь при смерти, сатана поручает тому или другому из своих дьявольских прислужников, кто помоложе и попроворнее, перехватить на дороге человеческую душу, только что она станет выходить из тела, и стащить в преисподнюю. Вот нечистый дух и прибегает сначала к Чортову камню, чтоб хорошенько отточить когти и сцапать бедную христианскую душеньку налету, ну вот, как ястреб берет в когти голубя... Дыры на камне — это следы чортовых когтей...

— Так значит, он у вас тут всякого бретонца в ад тащит?

— Ну нет, на то особая молитва есть... Как ни изловчается, а душа все мимо его лап пролетит.

Видел я километрах в двадцати от того места, где мы жили, и другое урочище, ознаменованное уже целой божественной комедией. Возле городка Доль, на холме Мон-Доль, у подножия огромной статуи богоматери течет чудотворный источник. Присмотритесь хорошенько, с верою, глазами, свободными от грешного сомнения, к впадинам у водоема, и вы легко различите следы двух громадных ступней, глубоко вдавившихся в гранитную скалу: это, видите ли, архангел Михаил, преследуя дьявола на суше, загнал его на холм, и враг рода человеческого, не видя спасения от могучего противника, сделал отсюда отчаянный прыжок за много километров прямо в океан, на остров Мон-Сэн-Мишель, куда устремился за ним и божий воитель и схватил его на скале, которой и оставил свое имя.

Или вот: праздник всех усопших, 2-го ноября, едва ли не более, чем какой-нибудь другой торжественный день, обнаруживает существенные черты бретонской психологии. Тут вы воочию видите, как здешний и потусторонний мир сливаются в душе людей, еще держащихся культа предков, и притом в изрядно первобытной форме.

Заунывные звоны церковных колоколов так гармонируют со всей природой, принимающей обыкновенно в это время в Бретани сумрачный, почти грозный вид! Длинные процессии бретонок в черных плащах, у старух зачастую с капюшонами, двигаются медленными рядами на кладбища, к часовням, вдоль берега моря, ревущего и пенящегося. У всех на лице отпечаток не только скорби, но и страха перед незримым и однако близким миром духов. И мужчины поддаются этому общему настроению не менее женщин и детей.

Для образца картинка с натуры. Случайно оставшаяся до поздней осени семья дачников спешит в Париж и, боясь опоздать к поезду, торопит возницу допотопной повозки, которая должна доставить пассажиров на ближнюю станцию. Обык-

новенно резвые бретонские лошадки, подхлестываемые слегка подвыпившим кучером, несутся во весь дух. Но на сей раз они предоставлены своей воле и бегут легкою трусцой, не чувствуя вдохновительного кнута, который теперь, как длинная свеча во время католического крестного хода, остается недвижим в руках насупившегося бретонца, от времени до времени с опаской оглядывающегося по сторонам.

— Да погоняйте лошадей-то, Жан-Мари: ведь опоздаем! Что это вы сегодня так плохо едете? — нетерпеливо говорит сидящий с возницей рядом на козлах глава семейного выводка.

— Сегодня нельзя: день не такой, чтобы хлестать кнутом как попало, — глухо и мрачно отвечает бравый Жан-Мари.

— Да почему?

— Что ж, вы хотите, чтобы я, может, своему деду глаз выстегнул? — еще глуше и мрачнее говорит кучер.

— Какому деду? Где он?

Бретонец искоса не без удивления взглядывает на чудака-парижанина, не знающего того, что здесь малое дитя знает, и вполголоса, почти пугливо, роняет многозначительные, страшно мшистые слова, которым тысячи лет от роду:

— В этот день всем душам, где они ни есть, двери чистилища отворяются, и летят они по своим местам к своим родичам. До полночи они сегодня с нами.

Гость пробует улыбнуться, но улыбка не выходит. Он также смотрит вбок на могучего, коротконогого бретонца, с кирпичным от дождей и ветров лицом, с бычьей шеей, с толстыми как бревна руками, крепко сжимающими недвижный длинный кнут, смотрит и чувствует, что все рассуждения тут излишни: когда-то общий прогресс культуры поможет выветриться и огромному менгиру, этому историческому камню верований, в душе бретонца?..

Когда я приехал в Бретань в 1883 г., она была почти сплошь монархической и католической. Умеренный, почти консервативный республиканец, судостроитель из Сэн-Мало, которого выбирали в то время депутатом портовые рабочие, считался соседними моряками и мужиками «красным». Настоящих же красных не было тогда и в помине. Марсельеза считалась нечестивой песней. И в день 14 июля, несмотря на тщетное понуждение центральной власти, местное начальство с неохотой украшало общественные учреждения национальным трехцветным флагом.

Население ничего не читало, не читало даже реакционных газет и очень мало интересовалось тем, что делалось на белом свете. Люди довольствовались письмами, которые приходили в это захолустье от бывших в официальном плавании родных из разных концов мира и читались обыкновенно вслух инокинями ближайшего монастыря, каким-нибудь лоцманом в отставке, досужим аптекарем и т. п., и на такое чтение сходились все родные и знакомые.

Мои хозяйки, и старая-престарая мать, и ее пятидесятилетняя девственница дочь, прачка Элиза, не полюбопытствовали в течение всей их жизни ни разу пойти на ближайшую станцию, находившуюся в девяти километрах от их домика, посмотреть, да что это такое железная дорога, о которой им рассказывали чудеса, в роде того, что по стальным полосам катились целые дома тоже из стали. Оне же были уверены, что до сих пор во Франции царствует император Наполеон III, вон тот самый господин в генеральском мундире, в узких лосиных штанах, с длинными в ниточку усами и маленькой эспаньолкой, портрет которого висел в комнате у вековуши...

«Цивилизация» входила в Бретань мало по малу с дачниками, которые всего несколько лет тому назад стали тогда приезжать на морские купанья в Бретань и которые, к сожалению, вносили сюда мало искреннего просвещения, но портили то хорошее, что было у грубых жителей Бретани.

Сорок лет тому назад даже в этой сравнительно бойкой части взморья, в окрестностях Сэн-Мало, Динара, Сэн-Бриака, если вы углублялись на несколько километров вглубь страны, вы могли еще встретить патриархальные семьи, где с усталого путника ничего не брали за кружку свежего молока или чашку сидра. Но на берегу уже стали сдаваться под дачи домики местных жителей, сначала за гроши, а потом все дороже и дороже, пока все побережье не было охвачено курортной горячкой. В мое время и те немногие гостиницы, которые были выстроены у самого моря, мало посещались купальными гостями, за исключением нескольких английских и американских семейств, живших здесь целыми месяцами и благословлявших бретонское небо за неимоверную дешевизну. И только в становившихся модными Динаре, Парамэ, отчасти Сэн-Мало существовало несколько отелей, которые были построены с современным комфортом и привлекали избранных посетителей из категории «интернационала жуиров».

Мы прожили несколько месяцев в маленькой деревушке Вилль-Гю, вблизи местечка Сэн-Бриака, куда каждый день ходили за мясом, крепко просоленным маслом, пахнувшею иодом рыбою и очень вкусно испеченными «коронками», — род огромного круглого кренделя. А молоко и незатейливые овощи поставляли нам хозяйки. Недалеко от нас, в более цивилизованных помещениях приютились две-три русские семьи, с которыми нам пришлось провести бретонское лето, участвуя с ними во всем ритуале морских купаний, очень нам нравившихся и доставлявших нам немало забавных волнений, так как вместе с луной приливы передвигаются изо дня в день, и нам нужно было приспособить свою несложную дачную жизнь к часам, когда море заливало весь берег и могуче плескалось в гранитных скалах, оставляя лишь сравнительно узкую полоску очаровательного, гладкого, как скатерть, песчаного берега — «пляжа». Мы и раздевались в скалах, и надевали на себя морские костюмы, не

нуждаясь в купальных будочках, и дружными группами плескались в море.

У меня были тут знакомые, которые продолжали интересоваться политикой и на берегу, покупая каждый день газету в соседнем местечке. Я же с удовольствием отдавался временному ничегонеделанию и тогда же в первый раз мог на своем собственном опыте узнать, до какой степени переполнена пустяками любая газета, и как легко можно обойтись без дурной привычки читать каждое утро всякую чепуху, если иметь под рукой две-три интересные книги.

Лишь время от времени, когда происходило действительно что-нибудь сенсационное в мире, я прислушивался к тому, что мои знакомые узнавали из газет, и сам принимался на день, на два следить за печатью. Так дошла до нас весть о смерти Тургенева под Парижем и, в связи с ней, о свирепой кампании, которую открыл против наших смиренных либералов Катков, придравшись к тому обстоятельству, что в интервью с одним из французских репортеров П. Л. Лавров упомянул о пожертвовании Иваном Сергеевичем пятисот франков на издание «Вперед».

Тем сильнее был я захвачен общественной жизнью и, в частности, политическими вопросами, поднимавшимися в России и отражавшимися и на сознании русской эмиграции, по возвращении поздней осенью в Париж. Пока я жил на берегу моря, в Женеве и в Париже произошел ряд событий, может быть, и незначительных в отдельности, но имевших немалое значение для истории русского общественного движения.

Прежде всего Ошанина и переселившийся к тому времени из Савойи в Париж Тихомиров (о нем сейчас) рассказывали мне, что с «Вестником Народной Воли» произошел целый переворот. Во-первых, Плеханов счел нужным выйти из редакции журнала, не согласившись вычеркнуть из своей статьи «Социализм и политическая борьба», предназначенной для первого же номера, резкую и несправедливую, а главное, нетактичную, по мнению моих собеседников, критику Народной Воли, т.-е. той самой партии, официальным органом которой и являлся «Вестник».

Несмотря на все усилия сохранить этого ценного работника, — в примиряющем смысле старались действовать особенно Лавров и все более и более тяготевший к партии Герман Лопатин, — дальнейшая совместная деятельность с Плехановым оказывалась невозможной. Георгий Валентинович не захотел изменить ни иоты из указанных ему соредакторами сомнительных мест, — как были уверены и Ошанина и Тихомиров, под влиянием личных товарищей своих, в особенности «интриг Дейча».

Приходилось остаться при редакции Лаврова и Тихомирова. Последний очень просил меня принять самое деятельное участие в «Вестнике», так как считал меня вполне способным заменить Плеханова для больших теоретических статей и,

кстати, высказал мне чрезвычайно лестное мнение о моей первой же статье «Банкротство буржуазной науки».

— Я, признаться, с недоверием прочитал восторженный отзыв о ней Марины Никаноровны: я знаю, ее медом не корми, дай ей только что-нибудь во вкусе якобинства. Но когда я познакомился с вашей статьей, я действительно убедился, что вы написали совсем хорошую, а главное подходящую для нас вещь. Мне как раз нравится, что вы придали ей скорее агитационный, чем научный характер, и не загромоздили ее кучей цитат, как это вы делали чрезвычайно охотно — извините меня — в своих легальных марксистских статьях. А вместе с тем читатель на всем протяжении ее чувствует, что имеет дело с автором, действительно знающим и вполне овладевшим своей темой... Нет, Н. С., я совсем по-товарищески прошу вас помочь нам сделать из «Вестника» серьезный журнал, журнал не только для народовольца, но для всякого свободолюбиво настроенного русского человека, который, по моему глубокому убеждению, не может не стоять в наше время на стороне нашей партии...

Так говорил мне Тихомиров, а Марья Николаевна на сей раз только улыбалась и прерывала речь Тихомирова короткими поощрительными фразами:

— Милый, славный, умный Н. С... Погодите, мы с вами еще всех Плехановых и даже Лавровых за пояс заткнем.

Этот разговор с Тихомировым произвел на меня самое приятное впечатление. И не потому, что этот виднейший тогда представитель народовольчества так отнесся к моей статье, а потому, что вся его беседа со мной была проникнута сердечностью, и от прежнего диктаторского тона, который меня так раздражал в Питере, как будто не осталось и следа. Я даже старался забыть об одном неприятно подействовавшем на меня эпизоде из моих недавних сношений с Тихомировым.

А именно, всего несколько месяцев тому назад, весной 1883 г., я получил от Тихомирова письмо из Швейцарии приблизительно следующего содержания: «Вот, уважаемый Николай Сергеевич, нам приходится пока переписываться, а, может быть, позже придется и встретиться за границей. У меня есть к вам просьба личного характера: я нуждаюсь теперь очень в заработке. Вот мне и пришла в голову мысль писать, исключительно ради хлеба, в каком-нибудь хорошо оплачивающем издании. Мне указали на «Ниву». Не имели бы вы ничего, если бы я подписывался вашим именем и дал бы ваш адрес редакции (вы, ведь, человек легальный?). В «Ниве» нет в сущности никакого направления: этот журнальчик — нейтральная почва для писателя, а я намерен писать именно нейтральные вещи. Каково ваше мнение?»

Письмо это меня резнуло по сердцу. Что человек ничего не пишет о предстоящем партийном издании и, видимо, не желает говорить со мною о политике, в этом я еще не видел ничего обидного для себя: я ему, очевидно, не нужен, как идейный

литератор, и, конечно, сам напрашиваться не стану. Но лично мы были мало знакомы, и однако, он обращался ко мне с просьбой быть подставным лицом для его писаний. И где же? В «Ниве», в той самой «Ниве», которая, несмотря на массу помещаемой в ней действительно нейтральной и зачастую пошлой трухи, в своих политических обозрениях ведет все-таки резко консервативную, порою прямо реакционную политику, ругательски ругает революционеров, подбором иллюстраций и романов работает во-всю для поддержки идей монархизма и в силу самой распространенности очень вредно действует на своего полуобразованного читателя.

Так, приблизительно, конечно, в смягченной форме, я написал Тихомирову, указавши на полную нравственную невозможность для меня быть хотя бы и подставным сотрудником такого органа. На это письмо я не получил никакого ответа. Но тогда же меня поразила эта психология человека, который является одним из идейных и практических руководителей Народной Воли и считает, однако, допустимым ради заработка писать в органе, опошляющем и развращающем большую публику, мало того, борющемся, насколько ему позволяет характер дешевого иллюстрированного издания, не только с радикальными, но мало-мальски либеральными течениями русской общественной жизни.

Теперь Тихомиров ни словом не обмолвился о происшедшем между нами недоразумении, не считал и я нужным вспоминать об этом. Но дружеские, откровенные ноты этого нашего первого длинного разговора с ним и последующих скоро меня решительно расположили в его пользу.

Куда девалась его питерская манера рассуждать декретами! Такого вдумчивого и внимательного собеседника мне редко приходилось встречать. У него был теперь даже какой-то особый сократический прием рассуждать, заставляя рассуждать вас самих путем вопросов и развития ваших же мыслей. Во время этих бесед он мне никогда не предлагал сразу своего готового решения, но как будто колеблясь, как будто перебирая мнения и за и против, рассматривал интересовавшую нас задачу с разных сторон. И мы обыкновенно с ним никогда не успокаивались, пока не приходили к известному, хотя бы отрицательному выводу, т.-е. пока не убеждались, что по крайней мере такой или иной ответ на вопрос был явно несостоятелен.

Два-три таких разговора особенно остались у меня в памяти. Однажды у меня зашла с ним речь о Руссо, которого я в то время усердно изучал и некоторыми взглядами которого я очень увлекался. Но у этого глубоко волнующего писателя был пункт, — общий ему, правда, с большинством мыслителей XVIII в., — который возбуждал во мне большие сомнения: это — значение, приписываемое им общественному договору, вообще сознательному участию первобытных людей в выработке форм общежития.

И я повторял обычное в то время возражение социологов-эволюционистов, что составление такого общественного договора столь же мало вероятно, как искусственное придумывание языка; что человечество инстинктивно и ощупью находило пути своего развития и что предположение о естественном праве, начертанном в самом сердце человеческом и к которому стоило только прислушиваться, чтобы извлечь из него правила личного и общественного поведения, грешило страшной метафизичностью.

Тихомиров прямо не возражал мне, но на мои недоумения отвечал своими недоумениями. Он просил меня проверить в свою очередь утверждение, что человечество развивалось только бессознательно, и задавался вопросом, нельзя ли из анализа самых примитивных форм общения вывести, наоборот, то заключение, что уже на самых первых порах люди стараются закрепить совершенно планомерно некоторые правила совместной жизни, хотя бы и вытекающие из факта чисто животной в своем зародыше солидарности. Он, мол, лично склоняется к теории естественного права и возражал бы лишь против ее преувеличений, напр., когда ее сторонники утверждали, будто все основные права и обязанности человека и гражданина уже заложены в сознании людей. Эти правовые нормы вырабатываются лишь втечение общественного процесса, образуются сначала в душе наиболее чутких личностей и отвоевываются затем этим революционным меньшинством у эгоистических притеснителей во имя целого общества.

Этот разговор с Тихомировым навел меня на мысль поближе познакомиться с работами, изучающими психологию диких и варварских племен, и попытаться определить, в какой степени сознательное, а не только инстинктивное творчество играет роль уже на пороге человеческой истории.

Другой разговор вышел у нас по поводу одной из блестящих речей Клемансо, направленных против тогдашней колониальной политики Ферри в Тонкине. Я восхищался энергическим, глубоко гуманным заявлением тогдашнего главы радикалов, что он не признает теории белых рас, по праву господствующих, и желтых рас, по необходимости подчиненных; и что независимо уже от всяких политических соображений он с общечеловеческой точки зрения восстает против всякой попытки силою внести нашу цивилизацию в среду менее культурных народов.

— А, знаете, Н. С., я тоже восхищаюсь Клемансо, — заговорил Тихомиров, — но мне кажется, что те между французскими радикалами, которые как бы в принципе отрицают всякую колониальную политику, заходят, пожалуй, чересчур далеко в этом отношении. Я вполне понимаю, что нам, людям прогресса, должно требовать применения и к самым отсталым племенам гуманных способов обращения и решительно бороться со всяким насилием. Но почему вообще нельзя заво-

дить колонии на человеческих началах, не эксплуатируя туземцев, развивать производительные силы страны, — это мне понять уже труднее. Я, грешный человек, рассматриваю весь род человеческий за одно великое общежитие. И мне представлятся по меньшей мере сомнительным, чтобы некоторые члены этого общежития потому только, что они наиболее отсталые, имели право препятствовать другим, более культурным, разумно эксплуатировать естественные богатства их земель. Как с этой же точки зрения мне представляется очень сомнительным право, скажем, анархических организаций и отдельных анархистов — это ведь высказывается здешними теоретиками анархии — по-своему распоряжаться той или иной частью общегосударственной территории в то время, как теперь повсюду ощущается недостаток в естественных богатствах... А вы как думаете, Н. С.? Ведь, кажется, даже у Прудона можно найти посылки, ведущие к такому глубоко противообщественному выводу? Вы бы перечитали его с этой точки зрения и попробовали подвергнуть его критике...

И опять-таки и эта беседа побудила меня хорошенько познакомиться не только с Прудоном, но и с боевой литературой тогдашнего французского анархизма, который действительно проповедывал право отдельной личности восставать против решения всего человечества, если только по ее мнению это решение затрагивает ее законные или незаконные желания — все равно — или даже ее капризы.

Эта манера Тихомирова обсуждать вопрос в форме личных сомнений и колебаний и участвовать вместе со своим собеседником в решении какой-нибудь интересовавшей нас задачи очень мне нравилась. Скоро мы стали большими друзьями. И не было дня, — мы вскоре поселились тогда близко один от другого на авеню Рейль, — когда бы мы по крайней мере на час, на два не сходились вместе.

Я ужасно полюбил Тихомирова. И мне казалось, что и он относится ко мне с большой теплотой. Я чувствовал потребность в идейной дружбе, потребность в человеке, с которым я мог бы делиться всеми сомнениями, возникавшими в моей тогдашней такой еще юной, мятущейся душе. Тем более, что Лавров после моей статьи «Банкротство буржуазной науки» начал относиться ко мне очень сдержанно, вежливо-холодно, неприязненно. Я узнал от кой-кого из его личных друзей, что он очень разочаровался во мне и считает мое теперешнее устремление в сторону критики Маркса вредным для дела социализма. Во всяком случае он твердо решил, — говорили мне эти люди, — не давать мне ничего писать в «Вестнике», что бы могло в читателях возбуждать сомнение в истинности «научного социализма».

Была, однако, у тогдашнего Тихомирова особенность, которая от времени до времени проскальзывала у него и которую я всячески старался не замечать или по крайней мере об'яснять

в благоприятном для него смысле. То была его физическая трусость, которую он, как человек умный, старался обыкновенно скрывать, но которая прорывалась у него порою с неприятною напряженностью.

Долго я утешал себя мыслью, что это мне только кажется. Дело в том, что в то время Тихомиров, остававшийся с Ошаниной почти единственным членом грозного Исполнительного комитета первого состава, был окружен ореолом не только теоретика Народной Воли, но и одного из самых энергичных руководителей знаменитой революционной организации. Я смотрел на него, как на воплощение мужественного политического деятеля. Часто, когда у нас заходила речь о славной деятельности народовольцев, мне так и хотелось воскликнуть прямо в лицо героя:

Ты воевал под башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйском отражал!..

И вот этот-то самый «герой», созданный моим по обыкновению романтическим воображением, вдруг поразил меня рассказом о двух эпизодах своей личной жизни, рассказом, проникнутым нотами необыкновенной боязливости.

Глубокой осенью 1883 г. он уехал в Лондон, — как я узнал потом, на свидание с Дегаевым: нужно было убедить предателя помочь революционерам убить Судейкина, организацию покушения на которого соглашался взять на себя примкнувший тогда окончательно к Народной Воле Лопатин. И вот, рассказывая мне о своих лондонских впечатлениях, Тихомиров принялся необыкновенно длинно и взволнованно повествовать о том, как в вагоне его ужасно перепугал какой-то пьяный англичанин, который все время грозил убить его палкой. И глаза Тихомирова, страдавшего нистагмом, с каким-то особенным страхом прыгали по комнате. И тут же, придя в странное нервное состояние, он нескладно и путанно стал припоминать, как однажды в горах на Кавказе он испытал такое же сильное ощущение страха, когда ему сумрачным вечером показалось, что в кустах зашевелился кабан, и он кое-как вскарабкался на дерево и просидел там несколько часов до следующего утра, пока на тропинке не показались люди.

Еще более неприятно Тихомиров поразил меня, когда пришел показать мне открытку, полученную им по городской почте и содержавшую несколько строк от проживавших тогда в Париже двух русских шпионов, которые величали себя графом Куном и бароном Грюном и развлекались писанием шутливых или грязных писем нам, эмигрантам.

Открытка была адресована по французски «Мосье Базилю Долинскому», а по русски на ней было написано: «Лев Тигрыч де Прохвостов, не думай, что мы забыли о тебе. Под какими бы именами и прозвищами ты ни скрывался, знай, что мы захватим тебя в свои руки и отвезем в Россию, где ты, нераскаянный

злодей, и примешь от палача давно заслуженную тобой казнь за твои адские преступления».

Тихомиров буквально потерял от страха голову:

— Ах, Н. С., с этими ребятами шутить нельзя: шутка шуткой, а уж они со мной расправятся. Подумайте, ведь они узнали уже, что Долинский это Тихомиров, а тут еще французская полиция в дружбе с русской...

Тщетно я и другие товарищи Тихомирова старались представить ему всю невероятность этой перспективы, которою шпионы могли пугать только малых детей. Тихомиров никак не мог успокоиться. Он приводил нам примеры похищения итальянских революционеров австрийскими шпионами в Англии, детей американских миллиардеров бандитами с целью выкупа и т. п.

Кончилось дело тем, что Лавров, внимая мольбам Тихомирова, свел его к Клемансо и попросил могущественного тогда вождя радикальной партии оказать покровительство его товарищу по редактированию «Вестника Народной Воли».

Вскоре мы узнали от одного из близких приятелей Клемансо об удручающем впечатлении, произведенном Тихомировым на знаменитого сокрушителя министерств.

Дело было не только в том, что Тихомиров, сносно читавший, но плохо говоривший по-французски, поручил об'ясняться за себя Лаврову, а сам прибавил едва несколько бессвязных фраз. Но Клемансо не мог, по его собственным словам, опомниться от изумления, когда увидел перед собою всю беспомощную фигуру Тихомирова.

— Вы понимаете, когда гражданин Лавров предупредил меня, что приведет на свидание со мной представителя Народной Воли за границей, я, признаюсь, ожидал встретить человека вроде наших знаменитых террористов великой революции. Я слышал, что Тихомиров был душою той героической партии, которая своею борьбою с царским абсолютизмом привлекла внимание всего мира. И я приготовлялся встретить героя из героев... Представьте же себе мое печальное, трижды печальное разочарование, когда вместо Дантона или по крайней мере Робеспьера, — да что, вместо любого из вождей наших оппортунистов, Ферри или Вальдэка Руссо, — я увидал человека вне себя от страха, с прыгающими по сторонам глазами, дрожащими руками, бессвязным лепетом «мосье Клемансо, мосье Клемансо».

И Клемансо презрительно сделал боковой жест рукой.

— При этом свидании я заинтересовался им не столько как политический деятель, сколько как врач, и с трудом мог убедить этого нуждавшегося прежде всего в лечении господина, что он живет у нас во Франции, а не в Персии и не у ашантиев, и что ни о каком похищении его в Париже шпионами не может быть и речи... Лавров, видимо, сам был сбит с толку поведением Тихомирова и, оставшись после свидания со мной наедине,

усердно старался убедить меня, что «его товарищ был последнее время нервно болен и не успел еще совсем оправиться от нездоровья».

Я был страшно огорчен и смущен рассказом Клемансо об этом происшествии, которому политические враги Тихомирова придали широкую огласку. Мне было больно и стыдно за Тихомирова, и я старался ни с кем не говорить на эту тему. Но чуткая Ошанина, которая сама обладала большим мужеством и считала это свойство естественным в здоровом человеке, а особенно в революционере, подметила мое настроение.

А так как она очень ценила Тихомирова как умственную силу, то, не говоря о нем, не произнося даже его имени, она сделала попытку реабилитировать его в моих глазах. Придравшись к известию из России о провале какой-то организации и о не особенно стойком поведении одного из участников в ней, она по обыкновению очень умно завела со мной речь о психологии некоторых революционеров.

— Организатору приходится, Н. С., считаться с людьми разного типа и ставить каждого на свое место. В этом отношении Александр Михайлов был незаменим. Ему было достаточно поработать с кем-нибудь в течение нескольких недель, чтобы безошибочно определить, на что этот человек способен и чего от него нельзя ждать. И, главное, он понимал людскую душу. Когда надо было, он был страшно требовательным. В других случаях он поражал своею снисходительностью. Именно потому, что понимал, докуда может итти человек известного типа. Кто хорош как заговорщик, кто как литератор, а кто как «бомбардир». На бомбы нечего ставить человека, умеющего писать, но не обладающего крепкими нервами...

Ошанина всматривалась в меня, очевидно, стараясь заметить, какое впечатление производят на меня ее слова.

— Знаете, мне приходилось в течение своей конспиративной жизни встречаться с людьми разного рода. Всего, пожалуй, любопытнее тип человека, который проявляет замечательное мужество, когда, напр., нужно принять какое-нибудь чрезвычайно ответственное политическое решение, и в то же время физически труслив. Тут ничего не поделаешь. Это уже чисто органическая особенность, с которой человек не может справиться. Возьмут его — он будет вести себя безупречно, никого не выдаст, но привезут его к эшафоту, он еще до повешения потеряет сознание от чисто физического страха.

И она назвала мне выдающегося революционера, — всего интереснее, что практика, а не теоретика, — который принимал участие в нескольких самых рискованных террористических предприятиях и, когда был арестован, держал себя на допросах безукоризненно, но, приговоренный к смертной казни, был повешен почти в бессознательном состоянии... В петлю вложили не живого человека, а мешок, который пришлось передвигать и поддерживать. «Эти люди — герои и мученники вместе»...

И все-таки я чувствовал, что сама Ошанина была смущена Тихомировым, с которым ей не приходилось в последние годы пребывания в России работать вместе и которого она, видимо, как раз не знала со стороны физического мужества. Несколько позже я узнал, что Александр Михайлов быстро разглядел эту печальную особенность Тихомирова и первое время пытался воздействовать на своего товарища, которого в общем очень любил, а затем просто принял в расчет его психологию и всячески старался не ставить его в положения, где прежде всего нужны были хорошие нервы.

— Подтянись, Лев, подтянись, старичок! Видишь, какими орлами наша молодежь ходит, — дружески увещевал Михайлов Тихомирова, давая ему в провожатые юношей из рабочей дружины, которые шли с револьверами наготове недалеко от Тихомирова, когда ему во время страшных петербургских арестов приходилось итти куда-нибудь на опасное конспиративное заседание. Еще позже, после измены Тихомирова, когда мы прервали с ним всякие сношения, из уст романиста Рони старшего, который пришел интервьюировать меня по поводу неожиданного, как ему казалось, ренегатства Тихомирова, дружившего одно время с ним, мне пришлось услышать передачу поразительного рассказа Тихомирова о том, что тот испытал в день казни цареубийц первого марта.

Рони воспроизвел это состояние духа Тихомирова с потрясающею художественностью, и я сожалею, что не могу припомнить в точности этого рассказа.

— Я ужасно, знаете ли, интересовался психологией Тихомирова, которого я считал типом русского революционера, человеком из той категории, которая, по нашим нынешним дряблым временам, уже перестала существовать в Европе. А его книжка на французском языке «Заговорщики и полицейские» выдавала в нем недюжинного наблюдателя своей собственной и чужой души. И вот как-то раз я задал ему вопрос, что ощущает террорист, который ежеминутно подвергается опасности быть схваченным, на каждом шагу теряет своих дорогих друзей, но в то же время проникнут великой идеей борьбы за свой народ и за свободу. Тихомиров подумал-подумал, побегал с минуту своими глазами по комнате и рассказал мне, по обыкновению очень запинаясь и на ломаном французском языке, самый мучительный случай из своей жизни:

— «В апреле 1881 г. должна была состояться казнь пяти террористов, осужденных за цареубийство первого марта... Приговоренных к смерти везли на колесницах к Семеновскому плацу. Путь их, между прочим, лежал через улицу, куда выходили окна квартиры, в которой я жил под фальшивым паспортом чиновника... Все тротуары были запружены народом. Не было ни одного дома, из окон которого не выглядывало бы любопытных. Конечно, и я должен был подойти к окну и смо-

треть на это шествие, иначе это могло бы возбудить подозрение. Мы стояли у окна с женой, а рядом с нами стояла наша кухарка. Когда показались колесницы, на которых качались осужденные, крепко привязанные веревками к досчатым сиденьям, я замер на месте... Подумайте: Желябов, Перовская, Тимофей Михайлов бывали у нас еще так недавно!.. А наша прислуга словно нарочно всматривалась так пристально в лица провозимых... Вот-вот, казалось, она узнает кого-нибудь из них и вскрикнет: да ведь я здесь видала этих господ!.. В несколько минут, пока, громыхая колесами среди всеобщей тишины, проезжали мимо нас колесницы, мы пережили с женой вечность».

— Вам было ужасно думать, не правда ли, что ваши близкие, идейные товарищи, в жилах которых течет еще горячая кровь, через какой-нибудь час будут безжизненными трупами? Вы были охвачены скорбью, что Россия теряет таких сынов?.. Жажда мести, сознание необходимости продолжать борьбу проникали в вашу душу? — забрасывал я вопросами Тихомирова в этот трагический момент его рассказа.

— Да, знаете, конечно, но это было после, — отвечал мне Тихомиров, — а тогда я думал только, какая это несчастная судьба русского революционера, которого со всех сторон травят, как хищного зверя.

— О, в этот миг Тихомиров говорил совершенно искренно со мной, он ничуть не рисовался, но, несмотря на эту искренность, мне было как-то не по себе, было тяжело и стыдно за Тихомирова... Эта исключительная, почти животная дума только о себе и в такие трагические минуты поразила меня... Я до того времени представлял себе Тихомирова иначе...

Я вспомнил этот рассказ Рони, когда некоторое время спустя прочитал в брошюре Тихомирова «Почему я перестал быть революционером» очень выразительные и очень, если хотите, искренние строки, где бывший революционер, превращаясь в монархиста, жалуется насчет жизни травленого волка, выпадающей на долю русского социалиста.

Я, впрочем, забежал вперед года на четыре и должен возвратиться к той поре, когда, несмотря на некоторые черты Тихомирова, я в общем ужасно любил его. Не знаю, дипломатничал ли он со мной или нет. Но в разговорах о моих литературных работах в «Вестнике» он никогда не навязывал мне какой-нибудь темы и не старался подсказать мне такое или иное решение вопросов, толпою обступивших меня в дни идейного кризиса, который я продолжал переживать. Он держался все больше своей сократовской манеры вопрошения.

Я сам в 1883 — 84 г.г. шел по линии политического антитезиса, составлявшего противоположность моему экономическому тезису предшествовавших годов. Под влиянием этого настроения я написал для «Вестника» довольно большую статью

«Политический и экономический факторы в жизни народов», из которой появилось лишь начало, так как П. Л. Лавров решительно восстал против печатания ее продолжения в редактируемом им с Тихомировым органе (см. мой очерк о жизни и деятельности Лаврова в «Социалистах Запада и России»).

Центр тяжести моей статьи лежал в борьбе против «довольно значительной школы современных социологов, полагающих, что экономические отношения — в некотором роде аладинова лампа, которую стоит только повернуть так или эдак, чтобы получить весь или почти весь строй данного общества. Эта теория связана с очень авторитетным именем Карла Маркса, но лишь его эпигоны развили ее во всей нетерпящей возражений односторонности».

Я считал нужным противопоставить в этом этюде Маркса-экономиста Марксу-социологу: «По нашему мнению, главная сила Маркса заключается в его чисто экономическом анализе тех явлений современного общества, которые подлежат изучению в политической экономии, а не в тех небольших брошюрках, статьях или даже подстрочных отступлениях от главного предмета, которые заключают его взгляды на общество в его целом и на социальные факторы. Везде, где дело касается более или менее экономических вопросов, Маркс доказывает свои положения, обставляет их солидной аргументацией и дает обширный статистический материал в подтверждение их. Везде же, где речь заходит о его историко-философских взглядах, Маркс поступает иначе. Тут уже царит в некотором роде догматическое богословие[1]). Об'является, что в основе общества лежат экономические отношения, что от них зависят все остальные явления, что в политической экономии нужно искать основную науку, «анатомию» современного общества — и дело этим ограничивается... Историческая и философская эрудиция автора дает материал не для доказательства основных положений — они с первых же строк ставятся, как аксиомы, — а лишь для их иллюстрации».

И особенно я направлял тогда свою критику против марксистов: «мы совсем не против того, что Маркс имел для себя подобные «аксиомы»: сам он признается, напр., как основная «аксиома» о зависимости всех социальных отношений от экономических служила путеводною нитью при его дальнейших занятиях по политической экономии. Известные, хотя бы и предвзятые идеи значительно облегчают труд группировки

---

[1]) Эти страницы для современного читателя могут иметь только исторический интерес, хотя не исключено, что сам автор считает свое оружие годным и для современных способов боя. Сорок пять лет прошло с момента напечатания статьи Н. Русанова. Даже в арсенале народничества она не считается особенно удачной. Но пусть читатель все-таки увидит, с какими «кулевринами», «аркебузами» и «мушкетами» решались выступать против доктрины, выдержавшей самое грозное испытание, которое выпадает на долю любого учения,—испытание в правильности делаемых прогнозов.

фактов и их обобщения. Но эти идеи толкали самого Маркса накоплять и творчески перерабатывать чисто об'ективный материал, из которого любой беспристрастный читатель мог узнать много об экономическом движении современного общества, даже и не соглашаясь с «аксиомами» Маркса насчет подавляющего значения экономических над прочими формами; тогда как у последователей Маркса такие идеи превращаются в неподвижные формулы символа веры, а самого материала и его обобщений у них не оказывается. Полагают, что «аксиомы» учителя имеют значение всеобщих аксиом, годных для всех времен и народов, подкреплять их жизненными фактами считается излишним, и много-много, если их иллюстрируют частными подходящими примерами. Благодаря этому, чисто экономический анализ Маркса не находит продолжателей, а его сравнительно небольшие историко-философские рассуждения вызвали к жизни целую плеяду комментаторов [1]).

В уже упомянутом мною этюде о Лаврове я рассказал о крупных разногласиях, возникших у Лаврова с Тихомировым и Ошаниной по поводу продолжения и окончания моей статьи и чуть было не закончившихся выходом из «Вестника» Петра Лавровича, место которого в качестве соредактора Тихомиров и Ошанина, остававшиеся чрезвычайно довольными моей статьей, предложили мне. Возвращаться к этому эпизоду подробно я не стану. Его ближайшим следствием было мое еще большее сближение с обоими представителями Народной Воли и еще большее отчуждение от Лаврова.

Мне было жаль непоявившихся частей моей статьи, особенно главы VI — о «Способе производства», где я старался вскрыть очевидное, по моему мнению, недоразумение, жертвою которого были правоверные марксисты, разумевшие под способом производства то чисто технические условия известной ступени человеческого труда, то не только эти условия, но и общественные отношения между людьми данного периода.

Втечение нескольких лет я сохранял эту статью, пока кто-то из приятелей не зачитал ее. Но кой-какие из ее положений мне удалось развить гораздо позже в статье «На высотах об'ективной истины», которая была посвящена разбору книги Н. Бельтова (Г. В. Плеханова) «К вопросу о монистической точке зрения» и которую я поместил под псевдонимом Кудрина в «Русском Богатстве» за 1895 г. Об этом, впрочем, ниже.

В первые же годы моего пребывания в Париже мне пришлось пережить период краткого оживления и окончательного упадка Народной Воли, к которой я примкнул в конце 1883 г. и теоретическим выразителем которой мне пришлось выступать и тогда, когда Тихомиров перекочевал в лагерь реакции.

---

[1]) К. Тарасов. Политический и экономический факторы в жизни народов, „Вестник народной Воли“, № 2, 1884, Женева.

После арестов, процессов и смертей Желябова, Перовской, Кибальчича и др., партия в 1882 и 83 г. понесла новые тяжелые потери в лице таких выдающихся членов, как Александр Михайлов, Колоткевич, Тригони, Суханов, Баранников, Халтурин, Юрий Богданович, братья Златопольские, А. П. Корба и другие представители первого наиболее славного периода ее деятельности. Но на воле продолжала еще действовать среди военных Вера Фигнер, и летом 83 г. в партию вошел Г. А. Лопатин, что можно было считать очень большим приобретением для Народной Воли.

Собственно, Лопатин никогда не был конспиратором и не принимал даже особого участия ни в одной из действовавших до того времени революционных партий. Он дружил с представителями различных направлений, но не примкнул в свое время ни к лавристам, ни к бунтарям, ни к Земле и Воле, ни к Народной Воле,—в наиболее яркий период ее деятельности,—ни к Черному Переделу. И это зависело не только от того, что его смелые партизанские действия, в роде попытки освобождения Чернышевского, заканчивались неоднократно арестом, ссылкой, бегством за границу и т. п. положениями, мешавшими ему лучше использовать свои недюжинные и разнообразные способности на служение великому русскому движению: мы знаем русских революционеров, которым ни Сибирь, ни тюрьма, ни временное пребывание на Западе не мешали снова и снова возвращаться в ряды той или другой партии и продолжать конспиративную работу. Но широкой, многосторонней, цветной личности Лопатина партийные рамки, очевидно, казались чересчур узкими.

Когда я познакомился с ним весною 1883 г. у Лаврова, он даже поразил меня расплывчатостью своих политических воззрений. На пути своего бегства из Туркестана во Францию он перевидал по обыкновению массу людей в России и в Европе и приехал в Париж сторонником общего политического напора на правительство, которое и накануне коронации Александра III не могло еще считать себя достаточно прочно сидящим. Лопатину казалось, напр., что всего целесообразнее было бы, если бы русские революционеры, народовольцы или чернопередельцы, совершенно не выдвигали никакой социальной программы, а ограничивались бы чисто политическими, притом самыми умеренными требованиями в духе, скажем, земского либерализма.

Нас всех удивило также его чрезвычайно мягкое отношение к Драгоманову, который, как я уже сказал, жестоко нападал на террористов и вообще на русских социалистов. Лопатин полагал, что драгомановское «Вольное Слово» делает полезное дело, и слухи, все упорнее и упорнее ходившие о подозрительной роли Мальчинского в этом органе, считал клеветой. Тактика «Народной Воли» представлялась Лопатину в течение еще первых двух-трех месяцев его пребывания в Париже чересчур

односторонней, рассчитанной на незначительное революционное меньшинство, а не на все общество.

Первым атаковал его за эти взгляды Лавров, с которым Лопатин издавна дружил и у которого он жил теперь на квартире. Лавров не считал себя народовольцем, а лишь союзником Народной Воли, но полагал, что в данный момент все русские социалисты должны итти под знаменем народовольчества, так как это течение несомненно социалистическое, а к либералам, особенно русским либералам, он относился по обыкновению очень резко, как к людям без настоящих убеждений и без гражданского мужества. Впрочем, так как у меня в ту пору отношения с Лавровым были холодные и я сравнительно редко бывал у него, я не могу с точностью определить степень влияния его дружеских увещаний на Лопатина.

Но за него вплотную принялись, сначала Ошанина, а потом под'ехавший Тихомиров, и уже в течение лета 83 г. им удалось так подействовать на Лопатина, что он решил помочь Народной Воле прежде всего на каком-нибудь специальном предприятии.

Марья Николаевна со свойственными ей чутьем и настойчивостью повела наступление на Лопатина по линии, где он всего менее мог сопротивляться. Всякий раз, когда мне приходилось встречаться вместе с ней и Лопатиным, она с большим и, я уверен, искренним восхищением выслушивала рассказы того, кого Глеб Успенский называл «удалым добрым молодцем», о его всевозможных приключениях, но не ограничивалась этим восхищением, а все старалась показать, что для таких крупных людей, как Лопатин, должна быть найдена и соответствующая крупная деятельность. Порою сожалела, порою почти негодовала, что до сих пор Герман Александрович не мог дать полной меры своих сил и способностей, и убеждала его, что большому кораблю надо большое и плавание, и что лишь такая уже ставшая великою историческою силою партия, какова Народная Воля, может предоставить достаточно широкий простор для работы из ряда вон выходящего человека...

А Лопатин переживал как раз в эти месяцы личный душевный кризис и, что называется, метался из стороны в сторону. Он даже одно время думал поселиться с нами на лето в Бретани и, действительно, пробыл несколько дней на берегу моря, но снова уехал в Париж под удары такой мастерицы в деле внушения, какою была Марья Николаевна, к которой присоединился и Тихомиров.

Главное затруднение, как я потом слышал от ставших моими близкими идейными товарищами Ошаниной и Тихомирова, заключалось в том, как уломать Лопатина подчиниться хотя и добровольной, но строгой дисциплине, составлявшей силу партии. Вольнолюбивая натура Германа Александровича до сих пор сопротивлялась всякой регламентации, всякому подчинению внешней, хотя бы и товарищеской, общей воле. А тут

ему пришлось бы иметь дело с особенно крепко централизованной организацией, притом действующей в исключительных условиях заговора.

Выход был найден Ошаниной и Тихомировым в сделанном ими Лопатину предложении вступить в партию под условием согласия лишь с некоторыми общими теоретическими положениями и тактическими приемами Народной Воли, а работать на практике самостоятельно в качестве высшего агента Исполнительного комитета (фактически существовавшего лишь заграницей в лице Тихомирова и Ошаниной), который дает ему поручение восстановить расшатанную организацию. Таким образом, Лопатин становился до известной степени диктатором, не связанным решениями центра, а, наоборот, направляющим деятельность членов партии в России, вносящим в нее известное единство и, в случае отклонения работников от общей партийной линии, возвращающим их к ней.

В частности, ему было поручено осуществить ужасно привлекший его план убийства Судейкина при пособии Дегаева. На Дегаева было произведено сильное давление со стороны Тихомирова, Ошаниной и Лопатина. И этот слабохарактерный, тщеславный, страшно дороживший своею жизнью и очень мало нравственными убеждениями человек согласился помочь осуществлению задуманного предприятия. Ему было прямо поставлено на вид, что только этим путем он избегнет наказания партии за предательство, и что в противном случае, куда бы он ни старался скрыться, карающая рука Народной Воли тяжело опустится на него. Кстати, я припоминаю по этому поводу копию письма, написанного Тихомировым брату Дегаева и заключающего очень удачную характеристику предателя.

Предприятие было с успехом выполнено в половине декабря 1883 г., а в конце декабря появился в Париже и сам Лопатин, окруженный в ближайшем кружке ореолом организатора убийства Судейкина. Это, действительно, ему принадлежала выработка всех практических подробностей осуществления плана. К несчастию, у Германа Александровича в Париже, как и везде, оказалась уйма личных приятелей, а между ними люди индифферентные и даже скорее враждебно настроенные к революционерам. А экспансивный Лопатин не мог отказать себе в удовольствии рассказать кой-кому из них такие подробности убийства, которые могли быть известны только лицу, принимавшему очень близкое участие в деле.

Таким образом, в парижской колонии скоро стали говорить о Лопатине, как о прикосновенном к убийству. А это, конечно, привело русскую политическую полицию к нехитрому заключению, что Лопатин находится теперь в рядах Народной Воли. Лопатин уехал снова в Россию весной 1884 г., стоя уже обеими ногами в организации. По крайней мере, теперь он защищал в разговоре народовольческую точку зрения и по дороге писал нам из Лондона, что Энгельс продолжает с большим уважением

относиться к той партии, которая держала военнопленным русского царя в Гатчине. Больше я Лопатина уже не видел вплоть до его освобождения из Шлиссельбурга во дни первой русской революции.

В 1883—84 г.г. в Париж с'ехалось вообще довольно много молодых народовольцев, — по большей части из России, — только небольшая доля которых вернулась на родину, а большинство перешло в эмиграцию. С некоторыми из них мне пришлось познакомиться лишь поверхностно, с другими приходилось жить и работать в Париже. Из возвратившихся на революционную работу в России мне припоминается Салова, Сухомлин, Караулов, а из оставшихся — И. А. Рубанович, Э. А. Серебряков, Г. Ф. Чернявская (Бохановская), умершая несколько лет спустя уральская казачка Сладкова.

Почти все они с чрезвычайным уважением относились к Тихомирову и Ошаниной, с дружеской симпатией ко мне, тогда как их отношения к Лаврову в это первое время были порою довольно холодны, потому что после столкновения Петра Лавровича со мной, и несомненно под влиянием Тихомирова и Ошаниной, они видели в Лаврове человека, который находится лишь в союзнических отношениях с Народной Волей, тогда как его общее мировоззрение чересчур приближает его к марксистам. В это время, до ареста Лопатина, нам всем еще казалось, что Народная Воля лишь временно ослаблена правительственными преследованиями, но скоро сберется с силами и нанесет решительное поражение русскому самодержавию. Некоторые из тогдашних народовольцев оставили у меня по себе очень благоприятное впечатление, хотя с ними мне пришлось видеться в Париже лишь короткое время.

В моей памяти восстают образы стройного, высокого, тонконогого «Комара» — Сухомлина, на живом лице которого отражались во время разговора все переливы настроения; огромного, верблюдообразного Караулова, который в течение своего трехмесячного пребывания в Париже грузно ходил по улицам нашего квартала, занимаясь специально наблюдением за кишевшими вокруг нас шпионами, а умер незадолго до великой войны кадетом и набожным православным христианином, проделавши еще в Сибири довольно быструю эволюцию вправо; крепкой телом и душой Ненилы Саловой, небольшие, исподлобья смотрящие черные глаза которой, румяные щеки, ярко алый, обыкновенно молчаливый рот и своеобразный жест сжимающихся в кулак рук дышали убежденностью и энергией. Салова весной 1884 г. уехала в Россию с Лопатиным и фигурировала вместе с ним два года спустя на большом процессе, почти совсем ликвидировавшем Народную Волю.

Из оставшихся за границей мне приходилось, кроме Тихомирова и Ошаниной, чаще всего встречаться с Серебряковым и особенно Рубановичем. О них я буду говорить и позже, а

теперь скажу лишь о первом впечатлении, которое они произвели на меня.

С Рубановичем мне пришлось познакомиться лишь через год после моего приезда в Париж. Впервые я встретился и тут же столкнулся с ним на одном собрании эмигрантов. И нельзя сказать, чтобы эта первая встреча вызвала во мне симпатии к Рубановичу.

В то время среди парижской эмиграции терся некий Корнфельд, полуглухой, но необыкновенно самоуверенный вырожденец, считавший себя великим гением. Странным образом Рубанович дружил некоторое время с ним. Однажды Корнфельд, видевший в себе одного из выдающихся теоретиков народовольчества, угостил колонию уморительным рефератом о различии между русской историей и историей Западной Европы.

По его словам, на Западе все развитие совершалось исключительно по законам экономики, у нас же в России царила лишь одна голая политика. Так что он, Корнфельд, должен признать себя дюрингианцем для России, но марксистом для всего остального мира [1]). Чтение это возбудило в слушателях, — и по заслугам, — лишь общую веселость, потому что сама по себе странная основная идея реферата доказывалась еще более странными ссылками на неизвестно откуда выловленные (несуществовавшие!) якобы «исторические» факты.

Корнфельду принялись возражать буквально все, одни с негодованием на невежество референта, другие больше в шутливой форме. Не принял всерьез эту лекцию и я, поставив ее сочинителю вопрос, где это он нашел указание на удивительные события, о которых он повествовал нам, — и я перечислил некоторые из наиболее курьезных открытий Корнфельда, прося его указать источники. В публике все время раздавался хохот... Многие собрались уже уходить, не желая тратить время на продолжение этой мистификации...

Вдруг сидевший рядом с Корнфельдом и до сих пор молчавший молодой человек поднялся с места и попросил председателя дать ему слово. Он был статен и роста выше среднего. Бледное, эффектное лицо красивого еврейского типа, под шапкой черных курчавых волос, обрамленное юношескими, короткими, но густыми бакенбардами и короткой же густой бородкой, невольно привлекло к себе внимание присутствующих. Прият-

---

[1]) Автор прав, иронизируя над несчастным Корнфельдом. Но, по совести говоря, не был ли целый ряд народников «марксистами» для Западной Европы и Америки и „дюрингианцами“ для России, т. е. не признавалось ли, что доктрина Маркса оправдалась на западно-европейском опыте, но неприложима к России? И так ли уж чужд сам автор Корнфельдовскому противоположению „экономики“ и „политики“?... Ниже, на стр. 123, автор говорит, как парижские эмигранты того времени проявляли большой интерес к вопросу «о разнице в развитии русской и западно-европейской общественной жизни». Пусть Н. Русанов спросит себя, можно ли т е п е р ь ставить такие вопросы? А если нельзя, то не означает ли это победу марксова метода?

ным, звучным баритоном молодой человек принялся защищать Корнфельда и отражать, как он выразился, чрезвычайно пристрастные, жестоко несправедливые нападки на референта.

Его задача была очень неблагодарная, так как прослушанная нами лекция со всеми ее курьезами оставила в публике общее впечатление претенциозной чепухи. Но защитник Корнфельда, видимо, не особенно смущался этим обстоятельством и продолжал развивать свои мысли, — именно свои мысли, — по поводу лекции, почти не касаясь ее содержания. В нем чувствовался природный оратор. Его речь, гораздо более фразистая, чем убедительная, тем не менее была выслушана публикой не без интереса до самого конца. Он очень ловко выбросил за борт Корнфельда, но тем самым спас его.

Он отвел слушавших в сторону от самого референта и говорил лишь о важности для всякого искреннего русского революционера решить вопрос о разнице в развитии русской и западноевропейской общественной жизни. По его словам, мы должны быть лишь благодарны каждому из наших товарищей за попытки такого решения, как бы ни были неудачны сами попытки, так как именно особенности русской истории заставляют представителей нашего социализма строить и особую программу деятельности.

Публика осталась в недоумении. Все, что эффектный молодой человек говорил, имело очень мало отношения к предмету реферата. Сам референт торжествовал, — торжествовал, потому что его забыли, — и его выбритое, веснушечное, покрытое рыжею шерстью лицо с лягушечьим ртом лоснилось не только от пота, но и от удовольствия. Но так как последнее слово принадлежало ему, то, когда он начал свое возражение словами: «итак, мы доказали, что» и к чепухе реферата стал прибавлять новую чепуху, публика разразилась хохотом и теперь уже вся быстро разошлась, не дослушав до конца Корнфельда.

— А кто этот адвокат? Отлично говорит... Хоть и на тему, — с иронической усмешкой спросил в кучке слушателей, возвращавшихся вместе со мной по домам в нашу сторону, глубоко скептичный, во всем разочарованный Цакни.

— А это Рубанович... Француз из Одессы... сбежал в прошлом году от Стрельникова, — ответил кто-то из студентов, знавший Рубановича.

Сам я познакомился с Ильей Адольфовичем Рубановичем несколько дней спустя, на деловом собрании, которое было посвящено обсуждению плана устройства русского спектакля. На этот раз он очень понравился мне. Он прямо сказал мне, что чувствует смущение, вспоминая свое выступление в пользу Корнфельда. Если он и защищал его, то лишь потому, что боялся, как бы публика не отнеслась юмористически ко всему направлению Народной Воли, так как Корнфельд все время говорил в реферате о себе, как о члене партии. Но он, Рубанович, и сам понимает всю вздорность мнимой научности рефе-

рента. Кроме того, он после собрания подробно беседовал с ним и убедился, что Корнфельд столь же глуп, сколько претенциозен. И Рубанович дружески извинялся за «порыв ораторства, овладевший им» на прениях по реферату.

Я узнал вскоре, что Ошанина, — которая на несколько месяцев раньше моего познакомилась с Рубановичем и оказывала уже на него в эту пору сильное влияние, — жестоко журила его за выступление на защиту Корнфельда, со свойственным ей тактом показав ему, что нет ничего хуже для серьезной партии, как брать на себя защиту всякого дурака, который только будет называть себя народовольцем.

Так как с Рубановичем мне пришлось работать целыми годами за границей, то я откладываю более подробную характеристику его личности до тех страниц воспоминаний, где мне придется говорить о нашей совместной деятельности, сначала в группе так называемых старых народовольцев, а затем в партии социалистов-революционеров.

Точно также я поделюсь с читателем здесь пока моими первыми впечатлениями от знакомства с Эспером Александровичем Серебряковым, с которым я также встретился весною 1884 г. При разгроме военной организации Народной Воли ему удалось бежать за границу, и здесь он оставался до возвращения в Россию в 1905 г., живя с увеличивающейся постоянно семьей обыкновенно в нелегких материальных условиях и, несмотря на большую личную порядочность, не уберегшись от изрядных политических ошибок.

Когда я впервые познакомился с ним, этот флотский лейтенант, перешедший в ряды революционеров главным образом под влиянием Желябова и Суханова, поражал своею искренностью и преданностью идее. Очертаниями своей физиономии Серебряков странно походил на популярный портрет Белинского(я не знаю, было ли у него сходство с самим Белинским). Он носил небольшие рыжеватые усы и бородку, держался немного по-военному и бодро смотрел на свет своими серыми, слегка выпуклыми глазами. Военная выправка сказывалась у него, между прочим, и на его отношениях к выдающимся членам партии: Ошанину и особенно Тихомирова он почитал, как исполнительные офицеры почитают начальство. Только раньше-то это начальство было царское, а теперь революционное.

Мы все с большою симпатией относились к нему, а Тихомиров, тогда еще не переставший быть революционером, так даже прямо любил его. Любопытно, что менее других расположена была к нему Ошанина. Ее прежде всего раздражала речистость, именно речистость, а не красноречие Серебрякова. Серебряков говорил, словно выпаливал, пачками слов, с запинками и остановками, курьезно поднимая голос в конце каждой фразы и заполняя промежутки словцами «да», «так вот», «я говорю», «таким образом». При том, он с большой горячностью любил развивать само собою разумеющиеся вещи, которых в сущности

не стоило и доказывать, а порою, наоборот, пытался с неменьшею горячностью защищать какую-нибудь наивно парадоксальную мысль, только что пришедшую ему в голову и показывавшую обыкновенно его значительную неосведомленность в политических и социальных вопросах.

О социализме он имел довольно смутное понятие и чувствовал его больше нутром. Быть социалистом значило, по его мнению, быть честным человеком, любить свой народ и защищать его интересы. Он знал слегка французский, а втечение своей сравнительно долгой жизни в Лондоне выучился и английскому, но плохо разбирался в политике обеих стран, особенно первое время своего пребывания за границей.

Как-то раз, придя с речи Клемансо на публичном собрании, организованном радикальными избирателями Монмартра против оппортунистов, он принялся серьезно уверять нас, что именно Клемансо и есть настоящий социалист, а французские социалисты собственно не социалисты...

Умная и обыкновенно тактичная Ошанина слушала Серебрякова по большей части с нетерпением и нередко восклицала, несмотря на свою благовоспитанность, тут же при нем в третьем лице:

— Ну, завел волынку...

Или:

— Эспер Александрович, да будет вам доказывать таблицу умножения!

Но иногда еще резче:

— Бог знает, откуда вы взяли это... Уж лучше бы помолчали!..

И Серебряков вспыхивал, но умолкал.

Интересно, что Серебряков не был собственно литератором. Но порою, когда что-нибудь задевало его честную душу за живое, из-под его пера выходили простые, глубоко прочувствованные вещи, как, напр., его открытое письмо Тихомирову по поводу брошюры последнего «Почему я перестал быть революционером».

Кстати сказать, он точно мстил себе этим письмом за то, что долгие месяцы продолжал еще относиться с почтением к ренегату, в то время как все мы уже давно разошлись с человеком, изменившим своему прошлому и своим товарищам. Несчастье Серебрякова заключалось в том, что под влиянием некоторых своих знакомых он воображал себя политическим деятелем и политическим писателем, брался за издание какой-нибудь газетки с расплывчатой, никчемной программой и не мог свести концы с концами. Лично он был человек в высшей степени чистый и честный, повидимому, не без инициативности, когда выдвигалось какое-нибудь практическое предприятие, но легко подпадал под влияние дурных людей. Я слышал, что в 1885—86 гг. на службе в Болгарии, восставшей против притязаний русского самодержавия, он удачно работал в высшем упра-

влении флота, адмиралом которого был его товарищ Луцкий, пока переворот, проделанный болгарскими карьеристами и русскими шпионствующими генералами, не заставил его снова бежать на культурный Запад.

Вспоминается мне еще интересная фигура молодого, тогда испитого, чахоточного народовольца Баха, своею серьезностью и своими сравнительно большими знаниями произведшего на меня очень приятное впечатление.

V

Характеристика П. Л. Лаврова.

Среди этих-то людей, сильно тяготевших к Тихомирову и Ошаниной, отчасти и ко мне, относившихся к Лаврову лишь с уважением, но без горячих симпатий, проходили мои первые годы в Париже, пока счастливая случайность не сблизила меня навсегда с Петром Лавровичем.

В июне 1885 г. поклонники философа-социалиста устроили торжество по поводу двадцатипятилетия его литературной деятельности. Хронологически это было не совсем точно, так как Лавров начал писать и даже печататься несколькими годами раньше 1860 г., к которому устроители юбилея приурочили появление Петра Лавровича на литературном поприще. Но надо было почтить ветерана русской революции.

В скромном ресторане на улице Гласьер парижская, тогда небольшая, колония организовала в честь Лаврова обед с дешевым шампанским и более или менее холодным мороженым, но очень горячими речами. Каждый старался высказать еще бодрому, еще могучему 62-летнему человеку все то хорошее, что думалось и чувствовалось при взгляде на седовласого юбиляра. На время были забыты теоретические разногласия.

Тихомиров, хотя и очень недолюбливавший Лаврова, но дипломатничавший с ним, сказал речь на ту тему, что, хотя, мол, слова не для него, Тихомирова, и он, Тихомиров, не для слов, но он все же считает своим долгом выразить публично все свое глубокое уважение к славному соредактору «Вестника Народной Воли». И даже обыкновенно столь скептический Цакни принес от имени парижских эмигрантов поздравление «борцу за свободу в целом ряде поколений».

Я слушал эти речи, относившиеся исключительно к революционной стороне деятельности Лаврова, и мне пришло в голову коснуться Лаврова, как мыслителя, как выразителя идеи «критически мыслящей личности». Я поднялся и рассказал о том впечатлении, какое на меня и на моих товарищей 70-х гг.

произвели «Исторические письма» Лаврова, которые от резания лягушек по Писареву звали нас к изучению жгучих социальных вопросов, к изучению многострадальной истории человечества, к уплате интеллигенциею тяжелой «цены прогресса» трудящимся массам. И закончил характеристикой того значения, которое Лавров будет всегда иметь, как философ революции и социализма.

Моя речь была сюрпризом для Лаврова, который полагал, что наши теоретические разногласия продолжают ставить преграду и нашим личным отношениям, и он был очень тронут, услышав мое приветствие. На следующий же день, когда я зашел к нему, кажется, с каким-то запоздалым адресом от одной из заграничных групп по случаю его юбилея, он быстро поднялся с места мне навстречу, крепко пожал меня за обе руки и с необычным для него волнением поблагодарил меня за вчерашнюю речь:

— Приношу вам искреннюю благодарность, Николай Сергеевич, за приветствие, сказанное вами мне вчера. Я признателен всем, почтившим меня вчера адресами и речами, но ваши слова особенно были дороги мне. Вы одни вспомнили, что я не только политический деятель, но и мыслитель, может быть, прежде всего и больше всего мыслитель. Как вам пришла в голову эта счастливая идея?

Я ответил Лаврову, что в последнее время очень усиленно занимаюсь философией, стараясь пополнить мои пробелы по этой части, и особенно интересуюсь левым крылом гегельянства, так как считаю необходимым познакомиться из первых рук с людьми этого направления, специально же с Фейербахом. И мне казалось столь естественным помянуть добрым словом человека, который в русской литературе всего ближе подходит к антропологизму Фейербаха.

Лавров с большим вниманием выслушал меня и был очень рад, когда я выразил свое желание начать тут же пользоваться богатым философским отделом его библиотеки. Помню, я в то же утро унес с собой два сочинения Фейербаха о Пьере Бейле и о Лейбнице и с тех пор целыми годами, идя по дороге на службу (о ней позже), заходил к Лаврову, возвращал ему прочитанные вещи и брал новые, которые начинал читать еще по пути.

Надо сказать, жил я тогда на авеню (аллее) Рейль, позже снова на бульваре Араго, а работал в одном из крупнейших парижских издательств на бульваре Сэн-Жермэн, так что, идя обыкновенным шагом, я употреблял не менее получаса или трех четвертей часа на свое путешествие из дома в фирму и столько же обратно, и на пути, как все парижане, занимался чтением. Только парижане читали газеты, а я книги.

Я помню, были даже сочинения, которые я читал — и прочел—по дороге. Так случилось, между прочим, с диалогами Платона, которые у Петра Лавровича были не только в немец-

ких и французских переводах, но еще и в оригинале, а именно в знаменитом в свое время бипонтинском (цвейбрюккенском) издании с греческим текстом вверху и латинским переводом внизу. Как сейчас вижу я это издание в честной телячьей коже XVIII в., чуждой всякой подделке и поражавшей своею прочностью. В течение полутора лет я успел прочитать исключительно на ходу почти все главнейшие диалоги великого философа и великого художника, который уводил меня так далеко от шумного Парижа, что я и не замечал своей длинной однообразной дороги. Я так изучил свой путь, что инстинктивно обходил все препятствия. Лишь один раз со мною произошло довольно неприятное приключение, сразу возвратившее меня в мир действительности, где, по выражению Шиллера, вещи так тесно соприкасаются одна с другой, тогда как мыслям так широко и привольно в человеческом уме.

По моей дороге, на улице Гей-Люссак, лежал небольшой кабачок, у входа в который днем была всегда спущена маркиза. Обыкновенно я проходил благополучно это кавдинское ущелье, потому что занавес висел довольно высоко. Но как-то раз один из железных болтов, поддерживавших маркизу, испортился и спустился в этот день так низко, что я, занятый чтением, на всем ходу угодил в конец болта лбом. Я зашатался и чуть не упал. По счастью, в то время, работая в издательстве, я носил, подобно многим своим товарищам по службе французам, цилиндр, и эта-то в общем неудобная штука оказала мне на сей раз хорошую услугу. Шляпа была пробита насквозь, но смягчила силу удара: на лбу оказалась лишь довольно большая царапина, и несколько капель крови брызнуло на книгу. Подбежала публика, выскочил в перепуге и сам хозяин кабачка и, рассыпаясь в извинениях, потащил меня под руку в ближайшую аптеку.

Через четверть часа маленькая трагедия кончилась большим парижским фарсом. Из аптеки я вышел настоящим триумфатором, так как меня окружала и за мной шла соболезнующая толпа из нескольких консьержей, нескольких торговок и целой уймы веселых уличных мальчуганов и девочек. Судьбе было угодно, чтобы на сей раз в моих руках оказался не какой-нибудь «Федон» Платона, поучающий о бессмертии души в безоблачном царстве идеала, а номер русского журнала, кипевшего и горевшего земными злобами дня. Я понял нравоучение рока: для чтения на улице бери философию, а не политику!..

Милый Петр Лаврович был очень огорчен моим происшествием и все советовал не сильно увлекаться книгами по дороге. В то время мы все более и более сходились друг с другом, к большой радости моей жены, которая уже давно желала нашего примирения, и скоро мы, несмотря на разницу лет, стали не только хорошими знакомыми, но и истинными друзьям, и я успел прекрасно изучить чрезвычайно инте-

ресную личность Лаврова. В своих прежних работах о покойном друге я охарактеризовал его с разных сторон, и мне не хотелось бы повторяться. Но кое-что стоит добавить к этой характеристике, чтобы лучше дать понятие читателю, каким действительно замечательным человеком был Лавров.

Так, я отметил благородство не только его идеалов, а и его личной жизни. Но у Лаврова это высокое благородство носило особый отпечаток. Оно было в немалой степени выработано им, выработано в борьбе с самим собой. Он не принадлежал к типу людей, у которых доброта и самопожертвование неудержимо лучились из самой личности, без всякого усилия. Наоборот, в интимной беседе он признавался мне, что во многих случаях ему надо сделать усилие над собой, чтобы всегда принять решение, согласное его нравственному идеалу.

— Должно быть, я по природе недобрый человек, — полушутя, полусерьезно говорил он мне.

И когда я почти негодующе прерывал его, указывая на всем известные факты из его жизни, свидетельствовавшие о том, как много он думал о других сравнительно с собой и как в этом отношении он стоял высоко над окружающими, он продолжал развивать свою мысль, как если бы дело шло не о нем самом, а о другом, подлежащем его изучению человеке.

— Мне уже давно знавшие меня говорили: «философ», «философ», «воплощенная идея». А этот философ и эта воплощенная идея — на самом деле существо, исполненное аффектов, аффектов страстных, аффектов личных...

— Словом, вы злы, как паук, Петр Лаврович, — пытаюсь шутить я, делая намек на то, что в своих работах по эволюции чувств Лавров отмечает существование эмоций уже у этих членистоногих.

— Думая пошутить, вы сущую правду сказали, Н. С., именно, как паук. В противоположность так называемым от природы добрым людям у меня первое движение никогда не бывает самым лучшим, а, наоборот, самым худшим. Я знаю уже себя и если делаю сразу что-нибудь, не обдумав хорошенько, то почти всегда раскаиваюсь. Вот я и о вас Тихомирову написал неладное письмо по поводу второй части вашей статьи для «Вестника Народной Воли». Это было под первым впечатлением ее чтения... помните, как я вас там «либералом» и «врагом социализма» называл, которому место только в «Вестнике Европы», а не в нашем революционном «Вестнике», — а сейчас мне прямо неприятно вспоминать об этом. Если бы я не уступил тогда первому своему движению, не сел бы сейчас к столу и не написал бы сгоряча, было бы много лучше. Я мог бы по существу сказать то же самое. Но форма, ах, эта форма!..

И Петр Лаврович досадливо отмахнулся рукой и даже заохал. Разговор этот происходил лет десять спустя после

события, когда мы уже были очень близки друг с другом, а Тихомиров подвизался на столбцах «Московских Ведомостей».

— Да, Н. С., я всякое свое чувство должен пропустить через мысль, и только тогда мой аффект принимает желательные, приемлемые для меня формы. Скажу вам больше, даже приятные переживания лишь тогда для меня действительно приятны, когда у меня было время задуматься над ними. Иначе они меня почти ранят. Вот, говорят, обыкновенно людям особенно ценно такое счастье, какое сваливается на них сразу, неожиданно. А для меня такое счастье не есть счастье. Я должен ждать счастья, готовиться к нему, продумать его с разных сторон и во всех последствиях, чтобы вполне насладиться им. Моменты ожидания того приятного, что должно по твоим соображениям случиться с тобой, для меня, пожалуй, приятнее самого приятного. Иначе оно приходит так быстро, что сбивает с толку самою внезапностью, и удовольствие сознания, что цель желания достигнута, совершенно отсутствует. К самому же ощущению неожиданного счастья привыкаешь почти в тот же самый миг, как почувствовал его...

И Петр Лаврович иллюстрировал эту особенность своей психологии несколькими примерами из своей общественной деятельности, как писателя и как пропагандиста. Неожиданные успехи, выпавшие на долю той или другой его работы, статьи, выступления, никогда не оставляли в его душе такого приятного впечатления, как сознание, что прежде всего он поставил себе известную привлекательную цель, стремился упорно осуществить ее и, наконец, добился.

Мне становилось понятно, почему высоко нравственное (говорю, конечно, не в банальном смысле) поведение Лаврова основывалось у него в такой степени на рассуждении, на взвешивании мотивов поступка за и против, а не на инстинктивном влечении к известному действию. Он далеко не был засушенной душой, он мог испытывать сильные чувства. Но он боялся инстинктивных поступков и против эмоций вооружался крепкой логикой и сознательно поставленным идеалом: это надо сделать потому-то и потому-то!... Вряд ли можно было найти человека более подходящего для осуществления нравственной программы утилитаризма, как он обрисован, скажем, благородным пером Джона Стюарта Милля, чем Лавров, этот образец продуманного поведения и неуклонного следования тому, что он считал полезным в интересах высшего дела.

С течением времени, следя за собой и работая над собой, повидимому, не без борений с чисто личными аффектами в своей молодости и первых годах зрелого возраста, Лавров превратился в необыкновенно цельную, своеобразную, привлекательную личность, в которой альтруизм составлял выражение столь высокого духовного эгоизма, что было собственно даже странно называть эту возгонку индивидуальности эгоизмом. И, однако, так часто встречающееся в сочинениях Лаврова

выражение «наслаждение умственным и нравственным развитием» отнюдь не простая фраза у него и не голая абстракция. Сам Лавров действительно наслаждался своей жизнью, целиком отданной умственной работе и идейной общественной деятельности, несмотря на очень большие, тоже идейные огорчения, которые пришлось испытывать ему на своем порою тяжелом пути. Я говорю о его существовании, как оно сложилось у него к шестидесяти годам, когда чаша жизни окончательно отстоялась у него (я как раз познакомился с ним в эту пору).

У Лаврова была большая жизнерадостность, отчасти, может быть, потому, что ему был присущ, как он мне сам говорил, известный фатализм, не теоретический фатализм, от которого он отказался еще в 50-х годах, а фатализм практический, ощущающий всеми фибрами души верность слов «чему быть, того не миновать». В теоретическом же отношении Лавров был убежденным детерминистом, который понимал, что и так называемая свобода воли, и человеческая деятельность вообще столь же необходимо определяются известными условиями, как и все в мире, но что это нисколько не исключает стремления человека всеми силами души предаваться известной работе с глазами, устремленными на яркую радугу горящего впереди идеала. Но помимо этого, у Лаврова было действительно ощущение, выражаясь словами великого Гете, что

По вечным, великим
Железным законам
Все в мире созданья
Круг жизни свершают.

Характерно частое употребление Лавровым и в сочинениях, и в публичных речах, и в частном разговоре слова «фатально». От этого слова веяло немножко стоицизмом, но стоицизмом, который не препятствует человеку брать то, что давала ему жизнь, равно как уметь обходиться, не ропща и не хныча, без того, в чем та же жизнь отказывала. Любопытно отношение Лаврова к самой жизни, — к жизни и ее естественному завершению: смерти.

Я как-то взволнованно рассказывал Петру Лавровичу об одном разговоре, который только-что перед тем вышел у меня с одной знакомой. То была молодая, красивая, на вид цветущая, чересчур даже цветущая, но нервная и вообще со странностями девушка, студентка-медичка, которая питала ко мне дружеское расположение и к которой я в свою очередь относился не без личной симпатии, хотя она была глубокая политическая индифферентистка, а у меня никогда не было другой религии, кроме социализма. И вот однажды, придя ко мне на квартиру, когда я случайно оставался один, она вошла в мой крошечный кабинет, где я сидел, обложенный книгами, и,

буквально не давши мне опомниться, бросилась в кресло рядом со мной и заговорила сквозь обильные слезы и рыдания:

— О, как хорошо, что никого у вас нет... Я шла наугад, но я чувствовала, что застану вас одного... Родной, хороший, спасите меня, утешьте меня, я погибаю...

Она в отчаянии простирала ко мне руки.

Я подумал, что, вероятно, дело идет об обычной в эти годы трагикомедии несчастной любви, когда человеку в данный миг кажется, что все пропало, что незачем жить, потому только, что «гению рода», по выражению Шопенгауэра, что-нибудь помешало соединить Ганса с Гретой. И я ждал рассказа о любовных злоключениях. Каково же было мое удивление, когда из алых губ девушки посыпались безумные слова:

— У меня душа стынет от ужаса... Я боюсь... Все время боюсь... Знаете чего?.. Умереть... Я скрывала это ото всех, теперь говорю вам... Не могу больше терпеть... Я целыми годами волочу за собой свой труп... Я так ясно вижу, что я умерла... Нет, что я должна умереть, умереть, как все... Как все... Разве это не ужасно?.. Пройдет год, два, десять, двадцать, даже пятьдесят... И, может быть, даже больше... Но умереть я должна... Никто не остался в живых. Были великие люди, основатели религий, мировые ученые, несравненные художники, Христос, Ньютон, Шекспир, наш Пушкин, были герои, герои мысли, герои дела, всеоб'емлющие гении — и все умерли. Они были несравненно выше, крупнее меня — но и их теперь нет...

Девушка задыхалась от волнения.

— А я, чем я лучше их? Я такая маленькая, такая крошечная, жалкая в сравнении с ними, ничто, точка. Но в этой точке пока горит сознание — и ужасается... Казалось бы, какое сумасшествие! Могу ли я требовать у судьбы привилегии для себя, для этого ничтожества, для этой точки в огромном мире, чтобы жить и никогда не умереть?.. Да, жить, вечно жить. А они, великие, они уже умерли, их уже больше нет... Нет, нет, а я существую... И в этом мое страшное преимущество... Понимаете ли, дорогой, хороший, мой бедный, мой несчастный брат по человечеству? Великих уже нет, у них уже нет сознания, что их нет. А я еще живу и все время сознаю, что настанет миг, страшный, неиз'яснимо страшный миг, когда я почувствую, что меня нет... И миллионы, и миллиарды лет пройдут, но меня больше уже не будет, и все время я буду носить в беспредельной пустыне небытия это ощущение, что меня... нет.

Ее речь становилась все безумнее:

— Нет... нет... Постойте, это только я теперь так говорю, говорю человеческими словами, что меня тогда не будет... А тогда ведь некому будет даже сказать по-человечески: я, Раиса Петровна, не существую... Вы понимаете... Вот я умираю, умираю, может быть, только сто лет спустя, может быть, даже не от болезни, а от старости, потому что изжила всю жизнь,

потому что нечем жить стало, ну вот как лампа без масла... Но этот миг, этот миг, когда все вокруг меня загремит еще неслыханными мною громами, заревет еще неизвестным моему слуху ураганом: *Я* умираю... *Ты* умерла... *Оно* не существует больше... Нет, опять постойте, я путаюсь... О, ужас, нестерпимый ужас... Что делать? Как забыть хоть на одну минуту, что смерть наступит и для меня?..

Во время этого безумного монолога рослая, грузная девушка упала со своего кресла на колени передо мной, на ручку моего кресла и говорила, все время говорила, то тихо всхлипывая, то громко рыдая, припав лицом к жесткому дереву, не поднимая головы. И я видел, как от этого судорожного плача тяжелые русые волосы тряслись на ее молодой, крепкой шее.

Так прошло десять, пятнадцать, может быть, двадцать минут, которые показались мне часами долгой пытки. Я тщетно перебирал в уме, что мог бы сказать в утешение бедному существу, бившемуся от рыданий возле меня, и все, что ни придумывал, казалось мне таким смешным в данный момент: успокоить плачущую тою мыслию, что благодетельная природа распорядилась, мол, так хорошо, что никому из нас не придется быть на собственных похоронах? прочитать ей соответствующие строки из Лукреция, где поэт величаво-спокойно вскрывает всю нелепость страха смерти? утешить ее надеждой на бессмертие души, которое и ей, и мне казалось таким невероятным?..

Пока я терялся в разных соображениях, не зная, как остановить этот поток и слов, и слез, Раиса Петровна выплакалась. Ее рыдания становились тише и тише. Она тихо, видимо стыдясь, отвела голову от ручки кресла, приподнялась и, завесив лицо измоченным платком, попросила позволения пройти в ванную, и долго я еще слышал, как она плескала водой из чашки туалетного столика. Через четверть часа она вернулась ко мне в кабинет и принялась горячо извиняться за беспокойство, причиненное мне, уверяя, что на нее нашло глупое настроение, но что она рада была найти человека, которому могла раскрыть свою душу, не подвергаясь опасности быть осмеянной.

— Смотрите же, никому не говорите о том, что было со мной!.. По крайней мере, если уж вас интересует моя история и будете ее рассказывать, то не называйте моей фамилии. А теперь я еду в школу.

— Для чего?

— Продолжать работу над препаратом.

— А после?

— В Версаль на прогулку с знакомыми.

— А труп свой с собой прихватите? — спросил невольно я и тут же спохватился, боясь, как бы это снова не вызвало в моей собеседнице обострения навязчивой идеи.

— Он меня не покидает, но по большей части он спокойный мертвец и дает мне возможность жить, за исключением раза или двух в месяц, когда он часами стоит неотвязно передо мной.

Под свежим впечатлением этого трагикомического разговора, я через какой-нибудь час спустя сидел у Петра Лавровича и рассказывал ему про любопытную психологию моей знакомой, разумеется, не называя ее имени, просто как интересный патологический случай, потому что меня всегда привлекала беседа с Лавровым не только об отвлеченных, но и жизненных вопросах.

— Гм... патологический случай, говорите вы, Н. С., — откликнулся Лавров, внимательно выслушав мой рассказ, — уже не такой патологический, как вы думаете... Да, патологический с точки зрения здорового человека, живущего в здоровом обществе, или поставившего своим идеалом достижение такого здорового общества, и совсем не патологический, если взять обыкновенного, среднего человека, живущего исключительно личною жизнью, как живет, повидимому, ваша знакомая, и вместе с тем потерявшего веру в индивидуальное бессмертие.

— Но, позвольте, Петр Лаврович, ведь все-таки людей с такой психологией, как моя барышня, здоровая на вид, но больная душой, не часто встречаешь.

— А я вам скажу, Н. С., что тут дело лишь в степенях. Сам по себе страх смерти чрезвычайно распространенное явление среди человечества. Ведь этот страх — один из видных элементов возникновения религии. Отнимите его у людей, и несомненно, то, что мы называем религией, было бы гораздо менее распространено и приняло бы иные формы... Религия — это лекарство, далеко не всегда действующее, но все же лекарство против страха уничтожения нашей души, нашего «я», т.-е. самосознания, к которому мы так привыкли и которое все время таскаем с собой и боимся, как бы его не потерять, ну вот, как ваша девица таскает за собой свой труп...

— Значит, религия — морфий, Петр Лаврович?

— Морфий, Н. С.

— Вы этого морфия не принимаете, Петр Лаврович?

— Не принимаю, Н. С.

— А как вы лично относитесь к смерти?—спросил я Петра Лавровича и слегка почувствовал нескромность этого чересчур интимного вопроса.

Нос Петра Лавровича курьезно задергался обычным жестом и ушел в пушистую бороду.

— Да как же относиться к ней, Н. С.? Смерти не минешь... Я не только детерминист в области мысли, я фаталист в области чувствований... Это у меня осталось от юности, когда я еще деистом был.

— Должен я понять ваши слова, Петр Лаврович, так, что смерть неприятная вещь?

— Да что ж в ней приятного?

— Простите, Петр Лаврович, но вы знаете, как я люблю вас и как интересуюсь вами... Так вот: у вас, человека здорового, человека нормального в квадрате, есть страх смерти?

— Собственно, страха нет.

— А что?

— Неприятность непредставимости.

— Я не совсем понимаю, Петр Лаврович.

Лавров сделал другой обычный жест, подняв и опустив правую руку и снова подняв и опустив. Так делал он всегда, когда принимался об'яснять что-нибудь: этим жестом он сопровождал об'яснение. А, прирожденный профессор или пророк, он очень любил об'яснять, и чем дальше, тем об'яснял все с большим жаром и убедительностью.

— Я, знаете ли, Н. С., редко думаю о смерти...

Я не удержался и перебил его:

— Это вам так к лицу... «Свободный человек живет не для смерти, а для жизни». Не так ли? — процитировал я одного из любимых философов Лаврова.

Он ласково улыбнулся.

— Кстати, как это место у Спинозы по латыни?

Я сказал и извинился, что отвел его в сторону.

— Да, повторяю, я редко думаю о смерти. Но когда приходится почему-либо подумать, то сейчас же испытываю сильное неудовольствие и приказываю себе больше не думать об этом.

— И удается?

— Всегда удается... Мало ли о чем более интересном есть думать... Я не люблю неясных, непредставимых вещей. А тут можно ли преставить себе свое несуществование? И, конечно, испытываешь чувство логического раздражения... Правда, есть масса других непредставимых понятий, как есть необходимые противоречия разума, ну вот хотя бы те «антиномии», которые вскрыл Кант. Помните: мир и неограничен во времени и в пространстве, и ограничен; в мире, кроме причинности, и есть свобода, и нет ее, и т. д... Но в психологическом смысле это не так нелепо, непредставимо, как мысль о том, что сознание, сопровождающее тебя с перерывами всю жизнь, оставит тебя навсегда, так что даже самый термин «ты», «я» теряет свой смысл. Будь мы так же кровно заинтересованы в этих антиномиях, как в личном существовании, и мысль об этих неразрешимых противоречиях была бы так же неприятна для нас, как и мысль о смерти... Надо как можно меньше думать о смерти и связать себя с каким-нибудь неумирающим целым, с каким-нибудь общественным идеалом, и неустанно работать для него. Это лучшая моральная гигиена для критически мыслящего человека, — вот к какому заключению пришел я.

— В общем вы все же скорее пессимист, чем оптимист, Петр Лаврович? — продолжал я затянувшийся, но чрезвычайно интересовавший меня разговор.

— Нет, по натуре я скорее оптимист. Но порою, когда задумываешься над тем, как узки пределы человеческого наслаждения и как чуть ли не безгранична возможность страдания, становишься теоретически почти пессимистом. Вообще же я думаю, что преобладающее настроение в личности в очень большой степени зависит от общественного строя и в частности от того, в каком периоде — прогресса или регресса — находится в данный момент, по ощущению мыслящих членов общежития, человечество... Посмотрите, каким торжествующим оптимизмом пропитано сознание европейской интеллигенции во вторую половину XVIII в., накануне великой французской революции... Возьмите такого типичного представителя этой интеллигенции как Дидро, который весь искрится жизнерадостностью. Возьмите Вольтера, несмотря на его насмешки над Лейбницевским оптимизмом «все к лучшему в сем наилучшем из возможных миров», да и вообще энциклопедистов.

— А Руссо, Петр Лаврович?

— Ну, у этого был болезненный, чисто физиологический пессимизм. Да и то у него была область, где он любил все сплошь окрашивать в розовый цвет: это жизнь созданного его воображением счастливого дикаря, который не знал ни наук, ни искусств, ни даже частной собственности... А потом посмотрите, каким внутренним счастьем в своих романах он награждает добродетельных, чувствительных героев, живущих жизнью сердца... Кроме того, в пессимизме Руссо ищет инстинктивно своего отражения — жизнь широких общественных слоев, жизнь еще закрепощенных или полузакрепощенных масс, у которых радости существования были не особенно-то велики, и ни меценатов-откупщиков, ни принцесс-покровительниц, ни «королей-философов» не было... Тут ведь приходится считаться и с сословным или классовым делением общества. Для интеллигенции, принадлежавшей к поднимавшемуся все выше на горизонт общественной жизни третьему сословию или тяготевшей к ней интеллигенции привилегированных классов, жизнь представлялась во второй половине XVIII в. несомненно с ее положительной стороны. Эта-то часть общества и отразила свое оптимистическое настроение в тогдашней космополитической литературе века просвещения.

— А теперь, Петр Лаврович?

— Ну, теперь у нас чересчур разорванное на части общество и чересчур боевое время, чтобы именно интеллигенции можно было заразиться сплошным оптимизмом. Но все же и в нашу эпоху есть один элемент, который должен настраивать нас на оптимистический лад. Это ощущение неизбежной победы социализма, как строя, где сумма общего человеческого счастья увеличится в громадной степени.

У Лаврова, несомненно, был в натуре оптимизм стоика. И по-стоически же он рассматривал вопрос жизни и смерти. Как-то у нас зашла речь о самоубийстве. Петр Лаврович, который ставил во главу угла разумного существования наслаждение развитием и подчеркивал положительную ценность человеческой жизни, был чужд однако банального осуждения добровольного ухода через дверь смерти. Он совершенно определенно высказывал то мнение, что человек может быть поставлен в такие тяжелые обстоятельства, когда наиболее достойным решением будет для него сознательно совершенное самоубийство. Я вспомнил после об этом взгляде Лаврова много лет спустя, когда мои приятели Лафарги покончили с собой.

Надо сказать, что во время моего разговора с Петром Лавровичем о самоубийстве я знал об одном обстоятельстве его личной жизни, о котором он сам мне не счел нужным рассказать, тем более, что оно относилось к тому времени, когда наши отношения были довольно холодные. Но в эту эпоху со мной дружил близкий к Петру Лавровичу человек, который под честным словом и посвятил меня в эту сумрачную, но величавую тайну Лаврова.

Дело было в середине 80-х гг., когда вследствие реакции в России возможность работы для Лаврова в легальных изданиях исчезла, а те из его состоятельных друзей, которые могли бы дать ему подходящую работу, праздновали такую трусу, что временно прекратили с ним всякие сношения и не отзывались на его письма. Лавров страшно нуждался, страшно экономил, но со свойственной ему рассудительностью рассчитал, что все же остававшихся у него крох хватит разве на какой-нибудь месяц-два. Тогда он решил умереть, приняв дозу сильно действующего яда, но умереть, оставив письмо с подробным изложением причин своего самоубийства.

В этом письме, после тщательно им уничтоженном, он со спокойствием стоика рассказывал, что обстоятельства сложились для него таким образом, что через очень короткий срок ему в буквальном смысле не на что будет жить. Он мог бы еще попробовать питаться на гроши хлебом и водой без сахара вместо чая. Но у него не хватит денег, чтоб заплатить за квартиру, а остаться должным хозяину дома он не мог допустить, как не мог допустить обратиться к кому-нибудь за помощью и вообще сознавать, что он кому-то в тягость и принужден жить паразитом.

Строго, величаво, может-быть с оттенком некоторой спокойной горечи, он подводил итоги своей жизни, говорил, чему и как он верою и правдою служил, и считал возможным констатировать, что, очевидно, деятельность таких людей, как он, не нужна современной России. Он заканчивал верой в неизбежное и всемирное торжество идеалов социализма и свободы и высказывал уверенность, что рано или поздно его гряду-

щие единомышленники отдадут ему справедливость, но пока что он считает нужным добровольно уйти от жизни. Он оставлял небольшую сумму денег, которой было бы достаточно, чтобы похоронить его в общей могиле.

По обыкновению точный и аккуратный, Лавров назначил себе срок, до которого мог еще ждать, и сохранял письмо недель шесть, хладнокровно отсчитывая каждый вечер, сколько дней ему еще осталось жить. По счастью, легальные друзья его устыдились, наконец, своего молчания, вспомнили о Лаврове, списались с ним и нашли ему работу.

Хотелось бы мне в связи с отношением Лаврова к жизни и смерти коснуться здесь вопроса, оставленного в тени мною в моих биографиях Лаврова, а именно его взгляда на религию.

Петр Лаврович был, можно сказать, убежденным врагом религии. Конечно, его большому проницательному уму была чужда всякая мысль о возможности уничтожить религию насильственно. И его свободомыслию глубоко претила самомалейшая попытка такого практического приема бороться с ней. Но он считал религию вообще патологическим явлением в жизни человечества и отдельной личности, хотя и признавал ее печальную необходимость, особенно в первую пору развития человечества, и даже некоторые ее отрицательные заслуги в известные моменты человеческой истории. Отрицательные в том смысле, что на трудном пути прогресса она была суррогатом нормального удовлетворения некоторых человеческих потребностей и что, не будь этого суррогата, было бы, пожалуй, много хуже.

В частности, когда Лавров характеризовал период выработки примата в человека, он любил говорить, что огромная вспышка чувственности, выросшей на этой ступени из стремления усложнявшейся нервной системы к наслаждению, неминуемо помешала бы человеку выйти окончательно из мира его зоологических родичей, если бы в религии человек не нашел своеобразного ощущения экстаза, которое заменило ему в значительной степени половой экстаз.

— Пожалуй, без опьянения религиозным аффектом,— говорил как-то раз Лавров, — человек в этот момент пошел бы назад, да что: прямо выродился бы, как вырождается в течение всей своей жизни орангутанг, лишь только достигает половой зрелости и начинает вследствие злоупотребления самкой терять свои намечавшиеся человеческие черты. Уже одни сильно развивающиеся надбровные дуги, изменяющие его получеловеческую маску снова в звериную, являются наглядным признаком этого регресса... Религия отвела в известной степени человека от чувственности, подставив ему вместо более грубого экстаза более тонкий, но несомненно родственный. Выживали расы более религиозные и потому не так исключительно тратившие свою нервную энергию на половой экстаз...

— Вы считаете религиозный экстаз близким к половому, Петр Лаврович?

— Приходится считать, Николай Сергеевич: наблюдения и над жизнью дикарей, да и над жизнью культурного человека делают эту гипотезу очень вероятной... Тут индуктивный метод, как любит выражаться Спенсер, подает руку дедуктивному. Громадная трата нервной энергии, сопровождающая и личный религиозный акт, и коллективные религиозные торжества диких народов, несомненно понижает половую возбудимость человека... Мне кажется, что религиозный тип и половой тип среди людей если не родные, то двоюродные братья... Обратили вы внимание, как часто люди, отличающиеся чувственностью, превращаются в аскетов?

— Это как во французской поговорке: когда дьявол стареет, он идет в монахи...

— Тут дело не только в старости. Человек и в полной силе может испытать такое превращение.

— Мария Магдалина?

— Что Мария Магдалина? Это религиозный миф!.. Возьмите совсем историческую личность блаж. Августина: сам о себе рассказал и о своих душевных превращениях. Тут прямо почти эквивалентность, замена одного вида энергии другим, знаете, вот как движение переходит в теплоту и обратно.

Кстати, еще по поводу отношения Лаврова к религии. Одна из старых знакомых Петра Лавровича обратила как-то мое внимание на то, что он никогда не произносит обычных восклицаний «боже мой», «ах, господи» и раздражается, когда в его присутствии и другие люди злоупотребляют этими восклицаниями.

Однажды Петру Лавровичу пришлось разговаривать с одним экспансивным русским из либеральных помещиков, который обильно уснащал свою речь такими возгласами:

— Мчимся мы, знаете, Петр Лаврович, изо всей мочи по лесу на станцию, да как наскочим на кочку... Кучер недосмотрел... Хлоп — ось пополам... Ах, боже ты мой! А тут надо спешить на поезд... Ну, кое-как подвязали сук, прикрепили, помчались... Не успели и двух верст проехать, да на выезде из лесу бац в овраг. Колесо сломалось... Господи, боже мой! Что тут делать, создатель!.. Хорошо, что запасное колесо было... Пустились опять в путь... А тут как грянет гром, как польет дождь... Глядим, а у самой станции реченка вздулась и мостик снесла. Как тут быть, бог ты мой...

Петр Лаврович, которого видимо давно коробила эта манера речи, наконец, не выдержал и, несмотря на свою всегдашнюю вежливость, вдруг прервал рассказчика:

— Да при чем же тут бог? Я вижу кочку, ров, дождь, снесенный мост, но не вижу бога.

И угрюмо замолчал.

Присутствующие расхохотались. Рассказчик опешил и прекратил повествование, так и не доехав до станции.

Другой раз я как-то сидел у Петра Лавровича и мирно разговаривал за чаем. В пылу беседы он схватился за только-что потушенную спиртовую лампочку и сильно обжегся.

— Чорт... чорт... как больно! — воскликнул он, дуя на свою полную, красивую руку.

Я выразил ему искреннее соболезнование, зная, как были чувствительны руки Лаврова, ведавшие только перо, но не мог удержаться, чтоб не спросить Петра Лавровича, как это ему удается подавлять даже в момент боли традиционные возгласы с упоминанием бога.

— Заставил себя, Н. С. Прежде, когда верил в бога, не обращал внимания, а когда покончил с мифами, решил отучиться... Имя бога я произношу только тогда, когда это строго необходимо в разговоре или письме для обозначения этого легендарного существа.

— Простите, Петр Лаврович, но чорта вы упоминаете, а меж тем вы, конечно, столь же мало верите в существование и злого духа.

Лавров улыбнулся.

— А это уж непоследовательность, Н. С. Есть такие эмоции у человека, которые связаны у нас с произнесением известных слов, идущих еще от времен, когда преобладала некритическая мысль. От одного из этих слов я отделался, а от другого пробовал, но не мог: очевидно, была инстинктивная потребность сохранить термин для выражения неудовольствия... Собственно, нужно было бы и от «чорта» отказаться, но как-то не удалось.

— А вы придаете такое значение этим ставшим бессознательными возгласам?

— Придаю, потому что мы должны стараться искоренять у себя и то бессознательное, что осталось от прежних времен. Это — вредные переживания, которые несомненно должны отражаться и на нашей сознательной душевной жизни... Нет, знаете ли, религия это положительно вредная вещь теперь, когда человечество, в лице лучших своих представителей, доработалось до трезвого взгляда на мир, на общество. Она отвлекает нас от правильного решения реальных земных задач. Она окружает нас метафизическими туманами... Пусть человечество знает, что оно было до сих пор бедно настоящим счастьем, пусть оно сознает эту свою нищету, но пусть не утешается мифическим блаженством. Теперь мы можем быть и должны быть взрослыми людьми, а не детьми, и перестать играть цветными стеклышками. Увлечение религией и вообще метафизикой — явление патологическое. Это признак общественной реакции.

Лавров с грустью, порою с негодованием, следил за проявлениями этой реакции, которая, по его мнению, стала все явственнее обозначаться среди культурных слоев Западной Европы с половины 80-х гг. Сначала он считал однако, что русская интеллигенция убережется от этой заразы, и что исклю-

чения, вроде Владимира Соловьева, подтверждают лишь общее правило: реализм мышления лучших русских людей. Как, несколько лет спустя, он был смущен и огорчен, когда получил из России первый номер начавшего выходить в 1893 г. журнала «Вопросы философии и психологии» и чуть ли даже не приглашение, обращенное к нему редакцией, участвовать в издании!

— Кто бы мог подумать еще так недавно, что у нас в России будут заниматься такой метафизикой!.. Участвовать в этом органе можно разве только одним путем, а именно на его же страницах жестоко нападать на ненаучность его направления. И, может быть, я попробую послать этим господам такую статью...

Не помню, выполнил ли он свой план, но статью Лаврова резко критического содержания, направленную против «Вопросов», я читал в черновике.

Хотелось бы мне коснуться еще одной особенности умственного облика Лаврова, особенно в виду того, что эта черта, как кажется, сильно занимает людей, являющихся в большей или меньшей степени его учениками или просто внимательно изучающих его. Я делаю это в виде вопроса: как могло случиться, что такой последовательный мыслитель, как Лавров, не чувствовал противоречия между общим, несомненно интеллектуальным и нравственным, скажем вообще, идейным характером своего мировоззрения и ролью, которую играет в нем марксистское об'яснение социологии и истории?

Для меня это до сих пор остается наполовину загадкой. Сколько раз и я, и другие товарищи обращались к нему за разрешением этого недоумения. Сколько раз Марья Николаевна со свойственной ей настойчивостью «молила властительно» Петра Лавровича раз'яснить без остатка это противоречие. Лавров всегда обещал нам посвятить свою следующую работу, — статью, книгу, лекцию, — выяснению этой, по его мнению, лишь кажущейся непоследовательности в его общих взглядах...

Но увы, все его попытки в этом направлении не могли удовлетворить нас. Каждый раз в его об'яснениях оставался неразложимый осадок в виде марксизма, вкраплявшегося в его мировоззрение наподобие постороннего тела, но не соединявшегося органически с ним. Может быть, всего более он приложил стараний растворить так называемое материалистическое об'яснение истории в своем общем миросозерцании на страницах сочинения, выпущенного им в последние годы жизни под псевдонимом С. С. Арнольди — «Задачи понимания истории».

(Я вынужден сделать здесь довольно большое отступление об обстоятельствах, при которых печаталась последняя большая работа Петра Лавровича, вышедшая лишь после его смерти под псевдонимом А. Доленги. В сборнике статей «П. Л. Лавров» (издание «Колос», Петербург, 1922 г.), А. Гизетти, с боль-

шой тщательностью и любовью изучающий Лаврова, как историка мысли, делает по поводу этой книги такое замечание: «Важнейшие моменты истории мысли», изданные посмертно, повидимому совершенно механически были пропущены через руки редакторов — друзей Лаврова. Кого же именно? Даже оглавление не вполне соответствует рубрикам текста. Это издание — поистине медвежья услуга памяти Лаврова. И псевдоним почему-то взят опять новый».

Редактором был я. На меня, казалось бы, падает вся тяжесть упреков А. Гизетти. Но надо знать, при каких условиях книга выходила в свет. Смерть застала Петра Лавровича над изготовлением очень большой работы, посвященной его любимой теме, — истории мысли. На этот раз он хотел особенно подробно проследить процесс обособления критической, научной мысли от религиозной, некритической. Не имея книги под рукою, не могу теперь припомнить подробностей грандиозной исторической перспективы, которую Петр Лаврович хотел поставить на этом пути перед глазами читателя. Во всяком случае Лавров видел в этой работе как бы завершение своих работ в этой области.

Первые дни своей тяжелой болезни, когда сознание еще возвращалось временами к нему, он постоянно выражал опасения и сожаления, что не доведет труда до конца. После его смерти все мы, друзья и единомышленники Лаврова, были заняты мыслью, как бы передать в лучшем виде современникам и потомству результаты его последней работы. Особенно деятельную заботливость в этом отношении проявляла дочь покойного, Марья Петровна Негрескул, которая обычно и переписывала очень неразборчивые рукописи своего отца.

По желанию большинства идейных друзей Петра Лавровича, поддержанному желанием Марьи Петровны и личного друга покойного, Максима Максимовича Ковалевского, издававшего на свои средства последнюю работу Лаврова (как он издал и его работу «Основные задачи истории»), труд пересмотра и подготовления к печати рукописи был возложен на меня. Значительная часть манускрипта была уже переписана М. П. Негрескул. Но немало последних глав сохранилось лишь в рукописи Петра Лавровича, притом далеко не в окончательной форме. Кроме того, к рукописи был приложен тоже не окончательно выработанный план-содержание, или, если хотите, оглавление всей книги. Некоторые из отделов его не совпадали с названиями параграфов в самом тексте рукописи. Очевидно, автор хотел подвергнуть пересмотру оглавление и привести его в гармонию с содержанием, но не успел этого сделать.

Я предлагал дописать на основании плана и в духе автора ненаписанные главы. Марья Петровна и под'ехавший к тому времени в Париж М. М. Ковалевский настояли однако на том, чтобы не делать никаких редакционных изменений и никаких добавлений, кроме исправления очевидных ошибок: этого тре-

бовало, по их мнению, глубокое почтение к памяти покойного. Ковалевский добавил, что по имеющимся у него сведениям, главное управление по делам печати будет очень строго следить за тем, чтобы в России отныне не было издано никакого сочинения Лаврова ни под каким псевдонимом. Поэтому оставшуюся работу ни в коем случае нельзя выпускать под известным уже правительству псевдонимом Арнольди. И Ковалевский предложил псевдоним Доленги, по имени одного из умерших родственников. Не помню уже, по каким соображениям Максим Максимович настаивал и на неудачном названии «Важнейшие моменты в истории мысли», — неудачном потому, что оно не передавало, как мне казалось, содержания книги.

Печатание книги происходило тоже при очень неблагоприятных обстоятельствах. Корректуру держал я. Но ради конспирации, русский издатель пересылал из России корректуру с соответствующей частью рукописи Ковалевскому, который уже направлял их мне. За частыми переездами Максима Максимовича с места на место пересылка эта делалась крайне неправильно. Порою я получал корректуру без рукописи, порою рукопись без корректуры. Во второй корректуре я сплошь и рядом находил повторение исправленных мною в первой корректуре ошибок. Между тем, все время меня торопили с окончанием работы. Так, между прочим, могло получиться несоответствие общего оглавления с рубриками текста. Пишу это не для своего оправдания, а для указания на ненормальные условия печатания книги. Заканчиваю это об'яснение и возвращаюсь к сути дела).

Внимательный читатель не может быть удовлетворен попыткой Петра Лавровича внести цельность в свое мировоззрение и на страницах «Задач понимания истории». В самом лучшем случае марксизм является здесь искусной вставкой в плотную ткань общего миросозерцания Лаврова. И остается в силе вопрос: как это возможно для такого последовательного ума, каким был пламенный проповедник критической мысли? Много раз я продумывал этот вопрос и окончательно могу предложить лишь такое об'яснение, какое означает целую трагедию для огромной души Лаврова.

В то время, как его основное мировоззрение, — назовем его идейно-этическим, — было для него научным убеждением, его социализм был для него религиозным верованием. И в социализм, как действенную современную силу, Лавров уверовал поздно, лишь в западной Европе и (может быть, в силу простой случайности) в его марксистской форме.

Лавров «Исторических писем» был гуманистом, был демократом, был, если хотите, революционером, и революционером с социальной прожилкой. Но он не был в этом труде, собственно говоря, социалистом. Социалистические выводы из его замечательной книги-проповеди сделали мы, передовая русская интеллигенция 70-х гг., потому что вся история толкала нас в ту пору

на путь социализма, народнического социализма, сознающего, мало того, чувствующего противоположность интересов между богатыми и бедными, эксплуататорами и эксплуатируемыми, и в этом смысле социализма классового [1]).

Сам автор, пока был в России, не сделал этих социалистических выводов: для него противоположность была не столько между богатыми и бедными материально, сколько между богатыми и бедными духовно, а именно между идейными, инициативными личностями и косными «пасынками истории», которые своею зоологичностью, своею бессознательностью, слабостью своей критической мысли поддерживали их же угнетающих эксплуататоров. Оттого-то Лавров «Исторических писем» был, по его собственному признанию, «гармонистом». Оттого-то он еще мог верить в то, что силою убеждения, оружием критической мысли можно заставить эксплуататоров, входящих в привилегированное меньшинство, перейти в другое меньшинство, меньшинство критических личностей, наслаждающихся своим нравственным развитием, и под влиянием этого стимула отказаться от эксплуатации, чтобы создать справедливый социальный строй уже в интересах большинства.

В известном смысле Лавров «Исторических писем» стоял на точке зрения Сократа: люди только не понимают, в чем добро и в чем зло, а поймут — и неизбежно станут творить доброе. И основным делением общества, которое предполагает книга Лаврова, было деление по степени сознательности членов общежития. Все общежитие распадается для Лаврова не столько на эксплуататоров и эксплуатируемых, сколько на сторонников застывшей культуры и на борцов за вечно живую цивилизацию. Интеллигентный эксплуататор только по недоразумению эксплуататор: его место в рядах критически мыслящих личностей и, стало быть, друзей народа.

Собственно социалистом Лавров стал лишь за границей, в начале 70-х гг., в тот период, когда Первый Интернационал казался и друзьям, и врагам великой исторической силой. А преобладающим мировоззрением этого интернационала был социализм, как учение, исходящее из факта борьбы классов. При чем этот факт признавался не одним Марксом, как склонны утверждать марксисты, но целым рядом его предшественников и современников, особенно французских социалистов: школой Сэн-Симона, Луи Бланом, даже Прудоном. Маркс лишь наложил отпечаток своей могучей индивидуальности на программу Интернационала, подчеркнув значение экономических отноше-

---

[1]) Читатель должен помнить, что Н. Русанов говорит здесь на деле не о социализме пролетария, а о социализме мелкого товаропроизводителя, гибнущего под колесами развивающегося капитализма.

ний [1]). Заметим кстати, что в этой же программе звучали идеалистические ноты, говорившие и о значении нравственности и справедливости. И сам Маркс признается, что, как отрицательно он сам ни относился к этим мнимым вечным истинам, он принужден был считаться с таким настроением различных партий и организаций, входивших в международное общество рабочих, и это отразилось опять-таки на самой программе.

Лавров, считавший своим долгом примыкать всегда к наиболее прогрессивному, по его мнению, движению эпохи, присоединился, таким образом, к социализму в той его наиболее распространенной тогда разновидности, которая видела в классовых противоречиях красную нить человеческой истории. А, раз став на эту позицию, Лавров — по закону психологической реакции? — выбрал между сторонниками этого социализма наиболее яркое, наиболее непримиримое течение, все проникнутое догмой социальной борьбы и наиболее далеко отстоящее от его прежнего гармонизма: то было мировоззрение Маркса и его ближайших учеников. И в этой эволюции несомненно сыграло свою роль и личное знакомство с Марксом, состоявшееся в апреле месяце 1871 г. в Лондоне, куда Петр Лаврович приехал просить помощи у Интернационала для осаждаемой версальцами парижской коммуны. Это знакомство было подкреплено личными сношениями Лаврова при его втором пребывании в Лондоне в 1874—77 гг.

Присоединение Петра Лавровича к марксизму было как ни как скорее актом веры, чем процессом вполне критической переработки прежнего мировоззрения. Он уверовал в марксизм потому, что это учение казалось ему тогда наиболее подходящим оружием в теоретической и практической борьбе против капитализма и классового государства. Но вряд ли он выводил его чисто логически из своего общего мировоззрения.

Меня всегда поражало в Лаврове с его открытым и свободным умом состояние какой-то настороженности, почти боязливости, которая замечалась в нем всякий раз, когда я высказывал свои возражения против марксизма, как всеобъемлющего мировоззрения, и жадно ждал его раз'яснений. То было, несомненно, проявление скорее религиозной, чем критической мысли, между тем как вне этого вопроса Лавров поражал отсутствием каких бы то ни было предрассудков и предвзятостей. Это напоминало, если хотите, психологию Канта, который от беспощадного анализа, разрушающего метафизику в его «Критике чистого разума», переходил к успокаивающей вере в различные метафизические сущности,

---

[1]) Ни сам Маркс, ни его ученики никогда не утверждали, что он открыл факт классовой борьбы в истории. Оригинальным, своим Маркс считал лишь утверждение, что классовая борьба пролетариата должна завершиться провозглашением его диктатуры для построения социализма.

в роде бога, бессмертия души, вечной нравственности, в «Критике практического разума».

Но у нас было столько интересных вопросов, и научных, и жизненных, которые мы не переставали обсуждать с Лавровым в течение почти пятнадцатилетнего дружеского общения, что несовпадение наших взглядов в этом единственном пункте не препятствовало нашей большой идейной близости. Вот пока, что я считал нужным добавить к моим прежним характеристикам Лаврова.

VI

Мои хлебные занятия во Франции.—Издательство Гашетта. — Политическая история большой книжной фирмы.—Снова и окончательно Тихомиров: кем и чем перестал он быть.

Было одно обстоятельство, которое в течение долгих лет моего пребывания в Париже, может быть, в известном отношении и углубляло, но вообще очень суживало работу моей мысли, а главное отнимало у меня массу времени. То были занятия в одном из крупнейших парижских издательств, занятия, бравшие у меня с перерывами 7 часов днем и часа 2 — 3 вечером. Сердце у меня не особенно лежало к этой работе. Но то была необходимая, как у громадного большинства человечества, хлебная работа: приходилось кормить самого себя и увеличивающуюся семью. И, хочешь не хочешь, я должен был тратить умственную энергию на свое ремесло. Это, действительно, было ремесло.

Знаменитой фирмой Гашетта издавался в течение двадцати пяти лет огромный «Новый словарь всеобщей географии», «первый в мире по количеству и добросовестности сведений», как аттестовал его в свое время известный австронемецкий географ Зупан. В этом-то словаре я был сначала скромным корректором, затем сотрудником по России, а после по целому ряду стран, и, наконец, секретарем редакции, зачастую, особенно в летние месяцы, заменявшим главного редактора, Луи Русслэ, который с половины восьмидесятых годов совсем заменил зело одряхлевшего и ничего не делавшего, но фигурировавшего еще на обложке уже известного читателю Вивьена де Сэн-Мартэна.

Меня рекомендовал Русслэ в конце 84 г. один из моих тогдашних хороших знакомых, Д. А. А—тов, участник процесса 193, эмигрировавший уже несколько лет за границу, «богочеловек» по убеждению и очень хороший человек по натуре. Позже я опишу, как постепенно менялись мои функции в издании, где я работал, и как шестерня затяжного труда

втягивала меня все более и более в свои стальные зубья. Познакомлю прежде всего читателя с характером фирмы Гашетта в конце прошлого века, когда, в связи со сменой политических режимов во Франции, она уже проделала ряд эволюций, наглядно выражавшихся в различной психологии сменявших друг друга поколений хозяев.

Она была основана в Париже еще во время реставрации некиим Луи Кристофом Гашеттом, который принадлежал к либеральной буржуазии и с ружьем в руках стоял в июльские дни 1830 г. на баррикадах в рядах революционеров, низвергнувших Карла X. Бок-о-бок с ним сражались рабочие, вольнолюбивые студенты, свободомыслящие литераторы и ученые. Из последних сформировался первый штаб авторов, приятелей хозяина фирмы, сочинения которых, усердно печатавшиеся Луи Гашеттом, скоро упрочили за предприятием репутацию солидного и в меру либерального издательства.

Социальная революция 1848 г. не имела своих представителей в доме Гашетта, но от умеренного либерализма фирма не отказывалась. Поэтому, когда Вторая империя раздавила по крайней мере на десяток лет парламент и печать, буржуазное свободомыслие Жюля Симона и даже философский радикализм Тэна нашли приют во все разраставшемся доме на углу Сэн-Жермэнского бульвара и улицы Отфейль. И глава предприятия не боялся порою итти на риск, издавая неправившиеся правительству сочинения. Общая же политическая и литературная физиономия издательства приближалась с каждым годом к орлеанистскому правому центру.

Во главе предприятия, по смерти основателя в 1864 г., стал его сын, Жорж Гашетт, хозяйские приемы которого наглядно выражали изменение нравов буржуазии. Если отец, как и подобало воинствующему мещанству, не был лишен известного идейного размаха и печатал, несмотря на некоторую опасность для кармана, умеренно оппозиционные вещи, то сын, как тоже полагается мещанству уже торжествующему или идущему к торжеству, заменял размах скаредностью и умеренную игру в либерализм изданием трудов сугубо безразличного содержания.

Отец был человеком июльской баррикады, сын был человеком резиновых подметок. В об'яснение этого термина я должен сказать, что это название было придумано служащими предприятия, новый глава которого приделал к обуви, носимой им в издательстве, резиновые подошвы, чтобы незаметно подходить к дверям различных бюро в пятиэтажном доме и, сразу появляясь то в том, то в другом отделении, иметь возможнсть контролировать, усердно ли работают служащие и не бьют ли они баклуши в те часы, которые должны целиком отдавать хозяину. С ужасом чертежники в географическом отделении рассказывали целыми годами, как однажды почтенный» мосье Жорж», подойдя на своих неслышных санда-

лиях к столу одного из картографов и найдя его заснувшим над какой-то газетой, не стал нарочно его будить, но оставил ему на листе бумаги жесточайшую распеканцию с угрозой немедленно «выставить его за дверь», если еще раз повторится это «воровство времени у фирмы».

Конечно, такою скаредностью и куриным полетом предпринимательского духа можно было погубить издательство, у которого вырастали все новые и все более опасные конкуренты. По счастию, дом спасли «зятья» основателя, люди переходного времени, которые не были еще лишены качеств прежнего героического периода и вместе с тем приспособлялись к требованиям новой эры. К числу их принадлежал Эмиль Тамплие, у которого достало делеческого мужества, чтобы в самый разгар реакции, последовавшей за разгромом коммуны, отправиться к Элизэ Реклю, находившемуся на военных понтонах в ожидании ссылки, замененной Тьером по ходатайству ученых Европы изгнанием за пределы Франции, и предложить ему написать большой труд по географии.

В результате получилась монументальная «Новая всеобщая география» из девятнадцати томов, которая писалась автором в течение девятнадцати лет с замечательною точностию — по тому в год — и подвела в высоко художественной форме научные итоги тогдашнего землеведения. Недаром за Элизэ Реклю установилась репутация «Страбона нашего времени».

Другим большим литературным предприятием Эмиля Тамплие был уже упомянутый мною географический словарь, который, вместе с географией Реклю и двумя-тремя роскошными изданиями по истории искусств, упрочил славу дома Гашетта, между тем как другие пайщики дома занимались изданием пошлейших филистерских романов для взрослых и нравоучительных рассказов для детей. В общем же дом передвигался по направлению от правого центра к левому центру и к тому времени, когда я нашел занятие в нем, был типичным литературным выражением политического духа «республики без республиканцев».

В некоторых областях замечался, впрочем, и более решительный уклон влево. Так, фирма Гашетта издавала «Педагогический словарь» Бюиссона и печатала педагогический еженедельник под названием «Руководство по народному образованию», редактором которого был тот же Бюиссон, правая рука Ферри и основатель республиканской, чисто светской школы.

На рубеже прошлого и настоящего веков, со смертью Эмиля Тамплие и Жоржа Гашетта, фирма претерпела новое изменение. Во главе дома появились, с одной стороны, чистые дельцы, которые гнались только за безыдейными, отчасти сенсационными изданиями, рассчитанными на вкусы большой публики, в роде иллюстрированных журналов «Я знаю все»,

«Журнала мод» и т. п., а, с другой — юные наследники, прожигатели жизни, которые гораздо больше носились по Франции на автомобилях, чем занимались издательским делом.

Изменялся понемногу с годами и характер моих занятий в «Словаре». В конце 84 г. один из главных корректоров этого издания спился с круга и умер, и секретарь редакции, швейцарец Анри Жакоттэ, искал по просьбе главного редактора, уже упомянутого Луи Русслэ, человека, который мог бы держать корректуру «Словаря» и вместе с тем помогать ему приводить поступавшие рукописи в окончательный вид. Главной функцией искомого лица было исправлять географические собственные имена и следить за правильностью библиографии, в особенности на иностранных языках.

В 80-х гг. знание этих языков было распространено даже между образованными французами очень мало. Я же к тому времени, кроме древних языков, уже недурно знал главнейшие европейские языки, понимал книги, написанные и на других языках, мог без больших ошибок писать по-французски и был достаточно подкован по политической экономии и статистике. Для Русслэ было приятным сюрпризом, когда скромный корректор исправил все неточности в географических именах и не оставил ни одной из обыкновенно столь часто встречавшихся ошибок в названиях иностранных книг. Это обстоятельство было некоторое время спустя, — я поступил в словарь с буквы К, — даже отмечено в известном немецком географическом журнале «Известия Петермана», выходившем в Готе. Там в рецензии на наш Словарь было сказано: «С удовольствием констатируем, что обширная библиография, которою заканчиваются все большие статьи в этом образцовом издании, совершенно безукоризненна в смысле передачи названий не только французских, но и иностранных книг и статей, что у французов является до сих пор редкостью».

И уже совсем дружеские ноты в обращении со мной зазвучали у нашего властного редактора, не стеснявшегося, как это принято в западной Европе, распекать своих сотрудников и подчиненных служащих, когда я по своей собственной инициативе переделал, на основании нового русского материала, слабенькую статью о Москве, представленную одним из давнишних сотрудников по русскому отделу, а в историю Мексики ввел, по крайней мере, как заслуживающую внимания гипотезу, точку зрения Льюиса, Моргана и Банделье на изрядно коммунистический характер первобытной цивилизации ацтеков.

Вскоре к моей функции корректора присоединилась функция помощника секретаря редакции. Затем, когда мой старший коллега Жакоттэ перешел в географический журнал «Вокруг света»», я занял его место в Словаре. И, наконец, в летние месяцы, которые мой «директор» Русслэ проводил у

себя в имении, среди виноградников Турэни, я становился фактическим редактором Словаря.

Скоро вышло так, что всю работу корректора, секретаря редакции и редактора я выполнял в бюро в течение 7 часов, с 9 часов утра до 6 часов вечера с перерывом между 12 — 2 часами дня для завтрака (я возвращался на это время домой), а большие статьи или значительные дополнения к чужим статьям я писал у себя вечером, на что тоже выходило часа 2 — 3 в день. Вознаграждение за все это я получал очень умеренное, хотя мои французские сослуживцы, не знавшие по большей части иностранных языков и потому оплачивавшиеся еще хуже моего, смотрели на меня с завистью, как на своего рода «аристократа труда».

Между тем, в течение чуть ли не десятка лет я получал, вместе с дополнительной работой на дому, триста-пятьсот франков в месяц, и лишь последние годы на рубеже двух столетий, когда я приобрел репутацию добросовестного работника в географических кругах Франции (я, как и все сотрудники Словаря, писал анонимно), мое вознаграждение дошло до шестисот франков. Но увы, почти целый день уходил теперь у меня на эту чисто хлебную работу, и оставалось очень мало времени для «души».

Я утешал себя лишь тем, что занятия научной географией, которая в доме Гашетта была представлена замечательным трудом Реклю и нашим Словарем, давали мне возможность познакомиться уже не как дилетанту, а как специалисту, с некоторыми отделами естественных наук, поскольку они касались землеведения, равно как со статистикой, антропологией и этнографией. Редакция нашего Словаря выписывала или получала даром массу изданий по этим предметам, и одной из наименее скучных моих функций был просмотр всех этих книг и журналов и перенесение соответствующего материала на карточки для разных букв Словаря.

Эта часть работы была очень запущена моим предшественником, французом, тогда как мой редактор сильно настаивал именно на таком освежении традиционного географического материала, который десятки лет трепался в разных специальных и общих энциклопедиях, переходил из одной в другую со всеми старыми ошибками и должен был бы осесть и в нашем словаре, если бы редакция не решила, отчасти под моим воздействием, обратить самое серьезное внимание на текущую литературу предмета и современные сведения из первых рук: отчеты о путешествиях, доклады ученых обществ, разработку различных спорных вопросов науки и т. п. Заметив мое умение справляться с этой задачей, мой редактор старался снять с меня бремя чисто корректурных занятий и толкал меня все больше и больше в сторону самостоятельного пополнения данных по первоисточникам. Таким образом, через несколько лет моей работы в Словаре и над Словарем в нашей редакции

составилась огромная картотека географических и других сведений в алфавитном порядке, а у меня лично оказалась масса выдержек по интересовавшим меня вопросам.

У меня даже явилась горделивая мысль написать на основании этих данных обобщающую работу по истории человеческих учреждений: собственности, брака, семьи, родовых и семейных отношений, государства, религии и т. п., дополнив сведения о современных диких и варварских племенах сведениями о народах древности.

В этом последнем отношении я сознательно суживал свою задачу. Оставляя в стороне надписи и памятники, — я никогда не занимался палеографией, — я решил просмотреть сочинения главнейших писателей Греции и Рима и извлечь из них все, что касалось моей темы. Я знал, конечно, что классические авторы изучались с разных сторон и разными исследователями. Но выходило по большей части так, что историки литературы в собственном смысле этого слова, т.-е. прежде всего изящной, обращали внимание на художественные красоты и игнорировали места с социальным и политическим содержанием, тогда как юристы и политические историки перетерли, можно сказать, до трухи источники права и летописи, но очень редко включали в круг своих исследований чисто художественные произведения. И в результате, много интересных мест из древних авторов оставались мало известными. (Замечательная попытка Бахофена в его «Материнском праве» долго не находила продолжателей).

И вот я принял решение с пером в руках проштудировать по крайней мере главных поэтов и прозаиков древности и вытащить в виде цитат из-под спуда встречающиеся у них сведения об основных учреждениях античного человечества. Я изложил план своей работы Лаврову, который с большим сочувствием отнесся к ней и с интересом следил за ее подготовлением. В течение более чем десяти лет я накопил целые груды данных о современном и античном мирах с занимавшей меня точки зрения и по строго определенным рубрикам. Оставалось только приступить к обобщению этих данных и писанию самой книги, содержание которой вполне выяснилось для меня в самом процессе собирания материалов. Я составил себе даже довольно подробный конспект будущей работы. Увы, меня ждал здесь большой удар.

Захожу как-то по обыкновению утром перед Гашеттом к Лаврову и застаю его в возбужденном состоянии. Нос его двигался как всегда, уходя в пушистую бороду и усы, когда он был чем-нибудь недоволен. Он крепко пожал мне руку и не без волнения заговорил:

— Эх, Н. С., все ждал вас, ждал с нетерпением, чтобы сообщить вам крупную и для вас неприятную новость.

Я насторожился.

— Вы имеете понятие о Дарбуа-де-Жюбенвилле и его книге «Первые обитатели Европы»?

— Как же, имею... Но в чем дело?

— А в том, Н. С., что этот автор только-что выпустил второе, значительно дополненное издание своего труда. И я вот, получив его вчера, все сижу за ним, перелистываю, читаю и вижу, что он предвосхитил вас. Он тоже использовал греческих и римских авторов для изображения быта древних племен, известных писателям античного мира. И мне кажется, что как раз с ваших наиболее характерных цитат, которые так интересовали меня по мере того, как вы мне их сообщали, сняты, что называется, сливки. Наилучшие места, наиболее яркие сближения уже находятся у Жюбенвилля, и в предисловии он подчеркивает, — подчеркивает по праву, — значение данных, извлеченных им из классиков... Да возьмите лучше самую книгу. Я приберег ее для вас и не буду пользоваться ею и никому не дам, пока вы хорошенько не просмотрите ее... Жаль мне вас, дорогой Н. С.! Ваши цитаты в виде иллюстраций были так у места к общим вашим положениям. А теперь я боюсь, что в задуманном вами виде книгу нельзя уже будет издать.

С большими опасениями и слабой надеждой, — я знал, что Лавров был поразительно умелым читателем и отлично ориентировался за какие-нибудь два-три часа в содержании и характере книги, — я взял из рук Лаврова довольно толстый том и принялся тут же у Гашетта перелистывать, а потом и прочитывать целые страницы из труда французского археолога. Скоро у меня не было места никаким сомнениям. Книга Жюбенвилля должна была подорвать интерес к предпринятой мною работе почти во всех частях, где дело шло о сведениях, извлеченных из греко-римских авторов. У меня оставался, правда, антропологический и этнографический материал о современных племенах. Но весь мой труд был построен на сопоставлении этих данных с данными античного мира и на предположении, что именно эти последние мало известные цитаты из греческих и римских авторов должны были привлечь внимание читателя к основной теме моей книги, а именно, что различные деления человечества, отстоящие далеко одно от другого и во времени и в пространстве, тем не менее идут в своем развитии по некоторым общим путям.

С тяжелым чувством шел я на следующий же день к Лаврову и, посоветовавшись с ним еще раз, решил бросить начатую работу, которая служила, как мне казалось, такой удобной рамкой для помещения накопленного мною за несколько лет материала и со строго определенной точки зрения. Только этот материал и оставался мне в утешение.

Но несколько лет раньше мне пришлось выдержать другой, более сильный удар, испытать огромное нравственное

потрясение, оставившее по себе длительный и глубокий след. Я говорю о переходе Льва Тихомирова в лагерь реакции.

Большинство об'яснений, сделанных его бывшими друзьями и врагами относительно этой идейной измены, меня не удовлетворяет, и я постараюсь здесь возможно об'ективно ответить на вопрос, чем был, в сущности, Тихомиров и какими внешними обстоятельствами и внутренними чертами его личности обусловливалась эта эволюция.

Я узнал хорошо Тихомирова за четыре года нашего идейного общения. Мы не были с ним, собственно, близкими, личными друзьями, как это случилось у нас позже с Лавровым. Но между нами была большая идейная дружба. Думаю, что в области общих вопросов, как теоретических, так и практических, Тихомиров был настолько откровенен со мной, насколько мог быть вообще откровенен этот по существу скрытный человек, в душе которого, несмотря на кажущиеся проявления искренности, оставался неразложимый, ему лишь известный остаток.

Моя тогдашняя молодость мешала мне, конечно, сразу рассмотреть изрядно сложную фигуру этого, в то время гораздо более зрелого, чем я, во всех отношениях, человека. Но наша переплетавшаяся многими практическими сторонами жизнь хороших знакомых и соседей — сначала он жил в ближайшем доме, позже в том же доме, как и я, этажом выше — дала мне возможность видеть его в разных положениях: внутри своей семьи, в сношениях с близкими и дальними, за интимным чайным столом, в детской, на партийном собрании и в приятельской беседе. И это обстоятельство позволило мне продвинуться глубже в пониманий психологии Тихомирова, чем это было возможно при моей молодости и неопытности.

У каждого человека, великого или малого, есть основная черта характера, из которой вытекают все другие черты, или, по крайней мере, вокруг которой они группируются. Этой чертой у Тихомирова было огромное самолюбие и совершенно исключительное самомнение. Добро и зло в различных их проявлениях размещались у него в том порядке, в каком это способствовало или препятствовало удовлетворению этой органической страсти: всепоглощающему эгоцентризму, приданию чрезвычайного значения своему я. Вряд ли, поэтому, для него могло быть что-нибудь об'ективно-великое. Иерархия его идей и чувствований определялась этим болезненно напряженным, вечно активным суб'ективизмом, карикатурою на положение Протагора: «я, Лев Тихомиров, есмь мера всех вещей, — существующих, поскольку они полезны или вредны для меня, не существующих, поскольку я могу желать или опасаться их возникновения в моих личных интересах». Из своей личности Тихомиров, во всяком случае, никогда не мог достаточно выйти и постоянно носил за собой, словно улитка, эту

жесткую, замкнутую, крепко запиравшуюся или слегка приоткрывавшуюся, когда то было нужно, скорлупу.

Люди, мало знавшие Тихомирова, или мало вдумывавшиеся в него, не замечали этой его главной, господствующей черты. Его старые друзья, революционеры 70-х годов, или молодые товарищи, подпадавшие под его влияние, считали его, например, сплошь и рядом человеком очень скромным и вообще способным отодвигать свое я на второй план перед требованиями общего дела. Но это была лишь иллюзия, которую Тихомиров, как человек умный, тщательно поддерживал.

Здесь будет у места охарактеризовать ум Тихомирова. То был ум не широкий и совсем не обобщающий, не философский, но достаточно проницательный, склонный к анализу и наблюдению и практическим выводам из результатов этого анализа и этого наблюдения. Он, повидимому, знал недурно психологию людей, но людей обычного среднего калибра, у которых, хотя и в более слабой степени, был развит тот самый эгоцентризм, что столь преизбыточествовал у самого Тихомирова. Среди этих людей Тихомиров очень недурно ориентировался. Люди порыва, энтузиазма, самопожертвования воспринимались им лишь низшими частями их личности: для того, что было у них героического и, если можно так выразиться, сверхчеловеческого, у него не было соответствующего родственного аппарата для непосредственного восприятия.

Абстрактно понимать такие типы он, конечно, мог и, благодаря своему немалому литературному таланту, искусно изображал их: доказательством служит хотя бы интересно написанная им биография Желябова. Но настоящего проникновения в них у него не было. Его выручал живой темперамент писателя. Совсем не умевший говорить на публике и не всегда интересный собеседник даже со своими близкими друзьями, он обладал даром писать легко и вместе вдумчиво, энергично и, казалось, искренно.

Эти ноты искренности особенно подкупали меня в Тихомирове-литераторе. В те молодые годы я не знал, что производить впечатление искренности — все равно, — словом устным или печатным еще не значит быть на самом деле искренним.

Конечно, Гете давно сказал:

Сердце тем лишь убедится,
Что от сердца говорится.

Но человеческая риторика успевает заменить сердце магией слова и выражения. Тут, наоборот, приходится припомнить гениального Дидро, который в другой смежной области, а именно, разбирая театральное искусство, установил существование двух типов актеров: тех, которые действительно сливаются чувством с перевоплощаемой ими личностью, и тех, которые в душе остаются совершенно холодны, но тем с большим тщанием всматриваются в свою игру для произведения наибольшего эффекта на зрителей. И сам Дидро, воплощенная

искренность, отдает, однако, преимущество, в этом смысле, последнему: искренность реальная и искренность артистическая столь же не одно и то же, как и правда жизненная и правда художественная. Не тот актер производит сильнейшее впечатление на зрителей, который действительно чувствует то, что играет, но тот, который играет так, как если бы он чувствовал то, что изображает на сцене. Тихомиров обладал способностью подбирать в своих писаниях такие выражения, которые дышали искренностью, хотя, зачастую, не испытывал соответствующего им чувства. Да и в своих личных сношениях он умел, хотя и в меньшей степени, произвести впечатление искренности, действовавшей подкупающим образом на лично расположенных к нему или очень молодых людей.

Однако, человек не простая геометрическая фигура, и основная черта его характера нисколько не исключает присутствия других, порой как будто противоречивых, второстепенных черт. Только в силу этой сложности человеческая личность не есть абстракция и даже не герой псевдоклассических трагедий. Несмотря на могучий эгоцентризм, сводящий все к интересам его личности, Тихомиров мог, конечно, и даже втечение довольно долгих полос своей жизни, испытывать идейные увлечения, которые заставляли его выходить из этой скорлупы, но выходить лишь щупальцами души, которые вечно двигались и отыскивали те пути, где его огромное самолюбие и огромное самомнение могли все же находить наибольшее при данных обстоятельствах удовлетворение.

Одно из таких идеальных увлечений он пережил в своей юности в пору великого порыва «хождения в народ», захватившего лучшую часть русской интеллигенции в начале 70-х годов. Другое овладело им на рубеже 70-х и 80-х годов, когда народовольческое движение грозило, казалось, со дня на день опрокинуть престол Романовых. Во время хождения в народ Тихомиров был еще очень молод и выказал себя добросовестным, не первостепенным, но выдающимся из второстепенных работников, честно служившим общему делу. Это настроение хорошо описано самим Тихомировым того времени в его стихотворном переложении исповеди апостола Павла:

Подвигом добрым я подвизался,
Злобы врагов не боялся...
Чувствую я: жития беспокойного,
Близок конец...
Вьется венец
И для меня недостойного.

В народовольческий период Тихомиров был вознесен судьбою русского революционного движения на очень высокий пост, едва ли не главного идейного истолкователя и, увы, одного из важнейших практических организаторов новой партии, — преимущественно за свой литературный талант. Ибо странным образом, в партии Народной Воли не было в эту

пору, кроме Тихомирова, ни одного выдающегося писателя. (Я не говорю о Михайловском, который не был членом партии, а лишь сочувствовал ей и проводил легальным путем некоторые из народовольческих идей). Можно предположить, что в этот период Тихомиров уже вследствие самой психологии своего положения более или менее искренно служил интересам Народной Воли.

Но, вдумываясь в характер деятельности Тихомирова и в эти лучшие полосы проявления его индивидуальности, я вижу в них несомненные черты эгоцентрика, человека, приспособляющего интересы общего дела к удовлетворению своего самолюбия. Он никогда не был пионером, инициатором нового направления. На долю людей этого типа выпадает не один успех, и они далеко не всегда пожинают лавры. Их часто ждут поражения, и их временная большая популярность сменяется часто для них такой же большой непопулярностью. Но для эгоцентрика такие перспективы невыносимы. Враждебные его планам и чаяниям внешние обстоятельства могут больно отдавить щупальцы их души, и они всегда боятся чересчур скомпрометировать себя, идя в одном направлении, всегда выпускают свои щупальцы только наполовину, пытаясь избрать путь, представляющий для них наименьшую опасность поражения.

Тихомиров, несмотря на властные порою аллюры своих словесных и печатных заявлений, никогда не отличался глубокою верой в истинность тех или других идей, таких или иных убеждений. К нему, пожалуй, можно было бы применить, без особенного преувеличения, характеристику тургеневского Пигасова: «мое убеждение—не иметь никаких убеждений». Но он обладал большою способностью плыть на буксире у людей сильной мысли и крепкой воли, производя впечатление человека самостоятельного и чуть ли не оригинального. Его близкие друзья знали лучше настоящую цену этой мнимой самостоятельности.

Чуть ли не двадцать лет тому назад в «Былом» за 1906 год О. С. Любатович дала проникнутую немалой симпатией к Тихомирову, но по существу уничтожающую характеристику: «Нужно сказать, что хотя Тихомиров обладал недюжинным литературном талантом, теоретические взгляды его были очень шатки — они не имели ярко определенной чеканки... Вообще в нашей среде Тихомиров уклонялся формулировать свои взгляды. Раз помню, однако, — это было у Ошаниной... Тихомиров сидел у нее и кого-то ждал; у меня также было там дело. Завязался разговор, говорили о народе, о терроре, о революционных перспективах вообще. Тихомиров, помню, был почему-то необычайно сообщителен в этот день и сказал в разговоре: «Я не верю вообще в успех революционного дела». — «Почему же в таком случае вы работаете в револю-

ционном кругу?» — спросила я. — «А потому, что в нем мои старые товарищи», — был ответ.

«В сущности, вещь ужасная: человек не верит в успех революционного дела и однако принимает деятельное участие в революционной работе, мало того, стоит на очень ответственном посту в партии, которая совершает политические убийства, которая посылает людей на каторгу и на эшафот, которая вносит небывалое волнение в общественную жизнь великой страны. Такие действия могут находить свое справдание, свою высшую санкцию, лишь когда опираются на глубокое убеждение, на непоколебимую веру революционера в правильность, в нравственность его тактики. А тут: «Почему же в таком случае вы работаете в революционном кругу»? — «А потому, что в нем мои старые товарищи». Огромный нравственный вопрос и мизерный, чудовищно крошечный ответик. Так мог бы ответить вульгарный уголовный рецидивист: «Почему же вы грабите и убиваете»? — «Да потому, знаете ли, что я занимаюсь этим делом вместе со старыми товарищами по острогу»...

«Но для Тихомирова эта психология — решающая: есть идейные друзья, есть люди, крепкие умом и волею, и они революционеры, — отчего бы и мне не присоединиться к ним, не принять участия в их деятельности, и почему бы даже не отдать мое гибкое, мое искусное перо на идейную защиту их работы!»

Любопытно, кстати сказать, как Тихомиров выполняет эту роль. При обсуждении крайне важных партийных вопросов на заседаниях Исполнительного Комитета, на редакционных собраниях органа Народной Воли, он почти никогда не выдвигает с самого начала своего собственного мнения, но дожидается, когда будут говорить другие, влиятельные товарищи, и внимательно вслушивается в их мнения, в обмен их взглядов, взвешивает, не без проницательности, их оттенки, оценивает удельный вес возражений... Через некоторое время его мнение готово: почти всегда оно будет средним равнодействующим высказанных мыслей, и он формулирует его не без искусства — нескладно, неуклюже, но умно в устном разговоре, в яркой и волнующей форме на бумаге. Но надо постоянно помнить, что это лишь искусное резюме преобладающего идейного течения, как оно выразилось при обсуждении и столкновении взглядов руководителей партии. Он в этом смысле председатель, секретарь, наконец, рупор большинства. Своей формулировкой он усиливает, он подчеркивает то мнение, которое взяло верх. Но это неизменно не его, а чужое мнение. И понятны становятся слова Любатович: «Хотя Тихомиров обладал недюжинным литературным талантом, теоретические взгляды его были очень шатки, — они не имели ярко определенной чеканки... Вообще, в нашей среде Тихомиров уклонялся формулировать свои взгляды». Да, свои взгляды. Но чужие,

повторяю, он любил формулировать, и формулировал очень удачно, и недюжинность его литературного «таланта» состояла, между прочим, в том, что те течения, которые всплывали на верх партии, находили в нем умелого истолкователя...

Но для этого надо было, чтобы он был окружен не просто «старыми товарищами», а товарищами, которые по уму и энергии были выдающимися, инициативными личностями. О, тогда мягкое, податливое железо его слабого характера намагничивалось от близости этих стальных, могучих возбудителей энергии и становилось тоже похожим на сталь... Похожим, но не более того. Потому что его огромному самолюбию отнюдь не соответствовала ни его вялая воля, ни резюмирующий, ассимилирующий, но отнюдь не самостоятельный характер его ума.

Пока он стоял внутри и в центре Народной Воли, вожди которой были людьми удивительной политической смелости и беспримерного личного мужества, он набирался этой коллективной храбрости, и в его действиях и особенно писаниях чувствовалась сила убеждения и внушительного, порой властного призыва. Он умел писать, как власть имущий, когда люди в роде Желябова, Перовской, Александра Михайлова, Ошаниной имели моральную власть над умами лучшей части революционной молодежи. Тогда даже в его разговорах прорывались ноты диктаторства. Так писал он в Народной Воле и легальных органах. Так говорил он со мной в Петербурге, когда его рассуждения произвели на меня отталкивающее впечатление декретов.

Но когда не стало великих Ахиллов и не на кого было ориентироваться по сложному пути политической деятельности, или когда сами инициативные личности колебались на идейном перепутьи, Тихомиров становился чрезвычайно нерешительным, опасливым и боязливым, не переставая быть крайне самолюбивым. Эта его теоретическая боязливость гармонировала тогда так хорошо с его физической трусостью. Щупальцы души выходили еле-еле из скорлупы эгоцентризма, но зато тем беспокойнее шевелились, ища выхода из трудного положения, состоявшего для него, главным образом, в том, что ему не на кого было опереться и не у кого было спросить лозунга и пароля. В эти моменты Тихомиров играл на скромность. Он более, чем когда-либо, присматривался и прислушивался, пугаясь ответственности за принятие того или другого решения, старался прятаться за спиною если не партии, то группы, казавшейся наименее слабою.

Я склонен думать, что даже его сократическая манера разговора путем вопрошения, манера, которая так сильно нравилась мне в Тихомирове первых лет парижского периода, указывала лишь на состояние колебания и замешательства, переживаемого им тогда.

Мне хочется внести здесь несколько дополняющих штрихов к тогдашней психологии Тихомирова. За границу он

приехал поздним летом 1882 года, по словам людей, видевших его тогда (я не встретился с ним в это время, так как он не доехал еще до Швейцарии), крайне разочарованным, изверившимся в революционной деятельности, вместе с тем, сильно нуждавшимся и потому искавшим всякого заработка. Его письмо ко мне ранней весною 1883 года насчет плана участвовать в «Ниве» под моим именем тогда глубоко меня поразило. Несколькими годами позже, когда я узнал лучше Тихомирова, оно для меня отнюдь не было загадкой, а наоборот, характеризовало как нельзя лучше этого человека, для которого, как я уже сказал выше, не могло быть великой об'ективной истины.

«Старые товарищи» сходили или сошли со сцены. Партия под напором реакции отступала по всей линии. А тут бегство за границу, отрезавшее для Тихомирова возможность близкой связи с Россией, между тем как он, плохо знавший европейскую жизнь, нуждался для сохранения хоть какой-нибудь веры в русское освободительное движение именно в постоянном и непосредственном соприкосновении с родной действительностью. А тут нужда, жестокая материальная нужда с женой и шестимесячным ребенком на руках. Всегдашний скептицизм, не находивший больше противовеса в нравственном контроле крупных товарищей, то неверие в революционную деятельность, о котором говорит Любатович, делают свое дело и стирают в глазах Тихомирова всякое различие в способах получения заработка. Не «Народная Воля» и не «Дело», — ну, так почему же не «Нива»? В потемках начинавшейся реакции все «кошки» становились для него серы: почему не написать о «безразличных» вещах в любом, хотя бы и не безразличном в политическом отношении органе?

И этот свой взгляд, приспособляющий личность к обстоятельствам — «применительно к подлости», сказал бы Щедрин, — Тихомиров считает вполне естественным и для меня. Что такое Русанов? Начинающий радикальный писатель? Эка невидаль! И если он, великий Тихомиров (один из основателей «Народной Воли»), член Исполнительного Комитета, главный автор письма к Александру III, считает для себя возможным участвовать в «Ниве», то почему бы маленькому Русанову не помочь ему в этом плане писать хорошо оплачиваемые статьи в клюшниковском органе?

Но скоро внешние обстоятельства и материального и идейного распорядка вносят еще раз изменение в душевное настроение Тихомирова. Прежде всего он замечает, что если в самой России политическое значение Народной Воли надломлено, то за границей она еще пользуется престижем, которого он не ожидал. В России реакции, вышедшей после 1-го марта из Петербурга, нужно было известное время, чтобы докатить свои мутные волны до провинции, где еще летом 1881 года народовольцы были очень популярны. До Европы это реакционное настроение еще не докатилось. Здесь еще год-два не только

социалисты, но и простые радикалы и наиболее искренние буржуазные демократы преклоняются перед политическим тактом и героизмом Народной Воли и считают ее великой общественной партией, которой принадлежит непосредственное будущее.

То было время, когда Маркс оставлял как бы в виде своего предсмертного завещания взгляд на Народную Волю, как на партию, которая идет в авангарде мирового революционного движения и держит представителя старого строя, русского царя, военнопленным в Гатчине. То было время, когда европейские социалисты на своих собраниях избирали обыкновенно почетным председателем казненного Рысакова. То было время, когда вождь французских радикалов, тогдашний боевой Клемансо, открывал столбцы своей «Справедливости» для защиты и пропаганды идей Народной Воли, в которой он видел продолжательницу на Дальнем Востоке и на расстоянии почти ста лет Великой Французской Революции. Тихомиров, несмотря на свое малое знакомство с европейской жизнью и прессой, не мог не заметить, какое большое значение еще приписывалось живыми силами Запада той самой партии, которую его маловерие готово уже было похоронить. Это выражалось и наглядно в том чрезвычайно льстившем его самолюбию почтении, которое обнаруживали в сношениях с ним, неуклюжим и почти косноязычным на почве западной культуры и великих культурных языков, представители европейской демократии.

С другой стороны, он видел, как и наиболее выдающиеся русские революционеры других оттенков, жившие в эмиграции, из недавних врагов Народной Воли превращались в ее друзей и выражали искреннее желание работать в ее рядах. Аксельрод, Плеханов, Лавров, еще недавно восставшие против элемента политической борьбы и террора в программе и тактике Народной Воли, являлись теперь в этом отношении союзниками партии и старались всячески увеличить сочувствие к ней в европейских революционных и прогрессивных кругах, и без того, как мы видели, с горячими симпатиями следивших за борьбой народовольцев против деспотического самодержавия.

Улучшилось и материальное положение Тихомирова. Людям, сочувствующим Народной Воле в России и за границей, удалось собрать средства, достаточные для издания «Вестника Народной Воли». Как один из редакторов ее и вместе с тем главный представитель Исполнительного Комитета за границей, он получал возможность в течение некоторого времени жить если и скромно, то не голодая и не хватаясь за всякий заработок. Разрыв с Плехановым и его товарищами, правда, наносил довольно чувствительный удар плану народовольцев создать такой орган, который об'единил бы на почве партийной программы лучшие литературные силы революционного лагеря.

Но верным союзником Народной Воли оставался Лавров, правда, под условием налагать вето на все, в чем он мог усмо-

треть колебание основ «научного социализма», то-есть марксизма. И уже без всяких условий принял предложение Тихомирова и Ошаниной сотрудничать в «Вестнике» пишущий эти строки, поставив себе задачею отдать все силы и способности, какие у него имелись, на защиту и разработку принципов и тактики Народной Воли. Теоретические разногласия между мной и Лавровым значительно, правда, сузили границы этого сотрудничества. Но все-таки я был одним из наиболее деятельных участников в партийном журнале. Полезным сотрудником «Вестника» стал с 1884 года и Э. А. Серебряков, который, не будучи, собственно, профессиональным литератором, мог от времени до времени, когда что-нибудь трогало его за живое, давать недурные вещи. По экономической части писал Лев Бух, тогда еще не думавший о возвращении в царскую Россию. Стали приходить в редакцию статьи и с родины. Лесевич прислал интересную статью в защиту террора, подписанную псевдонимом «Украинец». Ошанина толково и добросовестно вела хронику борьбы и была неофициальным, но очень деятельным членом редакции, точнее сказать, советчицей, мнению которой все мы, и тот же самый Петр Лаврович, придавали большое значение.

Надо прибавить, что в это время Ошанина была для колеблющегося Тихомирова тем «старым товарищем», тем нравственным авторитетом, в котором он всегда так нуждался. И выступая теперь почти исключительно в роли партийного писателя, в той роли, которая всего лучше подходила к его умственному складу, он успел дать несколько веских и умных статей, главным образом обозрений русской жизни, где звучали ноты властного убеждения. Его статья «В мире мерзости и запустения», написанная по поводу убийства Судейкина, заслужила одобрение широких революционных кругов.

Устойчивость, которую нашел теперь Тихомиров на посту руководителя партийного органа, была временно обретена им и в качестве практического организатора Народной Воли. После удачного покушения на Судейкина шансы партии временно сильно возросли. Присоединение к ней такого выдающегося человека, как Лопатин, окрыляло надежды тех, кто оставался верным программе и тактике народовольчества. Тихомиров особенно воспрянул духом, когда проездом в Россию Лопатин прислал из Лондона письмо, где передавал очень благоприятное впечатление, произведенное на Энгельса деятельностью партии, и в частности, письмом Исполнительного Комитета к Александру III, в котором осиротелый друг Маркса видел выражение незаурядной государственной мудрости, между тем как в партийных кругах было известно, что этот действительно замечательный для данного момента документ был написан главным образом Тихомировым, конечно, по обыкновению выражавшим средние взгляды партии и на сей раз пользовавшимся советами и указаниями Н. К. Михайлов-

ского. Я уже раньше сказал, что правительственные преследования заставили на рубеже 1883—84 гг. сойтись в Париже много народовольцев, временно или навсегда оставивших Россию. Эти лица создали общую атмосферу сочувствия и огромного уважения вокруг Тихомирова, который, может быть, в первый раз в своей жизни не имел вблизи себя, — кроме, разумеется, Ошаниной, — вдохновителей, а лишь почитателей, и потому мог серьезно счесть себя за инициативную личность. Щупальцы души необычно далеко выступили теперь у него из скорлупы и, увы, вскоре отыскали и наметили для него путь рокового падения...

Стечение неблагоприятных внешних и внутренних обстоятельств раздавило слабую, но крайне самолюбивую и самомнительную личность Тихомирова. Прежде всего партия Народной Воли после временного вторичного расцвета подверглась страшному поражению, главным виновником которого был Г. А. Лопатин, чья яркая индивидуальность, но широкая, слишком широкая для конспиратора натура не годилась для заговорщической, строго дисциплинированной деятельности. История провала Лопатина чересчур известна, чтобы надо было подробно рассказывать, как самые достоинства его личности превратились в пагубные для дела недостатки. Его личная храбрость и способность дерзания, его словоохотливость, плохо разбиравшаяся в собеседниках, и излишняя уверенность в своей ловкости, приведшая к тому, что он постоянно носил массу конспиративных адресов при себе в надежде во-время уничтожить их, — все это соединилось, чтобы сделать из ареста Лопатина такой разгром Народной Воли, какого не могла бы вызвать самая ловкая работа агента-провокатора.

Но, в сущности, это поражение партии было лишь завершением ее начавшегося распада, который, кроме специальных причин, определялся общими условиями русской действительности и, прежде всего, расширением и углублением реакции, из правительственной превращавшейся в общественную. Дерзкий вызов, который министр Дмитрий Толстой бросил всему прогрессивному лагерю запрещением весной 1884 г. «Отечественных Записок» и «Дела», был многозначительным выражением уверенности крепнувшего самодержавия в том, что хребет политической и идейной оппозиции сломлен, и что оно может безнаказанно не только, как говорил еще давно князь Мещерский, поставить точку к реформам 60-х годов, но и отодвинуть Россию на десятилетия назад.

Закрытие радикальных органов отчасти непосредственно отразилось на материальном положении Тихомирова, который от времени до времени посылал довольно недурно оплачивавшиеся статьи в «Дело». А еще больше это положение было подорвано окончательным поражением Народной Воли и связанным с этим иссякновением партийных средств, часть которых шла за границу на издание «Вестника». И для Тихомирова

снова остро ставился вопрос о заработке. В течение 1885 года можно было еще найти кое-какие ресурсы для продолжения издания. К 1886 году и эти средства истощились. Я еще раньше устроился у Гашетта. Лавров стоически выдерживал сокращение своего личного бюджета, который в немалой степени пополнялся сотрудничеством в закрытых ныне органах. Ошанина нашла кой-какую переводную работу.

Но всего труднее пришлось Тихомирову, вследствие особенностей его семейного положения. У него была жена, Екатерина Дмитриевна Сергеева, из орловских радикалок, проделавшая обыкновенный путь тогдашней революционной молодежи, начиная от деятельности в народе в качестве фельдшерицы и кончая нелегальной жизнью в столице, где она была незаконной женой своего страшно законспирированного мужа. Неглупая, цепкая, с характером, но крайне вульгарная, мало развитая, она превосходила Тихомирова энергией и храбростью, в общем же была неровней ему, — тип почти простой русской бабы, крепко и без всяких ухищрений державшейся за жизнь, переносившей в России довольно смело политические пертурбации вместе с мужем и его товарищами, но дорожившей также и почетом, который оказывался ей, как жене знаменитого Тихомирова, когда Народная Воля была в фаворе, а за границей, в дни нужды и лишений, опять-таки как простая русская баба, взалкавшая по отечественным чеснокам и опреснокам, по воскресным пирогам, мирным гусям на рождестве, блинам на масляницe, куличам и пасхам на святой.

Вот эта-то особа была роковой спутницей в заграничной, материально тяжелой и идейно все более бедневшей содержанием жизни Тихомирова. Она хныкала, умеренно, но беспрестанно пилила своего мужа, жаловалась на дороговизну, на отсутствие всяких удобств в жизни, с сердцем выносила стесненные условия, в которые Тихомиров был поставлен судьбой. Конечно, нелегко было их существование. Но эти годы были вообще трудны для всей русской эмиграции. И, однако, вряд ли какая эмигрантская семья с таким враждебным чувством переносила материальные невзгоды изгнания и с такой идеализацией взирала на сытое обывательское житье-бытье в России. Жена Тихомирова тяжелым грузом висела на нем и с каждым днем все более и более тянула его в сторону компромисса с бывшими врагами.

Едва ли не сильнее действовал на Тихомирова в этом направлении и тот факт, что у него был малолетний сын, рожденный чуть ли не на пути за границу, теперь болезненный, пугливый, страшно нервный мальчик, лет четырех-пяти, которого Тихомиров, до сих пор довольно равнодушно относившийся к старшим детям, оставленным в России, безумно полюбил. Любовь эта была именно безумная и глубоко эгоистичная, в том смысле, что «Саша» находился для отца в центре мироздания, что для него, в представлении Тихомирова, ходило по небу солнце

и зажигались звезды, и все люди, его знакомые и друзья, его партийные товарищи, должны были, по мнению нежного родителя, считать за счастье услуживать балованному мальчику и вообще существовать только для удобства его.

Случилось, что маленький Тихомиров заболел воспалением мозга. Обезумевшие родители, главным образом, отец, употребляли нечеловеческие усилия, чтобы спасти мальчика, вошли в очень большие, сравнительно с их средствами, долги, приглашали лучших докторов, тратились на хорошие лекарства и бесцеремонно пользовались во все время болезни сына услугами русской эмиграции, считая, что так и полагается. Надо сказать, что тогда мы все еще любили Тихомирова и эту любовь переносили и на его семью, хотя кое-что в ее обиходе нас уже начинало коробить. Мы все впряглись в дело спасения мальчика и, можно сказать, вытащили его из челюстей смерти. Партийные товарищи проводили бессонные ночи, сменяясь у изголовья Саши, чтобы давать ему лекарство, накладывать на пылающую голову ребенка компрессы, ставить термометр и составлять кривую температуры. Эгоизм родительской любви заставлял Тихомирова — в меньшей степени Тихомирову — становиться страшно требовательным по отношению к этим добровольным служителям и сиделкам при мальчике. Из-за своего ребенка наш товарищ забывал, что у нас были тоже семьи, тоже дети, и все подчинял интересам выздоровления своего мальчика. Так, заметив, что капризный Саша принимает охотнее лекарства из рук одной молодой дамы, имевшей тоже маленького ребенка, Тихомиров при всяком удобном и неудобном случае посылал за ней, а однажды, застав ее за купаньем ее девочки, пред'явил к ней требование «прекратить сейчас же это занятие и подняться на верх» для поднесения микстуры его сыну; а когда приведенная в замешательство юная мать указала на невозможность немедленного исполнения этой властной просьбы, окинул ее испепеляющим взглядом своих вечно бегающих по сторонам глаз и с неподдельным негодованием воскликнул:

— Но что сделается с Сашей? Вы забываете Сашу.

Как ни как, мы выходили Тихомирову его Сашу, потому что уж, конечно, не врачи и не зелья излечили ребенка от такого страшного недуга, как воспаление мозга, а неусыпные попечения идейных товарищей и личных друзей Тихомирова. Саша выздоровел, но остался навсегда косоглазым и слабоумным, что не помешало ему, по просьбе покаявшегося во всяких революциях отца, пойти в монахи и дослужиться в одном из видных монастырей до сана архимандрита...

Но вместо того, чтобы сблизить Тихомирова с нами, наши бескорыстные заботы о его сыне лишь отдалили его от нас. Нуждаясь в сравнительно больших деньгах для лечения сына, он уходил от нас, забывая наши дружеские услуги и считая их вещью совершенно естественной, мало того, обязательной с нашей стороны по отношению к нему, великому Тихомирову,

и он сближался с людьми, которые располагали средствами. Так, он стал в приятельские отношения к Исааку Павловскому, писавшему под псевдонимом Яковлева в «Новое Время» корреспонденции из Франции, человеку небольшого литературного таланта, но большой беспринципности, и к «Мищелю» Ландейзену-Гартингу, разыгрывавшему роль богатенького папашина сынка, сочувствующего революции, а на самом деле получавшего деньги от третьего отделения. (Я не хочу этим сказать, что Тихомиров знал о провокаторской деятельности Ландейзена; но характерно, что последний скоро понял слабую натуру Тихомирова и легкость расположить его в свою пользу деньгами).

Знакомство с этими лицами, при исчезновении с разгромом Народной Воли в России старых товарищей Тихомирова и при его отдалении от Ошаниной и других его единомышленников за границей, создало вокруг самолюбивого, но слабого человека иную нравственную атмосферу и возможность для него найти других идейных вдохновителей. Даже его радикальная литературная деятельность на французском языке облегчала ему в силу некоторых особых условий переход в другой лагерь.

В 1886 г. Тихомиров, ища заработка, работал над своей книгой «Социальная и политическая Россия», которую он писал по-русски, а издатель, некто Савин, переводил на французский при помощи самого Тихомирова. Перевод делался таким образом, что Тихомиров «переводил» буквально на варварский французский фразу за фразой, а переводчик тут же придавал каждой фразе литературную форму, и кроме того, подвергал общему пересмотру каждую главу. Такой характер работы способствовал сближению Тихомирова с переводчиком, а Савин был образованным, но страшно консервативным французом, с хорошо подвешенным языком южанина и недурным знанием французской действительности, которую он рассматривал, однако, исключительно под углом зрения монархизма.

В то время в общем потоке французской политической жизни стали явственно намечаться две реакционные струи: в области внешней политики стремление к союзу с царской Россией; в области внутренней политики тяга к цезаристскому буланжизму. Конечно, монархически настроенный француз в своей критике оппортунистической Третьей республики не мог не подчеркивать положительные стороны русского самодержавия, от сближения с которым Франция должна была, по его мнению, лишь выиграть, как не мог не обнаруживать сочувствия к буланжистскому движению, которое в случае успеха должно было опять-таки, по мнению Савина, привести французов от бестолково-мятущейся демократии к прочному строю традиционной королевской власти.

Без руля и без ветрил, Тихомиров с удовольствием вслушивался в ловкие речи переводчика и понемногу стал находить в Савине одного из тех идейных вдохновителей, которых ему

недоставало теперь в революционном лагере, но в которых всегда нуждалось его неуверенное в общих принципах, но уверенное в своем превосходстве над другими «я». Савин же свел Тихомирова с такими же, как сам он, монархистами или политическими индиферентистами из литературного круга. А благодаря Павловскому, сближавшемуся теперь все более и более с Тихомировым, на последнего обратили внимание две знатные литературно-политические дамы, которые усердно вербовали сторонников русско-французского альянса, — одна во Франции, — то была госпожа Адан, — другая в Англии —то была госпожа Ольга Новикова.

Считавший себя большим дипломатом, Тихомиров оказался сейчас же игрушкой в руках настоящих дипломаток. Госпожа Жюльетта Адан, которая в качестве руководительницы журнала «Новое Обозрение» еще несколько лет тому назад помещала революционные статьи Жандр-Никитиной о России и давала место на страницах своего органа социалисту Лафаргу, теперь изо-всех сил работала над франко-русским сближением и была готова проглотить какой-угодно деспотизм в России, лишь бы царь помог «великой Франции» в ее политике реванша. С своей стороны Ольга Новикова, либеральничавшая с Гладстоном, когда он обличал турецкие зверства над болгарами, теперь старалась сделать приемлемыми свои панславистские идеи в английских консервативных кругах и прославляла миролюбивую политику Александра III, который, мол, ни за что не согласится обострить отношения между Россией и Англией, хотя и стремится опереться на Францию.

От обеих дам, работавших дружно в одном и том же направлении по сию и по ту сторону Ламанша, не ускользнула политическая важность возможного отречения Тихомирова от его революционного прошлого и перехода в лагерь самодержавия. Они лишь преувеличивали степень теперешнего влияния Тихомирова на своих бывших единомышленников. Им казалось, что его идейное ренегатство найдет многих подражателей, и революционному движению в России будет нанесен решительный удар. Эту иллюзию разделял и сам Тихомиров. Но ближайшие же месяцы показали, как он ошибался.

Однако, пока что, французская и русская нимфы-Эгерии Тихомирова опутывали его все более и более сетями светской и политической дипломатии. Приглашения на интимные вечера следовали за приглашением, и обеды в маленьком кругу сменялись обедами. Никогда еще бегающие по сторонам глаза Тихомирова не видали таких изящных салонов. Никогда еще его плебейский нос не нюхал таких ароматов. А моральный фимиам был и того тоньше.

Его собеседницы наперерыв старались льстить и без того огромному самолюбию Тихомирова и соблазняли его ролью генерала Монка русской революции: он, который наносил такие удары самодержавию, должен теперь стать его опорою и

защитником и, отрекаясь от революционной деятельности, укрепляя царскую власть на престоле, придать окончательную прочность русскому монархическому строю. А это влекло за собою не только успокоение умов в стране, наконец-то устремляющейся целиком к культурной работе под эгидою царя, но и увеличение международного престижа умиротворенной России, союз Франции с великой восточной монархией, роль суперарбитра во всем мире, выпадающую на долю отечества Тихомирова. В частности, со смертью графа Дмитрия Толстого и Михаила Каткова, по близости престола оставалось незанятым место дальновидного советника царя, который не мог довольствоваться деятельностью уже сильно состаревшегося Победоносцева, а нуждался в помощи более молодого и энергичного государственного мужа... И воссядет бывший революционер, просветленный и умудренный самими ошибками прошлого, одесную своего царя... на ближайшей правой ступени престола, и достигнет слава первого министра Александра III даже самых отдаленных потомков...

Тихомиров был ошеломлен перспективами огромного будущего, которое развертывали перед ним его политические сирены и его собственное болезненное самолюбие. Надо было скорее обрубать канаты, связывающие его с ненавистным ему теперь прошлым, быстрее разойтись с прежними товарищами и единомышленниками. И Тихомиров занялся этой работой, но с характерным для него самомнением, колебаниями и даже отступлениями. Ликвидировать сразу прошлое не хватало духа у этого слабого человека. Стать сразу монархическим Павлом он не мог уже потому, что не был и революционным Савлом, не обладая инициативной душой великих, бескорыстных и идейных ренегатов. И приходилось проделывать процесс этого превращения, изворачиваясь, лавируя и то выставляя, то пряча щупальцы болезненной души.

Но когда он приходил к себе, на окраину левобережного Парижа, где по скромным квартирам, зачастую по мансардам, жили русские эмигранты, перебиваясь изо-дня в день, порою совсем голодая и однако не сгибая головы перед петербургским деспотом, ему становилось не по себе. Он страдал, он терпел лишения: ему напоминали об этом и недовольный взгляд жены, и косые глаза сына. Но ведь не менее его страдали и многие другие, и страдали тоже с женами и детьми. На улице Сэн-Жак жил в очень стесненных обстоятельствах Лавров, которого мы, народовольцы, могли упрекать в его чересчур отрицательном отношении к критике марксизма, но перед высотой личной жизни которого мы все преклонялись и который служил для нас образцом революционной стойкости, или, как несколько лет спустя скажет в своем прочувствованном стихотворении П. Ф. Якубович:

Под снегом Сибири, на солнце чужбины,
Под злым акатуйским ярмом
Горят нам твои дорогие седины
Надежды и веры отрадным лучом.

В одной из маленьких улиц Монпарнасского квартала перебивалась переводами Ошанина, оставаясь верною идеям Народной Воли и служа своей несгибаемой душой живым укором дряблому Тихомирову. Целый ряд понаехавших из России молодых членов разбитой партии смотрели еще на Тихомирова с величайшим уважением и тем самым мешали ему проделать с легкостью его политический вольтфас. Даже я, присоединившийся к Народной Воле лишь за границей, но теперь с жаром защищавший ее программу, смущал, как оказывалось, Тихомирова, продвигавшегося все далее и далее по пути идейной измены. Я не мог, конечно, играть роли морального авторитета для человека, бывшего одним из основателей партии и, в последние годы, ее наиболее компетентным выразителем. Но к моему мнению он охотно прислушивался, зная, что я верой и правдой, по мере сил своих, служу Народной Воле, а к нему питаю самые искренние идейные симпатии. И он с беспокойством заходил в мое отсутствие к моей жене, стараясь хитро задуманными, но неуклюже поставленными вопросами выведать, не замечается ли и во мне какого-нибудь изменения во взглядах, не стал ли я сомневаться в осуществимости русской революции и не начинаю ли думать, что России можно быть полезным и не в оппозиции, а посвятив себя положительной культурной работе, не считаясь с тем — кому принадлежит центральная власть: свободно ли организованному народу или самодержавному царю. Разумеется, ответ давался ему отрицательный, и Тихомиров уходил смущенный, видимо, раздосадованный, объясняя моей жене свои вопросы живым участием, которое он принимает в моей умственной жизни.

И все же шаг, обрубавший канаты, которые соединяли его с прошлым, сделать было надо, и Тихомиров воспользовался случаем, лучше сказать, придрался к случаю и предпослал второму изданию своей «Социальной и политической России» предисловие, еще в нерешительной, еще в неуклюжей форме, но все же говорившее о существенных переменах в его взглядах. Оно, прежде всего, не подходило уже к содержанию книги, которое осталось без изменения от первого издания. Надо сказать, что в своей книге Тихомиров стоял в общем на революционной точке зрения, хотя, может быть, и в ней чересчур ясно показывалось на иных страницах раздвоенное копыто беса великодержавного российского централизма. Теперь в предисловии он решительно восставал не только против политического террора, но и вообще против революционных приемов, да в сущности и против всякой политической, всякой резко оппозиционной борьбы с правительством. Восхваляя культурную работу, которую люди прогресса должны, мол, делать, отнюдь не думая о том, совершается ли она благодаря или вопреки правительству, Тихомиров проповедывал

под личиною такого безразличия преклонение перед самодержавием, даже служение ему.

Так все мы, оставшиеся верными своим идеалам, и восприняли это двусмысленное, изрядно лицемерное и потому тем более возмутившее нас предисловие. У меня с Тихомировым по поводу него произошла следующая история. Он прислал мне корректурные листы предисловия с просьбой внимательно прочитать его и откровенно высказаться о нем. Он, мол, чрезвычайно дорожит моим мнением и готов внести в предисловие те изменения, какие я сочту нужными: ему лишь дорога основная мысль его, а именно перемена тактики политической борьбы.

Прочитав корректуру и сопровождавшее ее послание, я был ошеломлен. Я слышал о том, что разговоры Тихомирова в последнее время производят на его слушателей странное впечатление. То, что мне говорила моя жена о беспокойных расспросах Тихомирова относительно возможного изменения моих взглядов, смущало меня. Но я приписывал это дружескому интересу, который я возбуждал в нем. Со мною же лично он ничего не говорил ни о метаморфозе, совершавшейся в нем, ни даже просто о своих сомнениях, видимо, избегая беседовать на эту щекотливую тему. И еще каких-нибудь два-три месяца перед написанным предисловием я был приглашен Тихомировым на его летнюю квартиру, в Ле-Рэнси (небольшой городок на восток от Парижа), для свидания с Е. И. Кедриным, и мы втроем обсуждали план не столько партийного, сколько широко оппозиционного журнала, на издание которого под нашей с Тихомировым редакцией известный петербургский радикал обещал доставить нам в скорейшем времени 30.000 рублей. Кстати сказать, при отсутствии крепких убеждений у Тихомирова, для меня до сих пор остается вопросом, перекочевал ли бы он так скоро в лагерь реакции, если бы эта по тогдашнему значительная сумма была нами получена и наш план издания оппозиционного еженедельника осуществился...

Как бы то ни было, на приглашение Тихомирова высказать свои замечания о предисловии я ответил страшно взволнованным, искренним, но, как мне теперь кажется, чересчур сантиментальным письмом, в котором общими интересами революционного дела, собственным «славным прошлым» Тихомирова, его идейной дружбой ко мне я заклинал его не делать этого непоправимого шага, пересмотреть свое решение, по крайне мере, отложить его на неопределенное время. В ответном письме Тихомиров благодарил меня за теплое отношение к нему, но извещал, что он твердо решил напечатать предисловие без больших изменений, так как «никогда еще я» — писал он—«не мыслил так честно и так честно не поступал», и просил лишь притти к нему для исчерпывающего объяснения в такое-то время.

В назначенный день и час я явился к Тихомирову, который из Ле-Рэнси переехал уже снова в Париж на улицу (авеню) Дю-Мэн, но своим приходом сначала произвел только замешательство. Жена Тихомирова, смотревшая на меня и зло, и смущенно, заявила мне, что теперь ее мужа нельзя видеть, потому что он вышел по очень важному делу, и, попросив меня обождать, оставила меня одного в столовой. Затем, вернувшись через несколько минут, принялась довольно путанно объяснять, что Тихомиров, собственно, возвратился, но занят разговором с третьим лицом и просит, однако, меня пройти к нему в кабинет. В кабинете неловко поднявшийся со стула Тихомиров познакомил меня с сидевшим у него Исидором Гольдсмитом, бывшим издателем «Слова», с которым по крайней мере в продолжение четверти часа он вел в моем присутствии совершенно неинтересный разговор о каких-то общих петербургских знакомых.

Мне показалось, что Тихомиров просто оттягивает неприятное объяснение со мной, и я был вынужден почти резко сказать ему, что он сам назначил свидание, и что у меня нет времени более дожидаться его. Он заторопился, довольно бесцеремонно выпроводил от себя гостя, и вот мы остались с ним наедине в кабинете, дверь которого была, однако, приоткрыта, и сквозь щель виднелась прижавшаяся к косяку Екатерина Дмитриевна.

Глаза Тихомирова бегали быстрее обыкновенного. Он сделал два-три порывистых шага по комнате, потом вдруг остановился и стал против меня. Он произвел на меня впечатление человека, которому надо лезть в холодную воду, а он все стоит на берегу, избегая неприятного ощущения, и, наконец, решается сразу прыгать. Голосом, которому он тщетно старался придать оттенок равнодушной авторитетности, он спросил меня:

— Вы, кажется, хотели, Н. С., иметь объяснение со мной?

Меня взорвала эта игра.

— Простите. Лев Александрович, но это было не мое, а ваше желание. Я считаю, что высказал вам в письме все, что должен был высказать по поводу вашего предисловия, и сегодня ничего не мог бы прибавить к тому, что писал вам третьего дня... Я, разве, мог бы только спросить вас: неужели то самое перо писало это предисловие, которое пять лет тому назад писало письмо от Исполнительного Комитета Александру III?

Тихомиров пробормотал что-то невнятное и вдруг, возвышая голос и стараясь выдержать раз взятую им ноту авторитетности, заговорил то быстро, очевидно, заученными фразами, — он, вероятно, цитировал уже приготовленные статьи по поводу своего ренегатства, — то запинаясь и растягивая слова, среди усилий своей по обыкновению не особенно складной импровизации.

— Вы упомянули письмо к Александру III: оно, действительно, делает мне величайшую честь, хотя я теперь стою на совершенно иной точке зрения... Оно написано человеком, который умеет быть самостоятельным даже в своих заблуждениях... И людей такой самостоятельной мысли надо прежде всего стараться понять, а потом уже осуждать... Сегодня они могут делать и писать одно, завтра другое. Но они остаются верными себе: они указывают путь другим, а не следуют рабски за толпой...

— Позвольте, Лев Александрович, как бы удачно ни был написан вами документ, о котором мы оба говорим, основные линии его были установлены партией в лице ее руководящих членов... Думаете ли вы, что люди вроде ваших бывших товарищей могли бы одобрить и ваше предисловие?..

Тихомиров поморщился, — упоминание о возбудителях его былой революционной энергии ему было, видимо, неприятно, — запнулся, но, промолчав несколько мгновений, начал уже совсем задорно:

— Не только думаю, но убежден. Желябов, Перовская, Александр Михайлов подписались бы теперь обеими руками под моим предисловием... Они, повторяю вам, умели действовать самостоятельно, они поняли бы теперь свою роковую ошибку и занялись бы соответствующим делом...

— Каким же, Лев Александрович?

Не могу до сих пор забыть комической позы, которую принял Тихомиров для того, чтобы дать мне сокрушающий, по его мнению, ответ... Он отошел на несколько шагов, выдвинул вперед ногу, выдвинул вперед правую руку, перегнул кисть назад, посмотрел на веером расставленные пальцы и важно произнес:

— Служение России, Н. С., служение русской нации без различия сословий, служение твердой власти, которая воплощает общие интересы великого отечества... Вижу, воочию вижу, — Тихомиров старался остановить вечно блуждающий взор на растопыренных пальцах, — ту огромную культурную работу, которая так теперь необходима русскому государству, русскому обществу (Тихомиров произносил это слово всегда «обшество»; когда я любил его, мне это так нравилось, сейчас же я почувствовал, как эта манера раздражает меня)... Они были бы министрами самодержавного царя, его преданными, верными слугами... Вот, как были бы министрами Николая I декабристы, если бы...

— Если бы Николай I не повесил своих будущих верных слуг,—резко прервал я Тихомирова, досадуя на себя, что не мог подавить внешнего проявления все более и более охватывавшего меня негодования, так как мне стало теперь ясно, какая пропасть отделяла нас друг от друга и как всякий дальнейший разговор между нами становился бесполезным...

— Нет, Н. С., а если бы декабристы своевременно поняли, что лучшим правительством, исполняющим все питательные функции страны, является самодержавие... Да, да и мои бывшие заблудшие товарищи были бы самыми влиятельными министрами Александра III... Да и вы сами, Н. С., хоть вы еще очень молоды, однако, не без способностей, вы могли бы сделаться товарищем министра...

Я расхохотался. Тихомиров становился жалок. То, что я слышал от него, отнимало у нашего объяснения всякий трагический характер и превращало его в фарс. Я направился к двери, едва коснувшись своей рукой руки Тихомирова. Ощущение комичности нашей беседы заполняло мою душу. Я хотел скорее выйти на свежий воздух, чтобы забыть жалкую фигуру человека с бегающими глазами, старавшегося скрыть сознание своей идейной измены под напускною важностью. Мне казалось, что это свидание навсегда изгнало из моей души представление о Тихомирове как об идейном товарище, которого я не только уважал, но и любил.

И, однако, разрыв этот нанес мне гораздо более глубокую нравственную рану, чем я думал это под горячую руку, непосредственно после моего разговора с Тихомировым. Это сказалось и на тоне написанной мною и подписанной бывшими товарищами Тихомирова брошюры «Эволюция или революция», которою наш кружок счел нужным ответить на предисловие. Лавров, Ошанина, Рубанович, большинство народовольцев в Париже были довольны моей критикой новой позиции, занятой бывшим членом Исполнительного Комитета. Удовлетворяла она и меня в пылу работы над брошюрой. Я написал ее в несколько часов,—когда негодование на автора предисловия душило меня. Позже, когда прошло это первое настроение, брошюра мне почти совсем разонравилась: вместо того, чтобы коротко отчеркнуться в ней от идейного изменника, ясно, холодно показать всю глубину противоречия между его прежними и теперешними взглядами и, таким образом, поставить Тихомирова перед бывшими товарищами в его настоящем свете, с огромным самолюбием и малыми силами души, фальшивой искренностью и нравственной дряблостью, я чересчур обнаружил в своей брошюре боль идейного и личного страдания, вызванного во мне изменою Тихомирова, и придал несоответственно большое значение его личности. Я был слишком сантиментален и недостаточно политик.

А автор предисловия, сделав свой первый шаг по пути признания самодержавия, шаг, который стоил ему, повидимому, всего дороже, теперь двигался в раз принятом им направлении все быстрее и легче. Несколько месяцев спустя появилась его пресловутая брошюра «Почему я перестал быть революционером?», после которой ни у кого уже,—ни у друзей, ни у врагов,—не могло быть сомнения в его окончательном переходе в ряды защитников монархии в ее самой мрачной форме: цар-

ского деспотизма. Эту брошюру вместе с просьбой ходатайствовать об его помиловании Тихомиров направил Плеве, и через несколько месяцев получил от правительства разрешение возвратиться на родину, где и воссел одесную—не царя, конечно, как грезилось ему в его дико-самомнительных мечтаниях, а редактора «Московских Ведомостей», Карла-Амалии Грингмута, в роли усердного, но, увы, отнюдь не влиятельного, несмотря на все свои усилия выдвинуться, публициста реакционного лагеря.

Но еще в Париже политическое падение Тихомирова сопровождалось его личным падением, писанием хорошо оплачиваемых статей в разных бульварных французских изданиях, которые вырастали, как грибы, и как грибы же исчезали, питаемые субсидиями официальных и официозных ревнителей становившегося все более популярным франко-русского альянса и рассчитанные на колоссальное невежество и дешевый шовинизм французской улицы. Среди своих новых французских и русских почитателей Тихомиров стал пользоваться репутацией патриотического эксперта по вопросам русской внутренней и внешней политики, на самом же деле снабжал упомянутые органы легковесной пошлятиной, нередко изобиловавшей остротами кордегардии в роде пресловутой игры слов Николая I насчет постоянного движения русских на Прут и Австрии на Серет, как он не посовестился выписать этот русский каламбур латинскими буквами на всетерпящих столбцах иллюстрированного журнальчика, название которого я однако забыл, но о направлении которого достаточно ясно говорила раскрашенная виньетка: возле русских саней стояли, целуясь взасос, бородатый русский казак и француженка типа девицы легкого поведения с Монмартра. Подпись гласила: «Франко-русский союз». В таких-то литературных кафе-шантанах обрел свое пристанище друг Желябова и Александра Михайлова, пока, как уже было сказано выше, не стал присяжным сотрудником, а по смерти Грингмута и редактором «Московских Ведомостей».

В довершение психологии Тихомирова, мне хотелось бы ответить в свою очередь на вопрос, который часто задавали себе друзья и недруги ренегата: был ли, собственно, предателем Тихомиров, а если был, то в какой степени? Интересно, что всего, может быть, снисходительнее в этом отношении посмотрели на поведение Тихомирова некоторые из бывших друзей его. Так, уже цитированная нами Любатович пишет: «Впоследствии, когда я коротала дни в бессрочной ссылке на берегах Лены, по Сибири пронесся слух, что Тихомиров просил пощады у правительства и вернулся с семьей в Россию. Я знала, что он не лгал ради самосохранения; я знала, что он молчаливо давно носил нравственную смерть в своей душе, но я знала также, что если он купил себе свободу ценой своего достоинства, ценой своего имени, то вверенная его чести свобода и жизнь товарищей не войдут в эту цену, не пострадают; я

знала, что Тихомиров не может быть ни Гольденбергом, ни Дегаевым, и не ошиблась; а сколько мог он вернуть из административной ссылки, если не на эшафот, как Дегаев вернул барона Штромберга, то в каторжную тюрьму... История все-таки это должна знать, помнить и быть справедливой... Горше доли, как для Тихомирова, придумать трудно»...

В этом чрезмерно снисходительном суждении о Тихомирове заключается немалое недоразумение. Что Тихомиров никого не выдал грубо материально, не сделал определенного доноса на то или другое живое лицо, это правда. Но так ли уж велика в этом заслуга одного из самых влиятельных членов Народной Воли? Прежде всего, одна уже физическая трусость Тихомирова могла остановить его на пути формального предательства: он знал, что и с разгромом террористической партии в России находилось все-таки еще достаточное число революционно настроенных людей, от которых Тихомирову было бы трудно спастись, если бы он занялся в буквальном смысле предательством. Затем ему, собственно, нечего и некого было выдавать. Старые организации были разрушены, старые товарищи погибли (или заживо схоронены правительством в каменных мешках Шлиссельбурга и в далеких снегах Сибири). Молодые организации были очень слабы, а с молодыми товарищами Тихомиров к тому времени и сам не хотел видаться.

Но если разуметь под предательством стремление и усилия дискредитировать идею, которой он раньше служил, загрязнить партию, одним из главнейших руководителей которой он раньше являлся, и притом о прошлом говорить тоном знатного иностранца, который словно ни к чему не был причастен, всячески затушевывать свою ответственность и всю вину валить на других, то этой предательской деятельностью он занимался усердно в течение десятков лет. И можно порою только удивляться этой психологии неописуемой развязности, поразительного забвения, которую столь часто обнаруживал Тихомиров в своих обличительных творениях. Особенно любопытны были в этом отношении его статьи, озаглавленные в карикатурном подражании Герцену «Начала и концы»... «Начала и концы русского революционного движения», видите-ли. Читая это произведение, вы действительно идете от одного психологического изумления к другому. И вполне можно понять стихотворную заметку, написанную карандашом неизвестного читателя на полях экземпляра «Московских Ведомостей», находившегося на столе русской библиотеки в Париже:

Я вкруг Тигрыча хожу
Вкруг библического!!!
Я на Тигрыча гляжу
Монархического!!!

«Тигрыч» была одна из нелегальных кличек Тихомирова,— данная ему, как уверяли его прежние враги из реакционного

лагеря, за его необыкновенную кровожадность, удивлявшую, мол, даже его свирепых единомышленников, а на самом деле просто потому, что Тихомирова звали Львом, и кличка сама собою напрашивалась. Во всяком случае в упомянутой статье Тихомиров желал показаться не львом и не тигром, а невинным ягненком, который лишь стечением несчастных обстоятельств и тлетворным влиянием товарищей, в свою очередь зараженных общей атмосферой русского нигилизма, был заведен в лагерь революции, всегда оставаясь в душе любителем порядка и начальства.

Бескорыстный идейный ренегат, переменяя убеждения, принимается ненавидеть прежде всего свое собственное прошлое и осуждает свою личную деятельность с еще большею страстностью, чем деятельность своих бывших товарищей, к которым он относится, наоборот, гораздо более снисходительно. Вспомним Белинского, который, став борцом за свободу и прогресс, не мог без негодования и отвращения вспоминать о своих реакционных ультра-патриотических статьях. Автор «Начал и концов» был, наоборот, чрезвычайно резок в своих приговорах о революционной эпохе, необыкновенно строг в своих суждениях о единомышленниках, не щадя даже своих ближайших друзей. Но по отношению к самому себе в его душе струились неиссякаемые источники снисхождения и симпатии.

Всем мало-мальски чутким людям, независимо от их убеждений, показалась, например, чудовищной фраза Тихомирова в «Началах и концах» о Рысакове: «Малолетний изверг, дерзнувший поднять преступную руку на священную особу монарха». Ведь все знали, что именно Тихомиров особенно настаивал на том, чтобы покушение на Александра II было поручено прежде всего Рысакову, что он толкал импульсивного, но не особенно стойкого юношу на цареубийство, что он почти буквально вложил бомбу в его руку. Кстати сказать, этой психологией Иудушки были отмечены не только писания, но и деяния Тихомирова. И опять-таки все мало-мальски чуткие люди были поражены первым же политическим оказательством Тихомирова, когда он явился прощенным на русской территории: он пошел в Петропавловский собор поклониться гробу Александра II. Сцена, действительно, достойная размышления! Внутри Петропавловской крепости, держащей в своих каменных объятиях русских революционеров, один из их бывших товарищей,—и из наиболее активных,—преклоняет колена перед изорванным телом им же в бозе динамитированного монарха. Опять-таки, всем было известно, что последние месяцы перед 1-м марта никто чаще Тихомирова не напоминал своим товарищам о необходимости привести в исполнение решение Исполнительного Комитета казнить Александра II.

В «Началах и концах» же находится заявление Тихомирова, носящее форму почти коллективного доноса на известные общественные круги, о том, что не надо думать, будто средства на

покушения Исполнительный Комитет получал от радикальной интеллигенции, разночинцев, рабочих,—то все были, видите-ли, жалкие крохи,—нет, бюджет этого главного органа Народной Воли, достигавший 80.000 рублей в год, исключительно пополняется крупными пожертвованиями богатых либералов. Здесь, мол, правительство должно искать главных виновников революционной смуты...

К человеку с такой психологией вряд ли справедливо поэтому применять восклицание Любатович: «горше доли, как доля Тихомирова, придумать трудно». Его ренегатство со всеми последствиями заключает в себе очень мало элементов трагедии и неизмеримо больше мещанской драмы. Идейному изменнику не удалось, действительно, осуществить и одной десятой доли тех честолюбивых планов, которые развертывались перед его охваченной гипнозом огромного самолюбия душой. И то обстоятельство, что все-таки некоторую долю этих планов он осуществил, только усугубляет общее крушение его мечтаний. Он не стал ни первым министром, ни советником царя, ни даже влиятельным публицистом реакции, ни графом Дмитрием Толстым, ни Катковым и вряд ли даже Карлом-Амалией Грингмутом. Поистине примечательна сама неприметность его роли среди охранителей.

Тихомирова прежде всего оставил его литературный талант, а с ним нота искренности, которая еще звучала в его первых вещах периода предательства. Обращаясь с письмом к Лаврову, П. Б. Аксельрод находит, например, эту ноту даже на страницах брошюры «Почему я перестал быть революционером?» Первое время читателей обоих лагерей интересовал еще некоторый задор и пикантность не то обличений, не то разоблачений Тихомирова в «Московских Ведомостях». Но скоро ни враги, ни друзья его не стали почти совсем интересоваться его серыми, тусклыми, порою претенциозными по тону, но всегда банальными по содержанию статьями.

На тех же столбцах «Московских Ведомостей» можно было найти целую уйму виртуозов мрачного охранительства куда талантливее Тихомирова. А по части клоунов охранительства веселого не было балагана занятнее для читателя, чем балаган «Нового Времени». На долю же Тихомирова не выпадало даже успеха скандала. Его противники стали читать его, позевывая, а скоро и совсем перестали читать. Его друзья из охранительного лагеря по обязанности похваливали его, а в душе были рады, что в лице такого крупного перебежчика для них не выросло, как они того боялись раньше, опасного конкурента по уловлению расположения начальства. Лишь один раз Тихомиров был удостоен серьезной полемики с людьми прогрессивного лагеря. Это когда Владимир Соловьев, играючи, оттрепал нашего «назадняка» за его поистине изуверские размышления по поводу христианства вообще и православия в частности, показав, что и

в этом вопросе, где Тихомиров считал себя специалистом, его невежество равнялось разве лишь его самомнению.

Это понижение, можно сказать, почти полное исчезновение такой сильной стороны индивидуальности Тихомирова, как литературный талант, свидетельствовало как нельзя лучше о том, что огромное самолюбие этого мнимого вожака партии совершенно не соответствовало ни его малым душевным силам, ни особенно его слабой самостоятельности. Выше уже было сказано, в какой степени Тихомиров нуждался постоянно в воздействии на него действительно инициативных личностей, людей светлого ума и могучей воли. И с юности его окружали выдающиеся представители тогдашнего революционного движения, а через них формировала в определенном смысле его очень пластическую душу великая тяга России 70-х и 80-х годов к свободе и социализму. У юного Тихомирова не было поэтому другой религии, кроме социальной религии человечества. А в первые годы его зрелости к этому влиянию присоединилось воздействие демократических идеалов Народной Воли. Высокие идеи и самоотверженные герои были возбудителями умственной жизни Тихомирова, который отличался, повторим еще раз, большою восприимчивостью и умением формулировать среднюю равнодействующую идейных течений, в водовороте которых он находился. У него был запас мыслей, чувств, цитат из любимых писателей русской революционной интеллигенции. А непосредственное влияние его друзей, среди которых было столько самоотверженных личностей, подтягивало на значительную высоту слабые струны его души. При таких условиях природный литературный талант Тихомирова мог достигнуть значительной напряженности и энергии. С его пера падали на бумагу слова, которые вдохновляли немалую долю молодежи, отдавшей себя на служение русскому народу и всемирному социализму.

Но что произошло с Тихомировым, когда другие течения, течения реакции, перетянули его в противоположный лагерь? Обычный круг представлений отходил у него на задний план. Мало того, он сам старался покрыть его другими, совершенно противоположными представлениями. Чувства, возбуждавшиеся у него старой ассоциацией идей, переставали звучать. Но новая ассоциация идей не создавала у него надлежащего созвучия новых чувств. Можно было перейти в лагерь реакции. Но нельзя было импровизировать себя реакционером, нельзя было переделать себя в 40 лет в действительно убежденного монархиста.

У Тихомирова не было никогда органически сросшихся с ним убеждений. Но у него были возбудители умственной и нравственной энергии в лице его глубоко убежденных, сильных умом и волею товарищей, целиком отдавших себя на служение высоким идеалам. И его слабая, восприимчивая душа настраивалась по их героическому камертону. Но можно ли было Тихомирову найти соответствующих возбудителей светлых мыслей

и альтруистических чувств в монархическом лагере, особенно в реакционном авангарде его? Конечно, нет! И Тихомирову приходилось внешним образом усваивать новое, реакционное мировоззрение, перенимать монархическую аргументацию, подделываться под язык и стиль сторонников царского самодержавия, и сторонников по большей части корыстных. Конечно, при таких условиях, мог захиреть и исчезнуть и самый крупный литературный талант. И если не огромный, то выдающийся талант Тихомирова захирел и исчез.

Мы старались связать воедино различные черты умственной и нравственной физиономии Тихомирова и построить на основании их его действительную личность, насколько нам давали право на это наши личные и чужие наблюдения над ним и опыт совместной работы с ним как нас самих, так и его старых товарищей. В заключительном итоге можно сказать, что ренегатсво Тихомирова было не великой трагедией великой души, а житейской драмой в общем второразрядного человека, которого жестокие условия русской действительности временно поставили на один из самых ответственных исторических постов. И он был раздавлен непомерною для него тежестью роли, как раздавливается под несоответствующим грузом штукатурный пьедестал, выкрашенный под гранит.

VII

Буланжизм и Панама.—Рост французского социализма.—Личность и влияние Жорэса.—Мое приключение с семьей Бахофена.—Я—сотрудник „Форвертса".—Голод в России и мое свидание с Энгельсом.—Франко-русская политика: встречи русских моряков и царя во Франции; преследования русских революционеров.—Убийство Падлевским генерала Селиверстова, и я у судебного следователя Гийо.

В начале 1889 г. Тихомиров оставил Париж и окончательно погрузился в слякоть русского охранительства, юркнув в редакцию «Московских Ведомостей». Наступало последнее десятилетие закатывавшегося XIX столетия,—французы уже стали называть эти времена «концом века»,—эпоха, которая была интересна во многих отношениях, эпоха, заполненная явлениями пестрого, неоднородного, смешанного, то прогрессивного, то реакционного характера, с преобладанием одного для одних стран, другого для других, и по тому самому не поддающаяся сплошной короткой оценке.

Во Франции прокидывалось первое и глубокое разочарование масс в оппортунистической республике. На республиканскую форму рабочий класс и мелкая буржуазия возлагали большие надежды. «Новые слои», появление которых более десяти лет тому назад приветствовал Гамбетта, требовали, чтобы эта новая форма была заполнена и новым содержанием. Но «республика без республиканцев», «республика, окруженная монархическими учреждениями», как горько-негодующе называли ее истинные демократы, и не думала итти навстречу желаниям масс. Наоборот, она упиралась на пути неизбежного развития, и если сделала успехи в области светского народного образования, если дала печати почти неограниченную свободу, то упрямо отказывалась от всякой серьезной социальной реформы. Стоящие у власти оппортунисты полагали, что если им было хорошо, то едва-ли еще не лучше было и всему народу,—на манер Мольеровского персонажа: «Когда я хорошо выпил и хорошо поел, я хочу, чтобы все были пьяны в моем доме».

С другой стороны, соперничая в крикливом патриотизме с представителями побежденных монархистов и бонапартист-

ских партий, оппортунисты отравили душу народа проповедью реванша. Если Гамбетта увещевал еще своих соотечественников «всегда думать об этом (о возвращении Эльзаса и Лотарингии), но никогда не говорить», то его преемники гораздо больше болтали по этому поводу, чем на самом деле серьезно думали о подготовлении к борьбе с могущественной Германией, а между тем разжигали шовинистские страсти в населении.

Из этих-то двух особенностей политики господствующей партии и создалась почва для буланжизма. Разочарование масс в способности Третьей республики к социальному творчеству, все возрастающие националистические тенденции в мелкой буржуазии и других слоях населения сделали из «бравого генерала» Буланже главу «синдиката недовольных», составившегося из причудливого сочетания крайних левых и крайних правых элементов, между тем как политиканы монархического лагеря и честолюбцы из оставшихся не у дел представителей радикальной партии всячески старались скреплять этот противоестественный союз тактикой громких обещаний и двусмысленных заявлений.

Действительно, что, казалось бы, было общего между кондуктором омнибуса, который в то время еле зарабатывал в месяц сто франков, и богатейшею герцогиней д'Юзес? И, однако, человек из народа посылал последние гроши в кассу «национального» (буланжистского) комитета своего квартала, а знатная дама жертвовала, по приглашению орлеанистского претендента на престол Франции, три миллиона франков на издержки буланжистской агитации. И один и тот же значок,—цветок красной гвоздики,—красовался на грубой блузе рабочего и на изящном платье от Ворта герцогини.

Наиболее высоко поднялась на политическом небосклоне звезда Буланже в начале 1889 г., когда на январских выборах в Париже он получил значительное большинство голосов по сравнению с кандидатом республиканской коалиции. Положение дел становилось серьезным. Выборы Буланже то там, то сям в провинции принимали характер плебисцита. Его успех в столице, долго считавшейся цитаделью радикальной демократии, делал его чрезвычайно опасным врагом свободных учреждений. Я помню, какой печальный разговор по этому поводу мне пришлось вести с братом Элизэ Реклю, Эли, с которым я познакомился в издательстве Гашетта, где он был библиотекарем большой географической библиотеки, уступленной фирме Вивьеном де Сен-Мартэном за изрядную сумму, с правом пользоваться ею до смерти.

Эли Реклю был в то время 60-летним плотным, слегка сутулым мужчиной, выше среднего роста, с седеющими волосами и седеющей бородой, с добродушным, но умным лицом и карими, порою иронически глядевшими глазами. Он был на несколько лет старше Элизэ и пользовался общею любовью и уважением

среди своих братьев и сестер, которые единодушно признавали в нем самого ученого и многосторонне образованного члена их семьи. В сущности, в его учености было много архаического, причудливого, но он действительно удерживал в памяти много фактов, главным образом, из области социологии, небезынтересно их комментировал, и лишь недостаток истинной обобщающей мысли помешал ему оставить след на французской науке об общественных учреждениях.

Он был социалистом того неопределенного направления, которое было так распространено среди французов времен Второй империи. В юности был учеником Фурье, позже вел энергичную борьбу в рядах крайних демократов против бонапартистского режима, правительством Коммуны был назначен библиотекарем Национальной библиотеки, которую спас от разрушения во время гражданской войны, бежал в числе многих других коммунаров за границу, кое-как перебивался уроками и публицистикой в Швейцарии, Бельгии, Англии, под псевдонимами писал, между прочим, в благосветловском «Деле», возвратился по амнистии во Францию и здесь жил в довольно стесненных обстоятельствах, скоро разочаровавшись в оппортунистической республике и не примкнув ни к одной из крайних партий, хотя в общем сочувствуя им. В политическом отношении он приближался скорее к анархизму, в социальном, потеряв надежду на осуществление фурьеристских фаланстериев, стал сторонником мелкой земельной собственности, считая лишь необходимым подправить ее деревенской кооперацией и неотчуждаемым крестьянским наделом.

Вообще, скептически относившийся к современной политике, Эли Реклю воспринимал однако с болью в сердце успехи буланжизма и на сей раз отодвинул даже в сторону свое полуанархическое отрицание всеобщей подачи голосов и принимал более или менее деятельное участие в избирательной борьбе против Буланже. Он был в числе граждан, подавших на январских выборах 1889 г. свой голос за бесцветного республиканского кандидата, некоего Жака, — «бедного Жака»,—как над ним издевались буланжисты, — лишь бы не был выбран Буланже, и был серьезно огорчен и встревожен, узнав о колоссальном успехе бравого генерала.

Мы встретились с ним у Гашетта утром в понедельник, который следовал за злополучным выборным воскресеньем, и долго делились впечатлениями по поводу происходивших событий. Его скептицизм принимал теперь почти скорбную форму.

— Нет, знаете, я негодую на себя за участие во вчерашних выборах... Глуп еще народ, глупо еще человечество, и его глупости хватит на целый век политическим авантюристам и тому подобным негодяям, которые издеваются над этим стадом баранов и стригут их до-гола... Да и кандидата же мы выбрали... Разве можно было отчаянному демагогу противоставлять та-

кого ничтожного, бесцветного, еле-еле розового радикальчика?..

Я был молод и кипел негодованием. Скорбный пессимизм Эли Реклю больно отозвался в моем юном сердце, и я никак не хотел согласиться с его взглядом на общежитие людей. В чисто русском духе я говорил о долге «героев» влиять на «толпу», о роли инициативного меньшинства, увлекающего за собой большинство, о той «священной рати борцов, которая путем прогресса ведет за собой все человечество»,—цитировал я Виктора Гюго.

А Эли Реклю, сочувственно относясь к моему кипенью и бурленью, продолжал, однако, развивать свою пессимистическую точку зрения:

— Ах, мы, так называемые пионеры, или, как вы выражаетесь, герои, слишком нетерпеливы. Наша жизнь слишком коротка, мы настоящие подёнки и меряем все этою короткою мерою. Но человечество—исполинский зверь. Оно живет бесконечно долгою жизнью. Втечение целого века его огромное сердце сделает, быть может, всего пять биений, и на сто лет придется лишь одно его дыхание и выдыхание. Смешно предполагать, что это чудовище будет приспособлять свои вековые процессы к нашим скоротечным, минутным процессам... Поэтому, терпение, терпение...

— Но, ведь, этак может случиться, что вся жизнь отдельного человека пройдет между двумя вдыханиями вашего зверя, и до него не дойдет ни одного освежающего общественного дуновения... Что тогда делать?

— Задыхаться, умирать, но умирать стоически, не жалуясь, как учит нас своею «Смертью волка» Альфред де Виньи...

Эли на минуту приостановился и заговорил глубоко сердечным тоном:

— Ах, мой юный друг, поверьте, я понимаю и чувствую, как тяжело это несоответствие между полетом наших идеалов и великою косностью человечества... Я вот стараюсь иронизировать над вашим нетерпением, а самого сверлит тяжелая мысль, что Франция, кажется, не поумнела с 1848 г., когда она сделала президентом злополучной Второй республики такого авантюриста, как Луи Бонапарт, а теперь бредит проходимцем еще более низкого пошиба... Нет, как бы мы ни расходились во взглядах на современные задачи, мы должны бороться против Буланже, даже и не особенно доверяя политическому смыслу народа... Этот бравый генерал всех нас разошлет по Ламбессам и Кайенам... Это вот только мой брат Онэзим,—золотое сердце, но дитя умом,—ждет всяческого благополучия для Франции от воцарения Жоржа I...

Жоржем звали Буланже. Онэзим, один из младших братьев Эли, был единственным, если не ошибаюсь, членом семьи Реклю, который, в противоположность фурьеристу Эли, анархисту Элизэ, радикалу Полю, умеренному республиканцу Ар-

ману и т. д., исповедывал крайние монархические убеждения. Оригинальничавший, но не оригинальный, добрый, но тщеславный, он в самой ранней молодости старался выделить чем-нибудь свою индивидуальность из окружавших его людей и не нашел ничего лучшего, как поступать совершенно обратно наиболее крайнему в политическом отношении брату Элизэ. Это была его обычная линия поведения.

Элизэ шел налево,—Онэзим шел направо. Элизэ перешел в ряды анархистов, — Онэзим стал отчаянным монархистом. Во время Мак-Магоновского переворота Элизэ, находившийся в эту пору в Швейцарии, несмотря на анархистское отрицание парламентаризма, письменно советовал своим друзьям бороться против «партии порядка» путем выборной агитации,—Онэзим демонстративно голосовал за реакционеров. И теперь, тогда как Элизэ, будучи врагом всякой государственной власти, предостерегал все-таки своих единомышленников против тактики пользоваться буланжизмом, как тараном для низвержения буржуазной республики,—Онэзим с превеликим усердием разыгрывал роль убежденного буланжиста и самого крайнего патриота, а по существу любил на свете лишь свой родной городок на юге, Сэнт-Фуа-ла-Гранд, своих многочисленных домочадцев, которых он считал всех за гениев, и свою географию Франции, «несравненной страны», которую он изобразил в ряде книжек, совершенно ненаучных по характеру, написанных курьезным, напыщенным слогом, подражавшим Виктору Гюго, с прибавлением грубых выражений, оставшихся у него от времен молодости, когда он служил добровольцем в зуавах.

Плотный, коротконогий, с типичным лицом южанина и манерами Тартарэна из Тараскона, с неизменным баскским беретом на густой черной шевелюре, он во время своих ежемесячных посещений Парижа шагал быстро по улицам столицы, стараясь удивить своим видом проходящих и детски торжествуя, когда в книжном магазине один из приказчиков вполголоса говорил другому: «а это известный Онэзим Реклю»,—остальное же время мирно поживал в Сэнт-Фуа-ла-Гранд, достопримечательностью которого он в некотором роде являлся.

Образы старшего и младшего братьев Элизэ Реклю отвели меня немного в сторону от Буланже и буланжизма. Впрочем, это движение, потрясавшее Францию втечение трех лет, прогорев соломенным огнем, так же быстро сошло на нет, как и возникло. Буланже оказался очень мелким честолюбцем и большим жуиром, который в конце-концов был одурачен ловким министром внутренних дел, Констансом, напугавшим его немедленным арестом и судом за измену отечеству, и пустился в добровольные бега за границу, чтобы два года спустя кончить жизнь самоубийством в Брюсселе, на могиле своей любовницы. Сочувствие широких слоев населения отхлынуло от этого неудачного «трубадура», как его назвал, если не ошибаюсь, Александр Дюма-сын. Но в массах осталось чувство глубокой неудовле-

творенности, которое было первым предостережением страны политическому оппортунизму, забывшему о важных социальных задачах республики, и через два-три года, обострившись под влиянием новых обстоятельств, должно было вызвать, впервые после стольких лет, возрождение и расширение французского социализма.

Начало конца буланжизма совпало с открытием Всемирной парижской выставки 1889 г., которая была приурочена к празднованию столетней годовщины Великой французской революции и привлекла в столицу Третьей республики массу посетителей из разных стран. Предшествующая Всемирная парижская выставка 1867 г. была последним лучом блестящей, но прогнившей насквозь императорской Франции, которая шла неудержимо к падению и приняла позорный конец на полях Седана и Меца. Выставка 1889 г. знаменовала промышленное и идейное возрождение республиканской Франции, которая, несмотря на все трудности своего внутреннего и внешнего положения, начинала снова играть значительную роль среди культурных государств.

Артистический вкус французского народа, уменье выдвинуть и вещи, и идеи с казового конца нашли блестящее выражение на выставке 1889 г., которая у многих оставила неизгладимое впечатление до конца жизни. На огромном пространстве от Трокадеро до Марсова поля вырос сказочный город галлерей, дворцов и садов, где различные нации встретились на почве промышленного и культурного соперничества, наглядно свидетельствуя о том, каким великим расцветом для человечества мог бы стать уже теперь настоящий интернационализм, связывая отдельные народы в одну огромную семью, если бы не было враждующих государств и науськивающих нацию на нацию ура-патриотов.

Некоторые монархические правительства считали нужным сделать вид, будто они будируют на республиканскую Францию, которая осмелилась, видите ли, самым выбором года напомнить о том, что сто лет тому назад французский народ провозгласил бессмертные идеи свободы, равенства и братской солидарности всех людей. Но те же самые правительства не могли бороться с тягой их народов показать свои технические успехи на парижской выставке. Они понимали, что не участвовать в этом всемирном проявлении международного человеческого гения значило бы демонстративно исключить себя из разряда действительно цивилизованных стран. Отсюда комедия официального и неофициального участия, при чем зачастую оказывалось, что нации, не представленные официально их правительствами, были особенно хорошо представлены в промышленном и идейном отношениях. Так, все останавливались перед огромным усилием человеческого ума, проявлявшимся в отделениях и в витринах Германии. Жалок был русский отдел, потому что, несмотря на начавшееся

заигрывание царского самодержавия с оппортунистской республикой, петербургское правительство не только отказалось от всякого официального участия на выставке страны, карманы которой оно принялось основательно очищать путем займов, но и всячески препятствовало тому, чтобы гений управляемого, то-есть, в сущности подавляемого и эксплуатируемого им народа мог надлежащим образом проявиться на выставке. Наша кустарная промышленность, культурная работа наших земств, работа нашей интеллигенции в области народного просвещения, наша несравненная литература, — ничего из всего этого не нашло соответствующего выражения на выставке, и дело ограничилось сибирскими соболями, парчами и некоторыми продуктами нефтяной промышленности.

Международный характер выставки 1889 г. хорошо проявился на различных международных же промышленных, научных, политических конгрессах. Здесь общение человечества, несмотря на все препятствия, поставляемые ему старым миром, старыми государствами, старыми идеями, находило себе надлежащее выражение. В общеполитическом отношении был особенно важен международный социалистический конгресс, точнее говоря, два соперничающих социалистических конгресса, — один, созванный поссибилистами, другой, организованный гэдистами. Но первый, вследствие значительного присутствия английских рабочих и слабого участия социалистов других стран, носил скорее трэд'юнионистский характер и не имел большого международного значения. Второй, где присутствовала немецкая социал-демократия, положил основание Второму Интернационалу. Надо заметить, что чуткий Лавров, который не только участвовал на этом конгрессе в качестве представителя Народной Воли, но и был гостем на банкете, устроенном гэдистами, не без укоризны отметил в дружеском разговоре со мной чересчур резкое идейное преобладание немецких социал-демократов, которые не только играли первую роль на конгрессе, но и старались с характерным для немцев отсутствием такта дать почувствовать это другим участникам конгресса.

— Помилуйте, Н. С., я — убежденный интернационалист и уважаю германскую социал-демократию. Но, право, порою мне было не по себе, когда я встречался с особенно резкими проявлениями этой немецкой заносчивости...[1]). Подумайте, даже на банкете, который как-никак был организован французскими социалистами и в столице французской республики, немцы все время пели свои песни и почти не давали возможности рта раскрыть другим нациям. Правда, они были многочисленнее и организованнее других социалистических партий,

[1]) Говорить о „немецкой" заносчивости, о характерном для „немцев" отсутствии такта и в то же время отрицать „великорусский шовинизм" (см. примечание к стр. 41),—пусть читатель судит, насколько это последовательно.

и французские марксисты особенно дорожили этими гостями. Но все же господа немцы чересчур выдвигались всюду вперед...

Мне невольно припоминалось это суждение Лаврова, который сам был марксистом, о некоторых отличительных свойствах немецкой социал-демократии, всякий раз, когда во время и после войны мне приходилось задумываться о великом крахе Второго Интернационала. Не потому ли и рухнула так легко эта социалистическая международная организация, что в ней всегда преобладала немецкая социал-демократия, а эта большая партия, отличаясь организованностью, была, в сущности, наименее революционной и никогда не хотела принимать резкие антимилитаристские решения социалистических партий других стран, так как все оценивала с точки зрения внутренних немецких условий и избирательных интересов своей партии [1]).

В 1889 г. преобладание марксистских тенденций на международном конгрессе гэдистов воспринималось большинством участников скорее как залог действительно интернационального характера создавшегося социалистического единения, и восторгом была встречена резолюция о праздновании во всем мире 1-го Мая, как великого торжества международного труда с главнейшим требованием 8-часового рабочего дня. После подавления Парижской коммуны и годов преследования европейскими правительствами остатков старого Интернационала международный социализм снова появлялся на исторической сцене, и в каждой стране социалистические партии и рабочие организации начинали играть все более и более значительную роль.

Исключение составляла, пожалуй, лишь одна Россия, где вторая половина 80-х годов была, наоборот, периодом все усиливающейся реакции, которая уже не ограничивалась борьбой с социалистическими и революционными партиями, но перешла в наступление против всего либерального движения 60-х годов и доламывала последние реформы, оставшиеся от этой эпохи. Старая Народная Воля перестала существовать в России, хотя защитники ее программы продолжали действовать за границей. Можно упомянуть, например, наш кружок так называемых Старых Народовольцев, который состоял из Лаврова (как союзника), Ошаниной, Рубановича, Серебрякова, Чернявской-Бохановской, пишущего эти строки и т. д. Тогда как организация молодых народовольцев, неудачно пытавшаяся устроить в Петербурге второе 1-ое Марта (1887 г.) и потерпевшая тяжелые утраты в лице повешенных Ульянова

[1]) Что немецкая социал-демократия обанкротилась в 1914 и дальнейших годах,—это общеизвестно. Но автор совершенно искажает картину, забывая добавить, что и русская, и французская, и английская и т. д. социал-демократии, а также и родная автору партия социалистов-революционеров, в неменьшей мере обнаружили свое разложение и свой шовинизм.

(брата Владимира Ленина), Генералова, Андреюшкина, была тоже почти совсем разгромлена в России, а эмигрировавшие за границу ее наиболее деятельные члены, в роде Гнатовского-Прекера, Дембо и т. п., были убежденными, но отнюдь не инициативными личностями и из всей широкой революционной тактики Народной Воли восприняли только политический террор.

Нельзя сказать, чтобы и женевская «Группа освобождения труда», возглавлявшаяся Г. В. Плехановым и П. Б. Аксельродом и проводившая резко марксистские идеи, имела в то время политическое влияние. Она, правда, усердно занималась литературною деятельностью, и ее периодический сборник «Социалдемократ», благодаря талантливым статьям Плеханова, пользовался сочувствием некоторых кругов молодежи и людей из общества. Ее политическая роль в России была пока ничтожна, за границей несколько заметнее, так как ее представители поддерживали постоянные сношения с международным социализмом, и у Аксельрода имелись связи с немецкой социал-демократией, а у Плеханова с французскими гэдистами и прежде всего с самим Гэдом.

Вообще, в это время русский социализм, особенно революционный, находился в периоде упадка, и тем из нас, которые оставались верными ему, приходилось гораздо чаще развивать идеи, выступая более или менее независимо, говоря за себя, чем в качестве членов определенной организации. Лично я в конце 80-х годов сделал две работы, давшие мне некоторое удовлетворение: статью о жизни и сочинениях Бахофена и предисловие к русскому переводу популярного изложения Каутским экономического учения Маркса.

Первая статья была напечатана мною в «Русской Мысли» за 1889 г., и толчок к ней был мне дан моим добрым другом, Эли Реклю, который сам раньше писал о Бахофене и посоветовал мне воспользоваться недавнею смертью знаменитого антиквария-социолога, чтобы познакомить с ним русскую читающую публику. Я очень серьезно принялся за эту задачу, прочитал большинство сочинений Бахофена, особенно его громоздкую, бесформенную, но почти гениальную книгу о «Материнском праве», с пером в руках и тщательно проверяя все даваемые автором цитаты из древних и новых писателей, а кроме того, проштудировал главнейших социологов и историков культуры нашего времени вроде Лёббока, Тейлора, Мэна, Мак-Леннана, Льюиса, Моргана, Липперта и других. В результате получилась статья в два печатных листа, которая стоила мне нескольких месяцев упорного труда и удовлетворила своею добросовестностью такого компетентного судью в этой области, каким был Лавров, высказавший мне очень благоприятное мнение о моем этюде.

С этой статьей у меня связано забавное воспоминание. Приготовляясь к ней, я обратился, по совету Эли Реклю, за

биографическими сведениями к одному из лучших учеников Бахофена, швейцарцу Жиро-Телону, который еще в 70-х годах популяризировал идеи своего учителя, а теперь жил в Париже и с большой готовностью снабдил меня требовавшимися данными, взяв лишь с меня обещание подробно познакомить его с выводами моей работы. Когда статья появилась в московском журнале и мною были получены отдельные оттиски, я, как ни был занят, счел необходимым исполнить обещание, данное мною Жиро-Телону, и решил сделать это в форме точного и полного перевода своего этюда на французский, который и послал швейцарскому ученому.

Через несколько месяцев я мирно проводил свои августовские каникулы на берегу моря, в Бретани, с семьей и знакомыми, как вдруг на мое имя скромная почта в местечке Сэн-Бриак получила из Швейцарии ценный пакет. В пакете было вложено два письма, одно от Жиро-Телона, другое от семьи Бахофена, и 500 франков. Жиро-Телон рассыпался в комплиментах по поводу моей статьи и извещал меня, что познакомил с моим переводом и семью Бахофена, которая разделяет восхищение моей работой, о чем свидетельствует прилагаемое в том же конверте письмо старшего сына Бахофена, равно как присовокупляемые к нему 500 франков.

Письмо Жиро-Телона заканчивалось просьбой принять к сведению одно важное указание Бахофенов, каковое указание я найду в письме сына. Это письмо повторяло почти слово в слово комплименты Жиро-Телона, говорило о посылке мне 500 франков, «в знак благодарности за прекрасную работу о моем покойном отце», и заключалось довольно неожиданно курьезной просьбой: «Моя матушка и семья очень просим вас, в случае переиздания Вашей превосходной статьи, внести в нее важную поправку: Вы говорите о моем отце, как о владельце нескольких миллионов франков, между тем как наше состояние далеко не так значительно. Мы не знаем, кто дал Вам это неверное сведение. Но оно может повредить нам. Мы поселились в настоящее время в Цюрихском кантоне, где существует прогрессивный налог на капиталы и доходы. И вот мы очень беспокоимся, что кантональные власти, на основании неточных данных, сообщенных в Вашей, повторяем, превосходной статье, могут возложить на нас чрезмерно тяжелое податное бремя. Заранее благодаря Вас за исполнение нашей усиленной просьбы, просим Вас принять уверение в самом искреннем моем и моей матушки почтении. Иоганн-Якоб-Бахофен».

Я был тогда молод и очень импульсивен. Такая бюргерская предусмотрительность, о какой свидетельствовала просьба Бахофенов, в своем налоговом страхе вообразивших, что фиск сейчас же кинется на мою работу и обложит на основании ее их миллионы, и присовокупление к «усиленной просьбе» 500 франков привели меня в негодование. Мне пока-

залось, что меня хотят подкупить. И с отходящей же почтой я отослал почтенной семье ее деньги, при письме, где говорил о том, что неточное сведение, если оно неточно (мне сообщил его сам Жиро-Телон), будет, конечно, исправлено при первой же возможности, но что ни в какой денежной благодарности за свою работу я не нуждаюсь, так как моей лучшей наградой было высокое умственное наслаждение, которое я получил, изучая такого оригинального мыслителя, каким был Бахофен.

На расстоянии тридцати-шести лет вся эта история представляется мне скорее комичной, но тогда она глубоко взволновала и задела меня. Будь это теперь, я взял бы присланные мне деньги и издал бы на них французский перевод моего этюда, предупредив об этом плане Бахофенов и возвратив им то, что осталось бы от издания. Но в 1889 г. эти 500 франков жгли мне руки, и я не мог дождаться того времени, когда эта сумма вместе с моим письмом будет получена домочадцами Бахофена. Через неделю-две я получил от них большой пакет книг с письмом, в котором они уведомляли меня, что, вполне понимая деликатность чувств, проявленных мною в данном случае, но все же желая выразить свою большую признательность, они, по совету Жиро-Телона, посылают мне все сочинения Бахофена, какие они только могли найти, и просят принять их в дар, как выражение их глубокого уважения ко мне. На сей раз посылка привела меня в восхищение. Несмотря на свое большое состояние, Бахофен не думал при жизни издать все свои сочинения, а родные не считали нужным сделать это после его смерти. Между тем, кроме больших сочинений «Материнское право», «Антикварские письма», «Надгробная символистика древних» и т. п., им было написано много этюдов, брошюр и статей, рассеянных в разных специальных изданиях и заключавших в себе интересные дополнения его основной мысли о развитии семейных учреждений. И я очень гордился моей действительно редкой коллекцией работ Бахофена, начиная с его докторской диссертации на латинском языке — об одном из вопросов облигационного римского права — и кончая исследованием о культе медведя-предка у наших остяков.

Другой работой, доставившей мне в то время некоторое нравственное удовлетворение, был изданный «кружком молодых народовольцев» в Швейцарии проредактированный мною перевод на русский язык значительной части популярного изложения Каутским экономического учения Маркса. Я снабдил вышедшую часть перевода примечаниями, в которых пытался обратить внимание читателей на нерешенные вопросы марксизма, и предисловием, где я высказал свой взгляд на экономическое развитие России. Основным положением этого очерка было указание на значительное, но лишь спорадическое развитие нашего субсидируемого правительством крупного капитализма при живучести первобытных форм землевладения

и промышленности: земельной общины и кустарного производства. Я упоминаю об этом потому, что мои идейные приятели указывали мне на появление в России, а именно в «Юридическом Вестнике», статьи по этому же вопросу одного из официальных русских экономистов, кажется, проф. Каблукова, статьи, в которой они находили очень сильное влияние моего предисловия [1]).

Более деятельное участие в революционной литературной работе я стал принимать с начала 90-х годов, когда пробуждение общественной жизни в России вызвало всегдашним естественным рикошетом и оживление русских революционных групп за границей. Прежде всего, предательство Тихомирова, которое, по мнению самого ренегата и его новых единомышленников, должно было вызвать подражание среди революционеров и толкнуть их на примирение с царским правительством, произвело совершенно обратное действие. Каждый из нас словно испытал сильный электрический удар и стал внимательнее анализировать свои собственные мысли и чувства и больше сближаться со своими идейными товарищами, ища в этой взаимной поддержке лекарства против своей и чужой слабости, упадка духа, разочарования, всегда возможных в тяжелых условиях эмигрантской жизни, особенно в эпоху «торжествующей свиньи».

Народовольцы сгруппировались вокруг своего верного союзника Лаврова. Мы составили с ним уже упоминавшийся выше «кружок старых народовольцев» и старались коллективными выступлениями напоминать о существовании, если не партии, то программы Народной Воли, как программы революционных деятелей, которые, нисколько не жертвуя социализмом, вели против самодержавия непримиримую борьбу во имя политической свободы и народоправства. Сначала мы выпускали отдельные брошюры, позже принялись за издание непериодического сборника «Материалы по истории русского революционного движения», вторая часть которого, названная нами «С Родины и на родину», была посвящена злобам дня и придавала нашему сборнику характер журнала.

То оживление русской общественной жизни, о котором говорилось выше, было вызвано прежде всего голодом 1891 г. и холерою 1892 г. Естественно, что наши брошюры, как и наш сборник, были посвящены этим ужасным народным бедствиям. По поручению кружка я написал, кроме брошюры «По поводу недавних прокламаций» (против чрезвычайно умерен-

[1]) Указание на „спорадическое развитие нашего субсидируемого правительством крупного капитала“ отнюдь не является оригинальным утверждением Н. Русанова,—наоборот, это обычный трафарет народнической мысли. В частности, начиная с первого номера „Народной Воли“, вышедшего в 1879 г., в любом выпуске этого органа можно найти массу подобных формулировок, так что совершенно напрасно автор приписывает себе сильное влияние на Каблукова.

ного тона либеральных заявлений), брошюру «Голод в России», — обе под псевдонимом «Ивана Сергеевского». В свою очередь «Группа освобождения труда» выпустила брошюру Г. В. Плеханова «Всероссийское разорение». И заходила речь о совместной деятельности народовольцев и социал-демократов для борьбы с голодом и прежде всего с царским правительством, которое своим хищническим хозяйничанием подрывало производительные силы страны, а когда обострение этого печального положения вещей создало страшный голод, не умело само справиться с великим народным несчастием и всячески препятствовало обществу помогать голодающим, так как боялось усиления оппозиции.

С именем Сергеевского для меня связаны личные воспоминания, представляющие, однако, и некоторый общественный интерес. Этот псевдоним я избрал для своих очерков по русской экономической жизни, которые я писал в 1890 — 1891 гг. для официального органа немецкой социал-демократии «Форвертса», тогда как Лавров писал там же статьи на чисто политические темы под именем Семена Петрова. Нас пригласил сотрудничать в этой тогда очень оппозиционной социалистической газете старый Либкнехт, — Лаврова непосредственно, меня через Лаврова. И вот приблизительно каждые две недели появлялись в «Форвертсе» в перемежку лавровские и мои статьи, которые, насколько мы могли судить издали, пользовались вниманием социалистической читающей публики в Германии.

На долю одной из моих статей выпал даже в силу некоторых обстоятельств особый успех. Дело в том, что я дал уже несколько статей в «Форвертс» об истинном экономическом положении России, в том числе и о голоде, и, подводя итоги им, сделал тот общий вывод, что обездолившее народ самодержавие, хотя и против воли, будет вынуждено запретить вывоз хлеба из России, — до такой степени было отчаянно положение десятков миллионов населения. Но наше правительство чрезвычайно усиленно опровергало всякие слухи о возможности такой меры, так как боялось, что это повредит его финансовой тактике усиленных займов, которые оно заключало за границей, особенно же во Франции.

Случилось так, что в одном и том же номере «Форвертса», если не ошибаюсь, в августе 1891 г., были помещены моя статья в виде передовой за подписью, перепечатка еще недавних официозных русских опровержений и телеграмма из Питера о внезапно изданном декрете относительно «временной приостановки вывоза хлеба, муки и т. п. пищевых средств за границу». Редакция откликнулась на эту телеграмму в своем политическом бюллетене. С видимым удовольствием она комментировала тот факт, что между тем, как русские официальные и дружащие с ними правительственные круги в Германии продолжают еще обманывать европейское общественное мнение

относительно размеров голода и уверять, будто всякие толки о предстоящем запрещении вывоза лишь злостные выдумки врагов царского правительства, «наш сотрудник Сергеевский», с свойственным, мол, ему знанием дела заранее вскрыл эту обманную тактику страуса. Он может гордиться тем, что его предвидения оправдались самым блестящим образом, так как его выводы в статье, присланной им несколько дней тому назад и напечатанной нами сегодня, блистательно подтверждаются печатаемой нами в этом же номере телеграммой из Петербурга.

С тех пор за русским товарищем Сергеевским установилась среди читателей «Форвертса» репутация серьезного и добросовестного корреспондента. Это мне пришлось испытать на себе несколько месяцев спустя, весной 1892 г., в разговоре с Энгельсом, у которого я был в Лондоне по поручению моих товарищей и при следующих обстоятельствах.

На мрачном фоне погибавшей тогда от голода народной России была лишь одна светлая, все увеличивавшаяся и разгоравшаяся полоса: пробуждение общественного интереса и рост оппозиционной мысли. Голод заставил встрепенуться многих, которые еще недавно не могли нахвалиться самодержавной Россией, где мудрое правительство удовлетворяет, мол, так хорошо все истинные потребности страны. А сопротивление царской власти малейшему проявлению общественной самодеятельности, помогавшей голодающим, только усилило это оппозиционное настроение. В социалистических же и революционных кругах пробуждалась надежда, деятельно помогая народу, собирать в тоже время на этой почве все живые силы страны для низвержения царского деспотизма. В этом смысле политический переворот был бы, думали мы, лучшим лекарством и против настоящего голода, и особенно против его повторения в будущем. К сожалению, идейная рознь между народовольцами или, выражаясь обще, народниками и начинавшими приобретать некоторое политическое значение марксистами мешала дружному напору на врага народа, прогресса и цивилизации. В том и другом лагере говорилось охотно о необходимости совместной деятельности и даже о временном союзе. Но как только дело доходило до осуществления этого желания на практике, так сейчас же люди начинали сводить теоретические счеты и расскакивались в разные стороны.

И вот среди вожаков немецкой социал-демократии, которая внимательно следила за ростом голода и оппозиции в России, возникла мысль способствовать практическому сближению братьев-врагов. Бебель особенно настаивал на этом плане, и от комитета социал-демократической партии было сделано предложение и «Группе освобождения труда», и нашему кружку избрать уполномоченных для обмена мыслей, при чем Бебель высказывал готовность, если этого пожелают

русские товарищи, присутствовать на совещании. Сначала, казалось, дело пошло на лад, и встреча, для которой предполагалась посылка Плеханова от марксистов, а пишущего эти строки—от нашего кружка, должна была состояться в Лондоне, на квартире у Энгельса. Не знаю в точности, почему этот план расстроился. Но на совещание не явились ни Плеханов, ни Бебель, и в назначенный срок у Энгельса был только я.

Признаться, я был лишь наполовину огорчен этим обстоятельством, так как скептически относился к возможности работать вместе с «Группой освобождения труда» при той идейной вражде, которую она обнаруживала к нам, а вместе с тем моя поездка позволяла мне познакомиться с таким крупным человеком, каким был Энгельс. Некоторые подробности этого свидания навсегда врезались в мою память.

Меня ввели в большую светлую комнату довольно обширной квартиры, помещавшейся недалеко от какого-то парка. В ней сидели два-три мужчины за кружками эля, а поодаль, у окна, молодая женщина. Мне сказали, что то была Каутская. Мужчины говорили между собой то по-немецки, то по-английски, а один из них, пожилой, высокий, с не по росту маленькой головой, большой, уже сильно седой бородой, обрамлявшей энергичное, темное лицо, поднялся при моем приближении с места и, услышав мою фамилию, подошел ко мне и крепко пожал руку:

— Я — Энгельс... Вас знаю немного заочно. Мне уже писал о вашей поездке мой друг Лавров,— сказал по-английски высокий мужчина и спросил, на каком языке я предпочитаю говорить с ним.

Я ответил, что по-французски, и вдруг почувствовал непреодолимое желание высказать Энгельсу свое глубокое уважение к нему. В то время я уже не был марксистом, но во мне улегся и мой воинствующий антимарксизм. И я мог оценить значение исторической личности, стоявшей передо мной у стола.

— Гражданин Энгельс, позвольте русскому социалисту выразить чувство искреннего восхищения человеком, который был достойным другом великого Маркса и который до сих пор является духовным главой социалистического Интернационала.. Лично я еще в годы ранней молодости читал вашу работу о положении английского рабочего класса, и она произвела на меня сильнейшее впечатление, а с тех пор я, как и все социалисты в мире, с величайшим интересом прислушиваюсь к вашему мнению и знакомлюсь с каждой вашей новой вещью, как только она выходить... В вас я вижу живое продолжение, вижу воплощение Маркса...

Высокий человек с маленькой головой засмеялся и остановил меня жестом руки:

— Та-та-та, молодой товарищ... Полноте, к чему этот обмен любезностями между нами, социалистами? Нельзя ли

попроще? У вас горло должно было пересохнуть от этого ораторского упражнения... Присаживайтесь-ка к столу и промочите его вот этой кружкой пива, — и Энгельс посадил меня рядом с собой.

Тем временем гости ушли, и мы остались вдвоем с Энгельсом, если не считать молодой женщины, которая сидела у окна и, повидимому, вся ушла в разборку писем, брошюр, книг, лежавших перед ней на круглом столике.

Энгельс очень внимательно расспрашивал меня о сведениях, которые мы, русские социалисты, получаем из голодающей России, осведомлялся о планах «Группы Лаврова», как он назвал нас, и, в общем, был очень любезен, за исключением некоторых поворотов разговора, когда он чересчур подчеркивал «истинную социалистическую деятельность Плеханова и его друзей» и противоставлял ей «политический романтизм» их противников...

— Нет, за исключением немногих лиц, вы, русские, еще слишком отстали в понимании общественной эволюциии собственной страны. Для вас политическая экономия все еще абстрактная вещь, потому что до сих пор вы не были достаточно втянуты в водоворот промышленного развития, которое выбьет из вашей головы всякий отвлеченный взгляд на ход экономической жизни... Теперь это положение вещей меняется... Шестерня капитализма уже крепко врезалась местами в русскую экономику... Но вы в большинстве случаев не отказались еще от архаических понятий... Впрочем, повторяю, это не ваша вина: сознание отстает от бытия...

Вдруг Энгельс быстро встал и воскликнул:

— Да вот, я кое-что прочту вам из старой русской библиотеки Маркса... Большинство его русских книг я раздал в другие учреждения и людям, которые могут лучше пользоваться ими... Но некоторые вещи я оставил у себя...

И дружески Энгельс попросил меня пройти с ним в соседнюю комнату. То было такое же светлое, такое же обширное помещение, — судя по длинным, приделанным к стене шкапам, библиотека. Энгельс по-прежнему быстро подошел к одной из полок, с мгновение поглядел на нее, сразу, не колеблясь, достал с нее в старом переплете книгу и показал ее мне: то было одно из первых изданий пушкинского «Евгения Онегина».

В аппарате моей, тогда хорошей, памяти словно кто-то нажал кнопку. Мне захотелось показать Энгельсу, что и мы, жертвы «политического романтизма», кое-что читали и кое-что знаем:

— Дорогой гражданин, вы хотели, очевидно, что-то отсюда мне прочитать? Позвольте мне самому прочитать вам цитату, с которой вы собирались познакомить меня.

Энгельс бросил искоса на меня дружелюбно-насмешливый взгляд:

— Сделайте одолжение, — и Энгельс протянул мне книгу. Я сжал в руках томик и продекламировал наизусть:

. . . . . Читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То есть, умел судить о том,
Как государство богатеет,
И отчего, и почему
Не нужно золота ему.
Когда сырой продукт имеет...
Его отец понять не мог
И земли отдавал в залог.

— Доннерветтер... Потцтаузенд... — воскликнул несколько раз по-немецки Энгельс. — Чорт возьми, вы угадали... Верно, верно: эту именно цитату я и хотел прочитать вам. Но что навело вас на это?

— Ассоциация идей.

— Какая?

— Вы хотели, очевидно, процитировать мне нечто, касающееся неизбежной отсталости русской мысли, вытекающей из отсталости русской жизни. Когда я увидел в ваших руках томик «Евгения Онегина», я сейчас же припомнил, что Маркс привел как раз эту цитату — и притом по-русски — в своей «Критике политической экономии», —

Его отец понять не мог
И земли отдавал в залог, —

чтобы показать, что идеи буржуазной политической экономии не могут быть применены к обществу, основанному на труде крепостных...

Насмешливое выражение глаз у Энгельса сменилось совсем дружелюбным:

— О, да вы очень внимательный читатель, гражданин Русанов... А когда вы читали «Критику»?

Разговор перешел у нас на распространение идей Маркса в России, и я рассказал Энгельсу, как рано я лично, вследствие различных благоприятных обстоятельств, мог познакомиться с главнейшими сочинениями его знаменитого друга...

Энгельс с большим интересом вслушивался в мой рассказ и перебил его лишь словами:

— И однако вы не с Плехановым?

Я чувствовал в этом вопросе известное раздражение. Я знал, что члены «Группы освобождения труда» очень несочувственно говорили о «Кружке старых народовольцев» своим единомышленникам-марксистам на Западе и возбуждали в них большое недоверие к нам, как к утопистам и заговорщикам старого типа, целиком пропитанным мелкобуржуазными идеями. Я ответил Энгельсу в самых общих чертах и постарался, насколько мог, указать, в чем заключалось различие в наших взглядах.

Разговор перешел снова на Россию и на ее современное положение. И скоро у нас с Энгельсом вышло разногласие в оценке какого-то факта русской экономической жизни. Едва подавляя, как мне показалось, чувство досады, Энгельс воскликнул:

— Вы должны были бы прочитать по этому поводу статью некоего Сергеевского в «Форвертсе». Он довольно часто пишет в этой газете... Видимо, знающий человек... И он как раз говорит, что говорю я... Вы не видали статей Сергеевского?

Я испытывал чувство немалого замешательства, но вместе с тем и известного удовлетворения, и после минутного колебания сказал, признаюсь, не особенно храбро:

— Видел... даже сам их писал... «Сергеевский» «Форвертса» — это я. Это мой псевдоним, который я выбрал по совету Лаврова для некоторых своих вещей...

Энгельс разразился громким хохотом:

— Право, не поймешь вас, русских: у вас, должно быть, в мозгу перегородки. Тот же самый человек совсем умен в одних вещах и...

Энгельс на секунду остановился.

— Не стесняйтесь, гражданин: совсем глуп в других. Не так ли? — улыбаясь, заметил я.

— И ровно ничего не соображает в других вещах, казалось бы, относящихся, однако, к одной и той же области, — закончил Энгельс.

Мне пришлось защищать Русанова от авторитета Сергеевского и указать Энгельсу на причину кажущегося противоречия между статьями Сергеевского и моей теперешней оценкой вопроса, из-за которого у нас вышло разногласие: Энгельс просто упустил из виду одно обстоятельство, которое заставляло меня иначе смотреть на предмет нашего спора.

Дружески расставаясь со мной, Энгельс высказал сожаление, что у нас не состоялось свидание с Плехановым и Бебелем, и выразил надежду, что союз русских марксистов и народовольцев все же состоится на почве борьбы с голодом и оппозиции правительству [1]). Он передал мне для Лаврова небольшое письмо о том же по-французски, конец которого, кокетничая своими действительно редкими филологическими способностями, он написал по-русски.

Вскоре после встречи с Энгельсом я прекратил свое сотрудничество в «Форвертсе», что, кроме недостатка времени — я был теперь усиленно занят вместе с Лавровым изданием уже упомянутых «Материалов по истории русского революционного движения» — было вызвано еще одним обстоятельством. Весной

---

[1]) Чрезвычайно символистичным является факт присутствия Энгельса и неприбытия Плеханова: Энгельс и Бебель (см. стр. 196) стояли на прежней марксовой точке зрения, а Плеханов, может быть, уже тогда трактовал вопрос о „левом блоке", как оппортунист - реформист. См. примеч. к стр. 85.

1892 г. Бебель, ведя агитацию в восточных провинциях Пруссии, где жило столько поляков, произнес, между прочим, если не ошибаюсь, в Познани большую политическую речь, целиком посвященную польскому вопросу.

В речи этой встречались места, которые резнули меня по сердцу. Я знал, что полонофильство было с давних пор одним из обязательных членов политического символа веры марксистов, и сам разделял негодование, столько раз высказывавшееся Марксом и его друзьями на политику трех восточных монархий, и особенно царской России, раздавивших Польшу. Но в своей речи Бебель зашел так далеко, что требовал ни много ни мало, как восстановления Польши в ее исторических границах.

Я не выдержал и написал Либкнехту, как редактору «Форвертса», письмо, в котором извещал его, что, встретив в газете речь Бебеля перепечатанною без всяких комментариев и считая поэтому «Форвертс» солидарным со взглядами Бебеля на Польшу, я нахожу необходимым отказаться от дальнейшего сотрудничества в органе немецкой социал-демократии. Я делаю это с величайшим огорчением, потому что привык писать в газете, дававшей мне возможность откровенно высказываться по русским делам. Но разделять точку зрения Бебеля и «Форвертса» на польский вопрос я решительно не могу. В своей речи Бебель выступал не как социалист-интернационалист, а как союзник поляков-патриотов. Ибо что значит требование восстановить Польшу в ее исторических границах? Я ненавижу, конечно, насильственную русскую политику, причинившую столько страданий польскому народу, и борюсь против царизма, между прочим, еще и потому, что он подавляет законные стремления порабощенных им народностей. Независимость Польши я признаю, как и все искренние русские социалисты, без всяких оговорок. Но восстановлять исторические границы бывшего польского государства значит посягать на реальные интересы современного русского народа. Ибо было время, когда границы Польши, т-е. собственно Литвы, соединенной с Польшей Люблинской унией 1569 г., проходили по западной части теперешней Калужской губернии. Должно ли отдать и эти территории, издавна населенные чисто русским населением, восстановляемой нами Польше?

В ответ я получил от Либкнехта дружеское, очень интересное письмо, о потере которого, вместе со всем моим архивом, оставшимся в Финляндии в 1907 г., я особенно сожалею. Старый социалист обращал ко мне просьбу не прекращать в «Форвертсе» моего сотрудничества, которым редакция очень дорожит, и старался об'яснить мое расхождение с Бебелем простым недоразумением. Попутно Либкнехт давал оценку своего партийного товарища, как политического деятеля и оратора, оценку, которая делала содержание письма особенно привлекательным. Характеристика Бебеля Либкнехтом — что, действительно, может быть любопытнее этого?

Суть взгляда Либкнехта на Бебеля заключалась в том, что Бебель — человек, одаренный замечательным политическим чутьем, которое не позволяет ему делать грубых ошибок. Но иногда и у Бебеля встречаются промахи, об'ясняемые его другим замечательным даром: он — очень крупный, волнующий массы, но импульсивный оратор, который, начиная речь, сам в точности не всегда знает, где остановится в течении ее, и порою переходит границы, заранее им предположенные. Тут много зависит от аудитории и от ее настроения: устанавливающийся в процессе развития мысли оратором электрический ток сочувствия и одушевления между ним и слушателями может увлечь далеко и такого мастера слова, каким, несомненно, является Бебель. В Познани аудитория Бебеля состояла в значительной степени из поляков, и оратор, согретый энтузиазмом слушателей, бросил в толпу слова, несомненно превзошедшие его основную мысль.

Когда умер Либкнехт, я хотел было напечатать в социалистической прессе это в своем роде замечательное письмо, но по совету Лафаргов отказался от такого намерения, так как, по их мнению, это могло бы возбудить лишние толки во враждебной печати: Либкнехтом стали бы козырять против Бебеля. Когда умер Бебель, было как нельзя более кстати познакомить широкие круги с письмом Либкнехта. Но увы, в это время оно уже было у меня потеряно (или похищено?) вместе с другими документами, составлявшими содержание моего архива.

Надо сказать, что, несмотря на это письмо Либкнехта, я все-таки прекратил мое сотрудничество в «Форвертсе». Как лично для меня ни были лестны дружеские увещания Либкнехта продолжать писать в органе немецкой социал-демократии, я видел, что ни «Форвертс», ни другие газеты партии и не думали отделять себя в польском вопросе от Бебеля, и потому далеко не мог себя чувствовать удовлетворенным сердечным, но частным объяснением со мной хотя бы и одного из влиятельнейших вождей социал-демократов.

Кроме того, как я уже сказал, все свободное (от моих обязательных хлебных занятий) время я должен был отдавать теперь на редактирование—с Лавровым—нашего сборника и на писание в нем статей, особенно внутреннего обозрения, которое я вел в нем в течение четырех лет, пока существовало наше издание. Оно выросло в 1892 г., в период начавшегося под влиянием голода оживления русской общественной жизни, из наших брошюр и, если в своей первой и основной части было посвящено теоретическим и историческим статьям по социализму — отсюда его название «Материалов по истории русского революционного движения», — то под влиянием событий в России и потребности общения с ней к этой первой части была присоединена нами с самого начала же вторая часть «С родины и на родину», носившая уже злободневный характер.

Издававшийся фактически под лавровской, а особенно моей редакцией, наш сборник был выразителем мнений той группы лиц, которая осталась существовать еще от второй половины 80-х годов под названием «Кружка старых народовольцев». Наиболее деятельными сотрудниками были мы с Лавровым, — он преимущественно в первой части, я больше во второй. Большую историческую статью о «Земле и Воле» дал Серебряков. Рубанович написал очерк, посвященный отзывам иностранной печати о русском революционном движении. Ошанина вела хронику революционной борьбы. У нас установились связи с родиной, и ряд корреспонденций, присылавшихся нам с разных концов России, свидетельствовал об интересе, который наше издание стало возбуждать среди довольно широких слоев революционной молодежи и рабочих.

Мы сохраняли нашу позицию, которая выражала, по нашему крайнему разумению, в достаточной чистоте основные принципы народовольчества, без всяких затушевываний, но и без преувеличений. Мы стремились распространять идеи революционного социализма, одновременно борющегося и за торжество труда, и за политическую свободу, потому что, увы, Россия столь отстала в своем развитии, что ей приходилось решать вместе социальный и политический вопросы, и русские социалисты были вынуждены заниматься в одно и то же время и своей специальной деятельностью подготовления социальной революции, и добыванием свободного политического строя, на Западе сменившего старый режим, благодаря усилиям тогда революционной буржуазии.

В особенности мы боролись против ребяческого бомбизма, представителем которого был Владимир Бурцев и который еще в 1890 г. повел к аресту и суду нескольких юных русских террористов. Эти хорошие, но наивные люди — Теплов, Рейнштейн, Накашидзе, Кашинцев — работали из-за границы над подготовлением покушений в России, фабрикуя, при просвещенном содействии неизменного агента-провокатора Ландейзена-Гартинга, бомбы в Париже и пробуя их перед бросанием в царя над дубами и буками в лесу Фонтенебло.

Между тем, борьба между народниками и марксистами становилась все ожесточеннее как за границей, так и в России. «Группа освобождения труда» стала приобретать себе все больше и больше сторонников среди революционной молодежи, а также, как ни странно могло бы это показаться на первый раз, среди людей общества, сочувственно относившихся к идее водворения в России просвещенного капитализма. На международных социалистических конгрессах эта группа имела тоже немалый успех, выдвигая своих членов, как представителей единственного настоящего социализма в России, и изображая всех других русских социалистов в виде мелко-буржуазных утопистов, не имеющих никаких корней в реальной России.

Социалистические партии и рабочие организации Запада приучались разделять это очень одностороннее мнение, что об'яснялось в немалой степени усилением марксистских взглядов среди социалистов разных стран. Действительно, марксистской идеологии сопротивлялся разве лишь английский рабочий класс, в котором преобладали элементы профессионального трэд-юнионизма, и Франция, где наряду с марксистским гэдизмом продолжал существовать и стал усиленно развиваться «независимый» социализм.

Можно даже сказать, что на почве Третьей республики сильный толчок развитию социалистической мысли был дан именно выдающимися представителями независимого социализма в лице Милльерана и особенно Жорэса.

Были в политической жизни Франции начала 90-х годов общие условия, которые большим потоком подливали воду под мельницу социализма. Справившись с буланжизмом и дискредитировав при этом радикализм, который во многих случаях, особенно в начале, сильно мирволил бравому генералу, стоявшие у власти оппортунисты вообразили, что теперь их господство снова обеспечено на долгое время. В воздухе пахло реакцией. Правящая партия стала настойчивей, чем когда-либо, утверждать, что причины буланжизма лежали в радикальной и социалистической демагогии, которая, требуя неосуществимых реформ, разожгла, видите ли, чересчур большие аппетиты в народе и сделала его жертвой авантюристов, обманно обещавших ему самые несбыточные вещи. Отсюда вывод: так как республика испытала кризис не потому, что делала слишком мало для народа, а потому, что слишком много, то упремся на месте и постараемся прежде всего защищать почтенные интересы имущих, социальными же реформами нечего заниматься не только на деле, но и на словах. На требования масс решено было отвечать энергическим отказом. Рабочая демонстрация в Фурми была встречена солдатскими залпами: французские усовершенствованные пули, готовившиеся для внешнего врага, положили на месте ряд рабочих и работниц и 9-летнего ребенка, которого так и нашли подкошенным, как колос, с полевыми цветами в руках... Выборы Лафарга пострадавшими ткачами были первым социальным предостережением глухой для требований масс оппортунистской республике.

Но скоро триумфаторы должны были склонить свои надменно поднятые головы перед новым шквалом. Как удар грома из чистого неба, пал на правящий персонал, на большую прессу, на политиков всех буржуазных лагерей, но особенно оппортунистского, панамский скандал. Побежденные на выборах 1889 г. буланжисты и реакционеры, конечно, сделали с своей стороны все, что могли, чтобы только скомпрометировать республиканцев, и прежде всего умеренных, оппортунистских политических деятелей. Но брызги огромного грязного дела разлетались по всем направлениям и прямо или косвенно запятнали массу вы-

дающихся представителей имущего класса в парламенте и печати, независимо от партий, хотя преимущество большей подкупности выпало на долю тех из них, которые главным образом властвовали в стране.

Выборы 1893 г. были поэтому не везде ясным, но в общем раздраженным ответом широких масс на хозяйничанье буржуазии. Тогда во французском парламенте появилось впервые довольно значительное число социалистов, принадлежавших, правда, к различным оттенкам, но вынужденных самым положением вещей дружно бороться против общего врага. Кроме Гэда, очень заинтересовавшего своих буржуазных коллег доктринальным изложением марксистского социализма, кроме тонкого тактика Милльерана, крайне заметную роль сразу же стал играть Жорэс, не принадлежавший, как и Милльеран, ни к какой из существовавших фракций социализма, а к группе так называемых независимых. Можно даже сказать, что наибольшее внимание и парламента и мыслящей части страны было привлечено именно Жорэсом. Своим идейным и личным мужеством, своею искренностью, своим могучим, широким, чисто-французским красноречием он сразу приобрел симпатии многочисленных и разнообразных групп населения.

Он впервые заговорил с трибуны таким волнующим языком о великой задаче труда, что даже враги его, вроде скептического редактора «Фигаро» Франсиса Маньяра, не могли не сознаться, что социализм снова, впервые после 1848 г., стал во Франции главною темой дня. Жорэс умел производить впечатление и на массы, и на интеллигенцию. Но главною причиною его ораторских успехов была, может быть, та особенность его таланта, что он заговорил с буржуазией великолепным языком интеллигентной буржуазии же об общечеловеческих требованиях социализма, приучая ее подниматься над классовыми интересами и классовым эгоизмом.

В университетских сферах он быстро приобрел огромное влияние. Все идейные студенты и молодые профессора, если не разделяли целиком его определенно социалистических мнений, то в общем очень сочувствовали гуманитарному направлению его политической деятельности. Но почти во всех высших учебных заведениях были группы и настоящих социалистов, которые создались под воздействием широкой идейной пропаганды Жорэса. Я был поражен изменением самого типа студентов, появлявшихся теперь на социалистических собраниях и так непохожих на своих предшественников 80-х годов.

В первое время своей жизни в Париже, привыкнув к русскому радикальному студенчеству, я, действительно, не верил своим глазам, когда на этих собраниях являлись кучки веселых, шумливых молодых людей — как оказалось, студентов, — которые приходили сюда единственно с тем, чтобы посмеяться над ораторами и учинить какой-нибудь дебош. Щеголевато одетые, носившие обыкновенно прилизанную, низко спускавшуюся спе-

реди прическу с пробором а ля Капуль, упитанные, зачастую подвыпившие, они приводили на рабочие собрания своих разбитных подруг и вместе с ними старались смущать слушателей, издавая всевозможные звуки, которые приходится слышать разве только в самых крикливых отделениях зоологического сада, или до надрыва горла распевали грязненькие кафешантанные куплеты.

— Да поднимите же, наконец, хоть волосы с ваших идиотских лбов! — крикнул как-то, не выдержав, один из редких тогда социалистов-студентов и был освистан своими коллегами, которые с тех пор всячески старались преследовать его.

Студенты, появлявшиеся теперь на социалистических собраниях и рабочих митингах, даже и видом старались походить на Жорэса, который обнаруживал поистине редкое для француза равнодушие к своему костюму. Мягкая шляпа вместо прежнего неизменного цилиндра; демократический поношенный пиджак, из карманов которого торчали разные агитационные листки и брошюры; небрежная прическа и запущенная борода, упиравшаяся в плохо накрахмаленный воротничок, — все это говорило, может быть, о несколько театральном, но в общем искреннем пренебрежении к одежде. Ибо у этих людей тяготение к новым идеям не ограничивалось только внешностью, а сказывалось и на серьезном изучении социального вопроса. Едва ли не в каждом университете студенты и молодые приват-доценты образовывали кружки, которые предлагали бескорыстные услуги Жорэсу по собиранию сведений для его речей и сочинений. Для тех частей «Социалистической истории Франции», которые были написаны самим Жорэсом, особенно для томов, посвященных Великой французской революции, очень большое число документов было доставлено, напр., этими кружками или отдельными работниками.

Но Жорэса любили и массы. Не знаю, могли ли простые рабочие, особенно в провинции, все эти шахтеры, рудокопы, ткачи, прядильщики, вполне наслаждаться его великолепным, но как-никак интеллигентским красноречием. Но они всем сердцем отзывались на голос искреннего убеждения, звучавший во всех этих могучих периодах, которые катились в его речи, как волны в широком море. И потом их привлекали простота манер Жорэса и его мужество, — вещи, которые очень ценятся народом. «Хорош ваш Демосфен! Это не Демосфен, а самый низменный демагог», — восклицали, задыхаясь от злобы, буржуазные репортеры, описывая, как Жорэс, после одного грандиозного народного собрания под открытым небом на юге Франции, где он привел в энтузиазм толпы рабочих и крестьян, вскочил по просьбе слушателей на стол деревенского ресторана и запел своим мощным баритоном «Интернационал», подхваченный тысячами окруживших его социалистов из народа. Почтенные борзописцы, бормотавшие по этому поводу что-то об античном красноречии, не знали, очевидно, что на-

стоящий оратор древности ничуть не считал бы себя опозоренным или спустившимся ниже своего достоинства, если бы участвовал в каком-либо коллективном выражении чувств своих сограждан.

А мужество Жорэса бросалось в глаза всем, имевшим случай наблюдать его во время столкновения двух противоположно настроенных скучений толпы или при обычном подавлении полицией рабочих манифестаций. Мне вспоминается рассказ Жорэса в кругу нескольких друзей, — которые тут же одобрительно прерывали и дополняли своего товарища, ибо были участниками события, о котором он рассказывал, — как однажды в Кармо он хотел пробраться к демонстрации стекольщиков, чтобы стать в первых рядах и охранять ее от насилий полиции своей трехцветной депутатской лентой, и как полицейские, науськиваемые ненавидевшим его местным под-префектом, на нем же первом показали, сколь мало они обращают внимания на так называемую депутатскую неприкосновенность, пуская в ход и кулаки, и пинки, с трогательным сознанием республиканского равенства, и против избирателей, и против избранного...

— И все же я пробрался к своим славным друзьям, но в каком виде — добродушно повествовал широкоплечий, приземистый, могучий трибун с широким, немного русским лицом и большой рыжеватой бородой, «ритор с бычьей шеей», как обзывали его буржуазные газетчики.

— Ни одной пуговицы на вашем сюртуке! — сочувственно восклицает один из слушавших его очевидцев.

— И ни одной на жилете! — с восхищением вторит другой.

— И вы влетели как бомба в ряды демонстрантов, пробравшись сквозь строй полицейских, и повели толпу за собой к мэрии! — вспоминает с энтузиазмом и умилением третий.

Лично я не был в близких отношениях к Жорэсу, но и мне пришлось гораздо позже быть свидетелем его мужества. В августе 1899 г. в качестве представителя от «Русского Богатства» я посещал заседания Военного суда, вторично разбиравшего дело Дрейфуса в Ренне, и был приглашен Жорэсом на дружеский завтрак в ставшем знаменитым тогда «Ресторане Трех Ступенек». Нас было человек двадцать, людей различных лагерей, но с некоторым преобладанием радикалов и социалистов. Мы были об'единены одной общею идеею: служить делу справедливости и гуманности. Людей нашего направления звали тогда дрейфусарами, и наши противники, клерикалы и милитаристы, клеветали на нас, будто мы были побуждаемы самыми низкими денежными расчетами, всячески способствуя оправданию «миллионера жида». Между тем для нас Дрейфус, которого лично мы не знали, был просто жертвою шовинистской и католической реакции, овладевшей тогда Францией. И мы, кто словом, кто пером, кто в самой Франции, кто за границей, с депутатской трибуны, с профессорской кафедры,

в печати и на народных собраниях, в интимной беседе и на улицах, боролись в деле Дрейфуса не столько за отдельную личность, сколько за попираемое право, за нарушенную справедливость, во имя высших идеалов человечества.

Не могу припомнить, кто присутствовал на этом завтраке. Лишь одно лицо всплывает ярко, кроме Жорэса, в моем воспоминании: брат Элизэ Реклю, Поль Реклю, выдающийся медик и профессор, который со всею страстью убеждения бросился в идейную борьбу на стороне Дрейфуса. Поль Реклю продекламировал стих Огюста Бризе о Бретани, где мы теперь находились, —

О, страна гранитов, покрытая дубами,

— и Жорэс, со свойственной ему способностью отзываться на столь многое в мире, не успев еще остыть от потрясающих впечатлений утреннего судебного заседания, с живым любопытством принялся расспрашивать о второстепенном, но интересном поэте, которого процитировал ученый хирург и которого сам Жорэс знал лишь поверхностно.

И вдруг наш слух был поражен диким воем, который видимо приближался и все усиливался. Мы подскочили к окнам большой комнаты, где завтракали. На противоположной стороне улицы собралась быстро росшая толпа бретонцев, в которой преобладали крестьяне, особенно женщины. Они потрясали руками в нашем направлении и вопили изо всех сил: «Изменники, продажные души, христа жиду продали, кишки вам выпустить!» Отряд пеших жандармов вяло отталкивал наступавшую толпу. Всего более бесновались старухи в своих темных платьях, и накрахмаленные крылья их белых чепчиков на трясшихся в исступлении древних головах описывали в воздухе самые причудливые движения. Мы знали, что агенты клерикалов и милитаристов усердно науськивали благочестивых бретонцев против «безбожников и предателей, собравшихся со всего света в Ренне на защиту своего родного Иуды».

Жорэс подошел к окну и наполовину высунулся из него своей грузной фигурой. Мы тщетно напоминали ему быть осторожнее.

В воздухе прожужжало несколько камней и поленьев.

Три дня тому назад в Лабори, мужественного защитника Дрейфуса, выстрелил сейчас же скрывшийся неизвестный, причинив ему рану, которая только случайно не оказалась опасной. И клерикалы распространяли грязненькую песенку на тему, где надо было искать «дыру» в теле «жидовского адвоката». За толпу нельзя было отвечать. Увидя столь характерную фигуру Жорэса, стоявшего в окне, она пришла совсем в ярость. Подоспевший небольшой отряд конных жандармов с трудом сдерживал напор обезумевших от гнева людей.

Жорэс, как ни в чем не бывало, продолжал стоять у окна, и, наконец, обернувшись к нам внутрь комнаты, сделал широ-

кий жест вбок, в котором и горе, и радость идейного борца нашли удивительно созвучное сочетание.

— А завтра же постыдная печать будет издеваться над нами, описывая, «как армия, оскорбляемая подлыми дрейфусарами, спасала их от энтузиазма толпы»... Да, друзья, энтузиазма толпы! Но я принимаю этот вызов, это выражение, этот энтузиазм, эту толпу... Я приветствую ее пробуждение. Она слишком долго спала, ее слишком долго успокаивали всяческими небесными иллюзиями... А теперь, пусть пока в самой нелепой форме, она раскрывает глаза и прислушивается к тому, что делается вокруг нее на земле. Здесь мы, — кучка в сравнении с толпой, и повсюду пока мы меньшинство в сравнении с большинством... Но не бойтесь, друзья, быть в меньшинстве. Сегодня мы — меньшинство, завтра будем большинством, послезавтра всем человечеством. Толпа — человечество! И тогда нас действительно ничто не охранит от энтузиазма этой всемирной толпы, она будет с нами, и мы будем с нею, и мы будем ею, и исчезнут навсегда разделявшие нас силы мрака и злобы.

Жорэс снова подошел к окну и бросил в сторону теперь таявшей мало по малу толпе, которая в недоумении прислушивалась к нему, чудные, пророческие слова:

— Привет вам, честные, хорошие, обманутые, но благородные души!.. Нам с вами принадлежит будущее!..

На нас вся эта сцена произвела огромное впечатление. И даже сидевший со мной рядом за завтраком глубоко-буржуазный репортер из «Фигаро», которого капризы политической борьбы бросили в лагерь дрейфусистов, как-то присмирел и, помешивая ложечкой чашку кофе, тихо, но явственно промолвил в мою сторону, обращаясь не то ко мне, не то ко всем:

— Жорэс — несравненный человек! О, как я понимаю его социализм, социализм всеобщего братства!

Но нить воспоминаний о Жорэсе завела меня слишком далеко вперед. Мне приходится вернуться несколько назад, к началу 90-х годов, когда во Франции все резче разгоралась борьба между буржуазным миром и выдвигаемыми им правительствами с одной стороны и растущим и крепнущим социализмом с другой, в самой же России идейная, а скоро и практическая вражда так называемых народников и марксистов становилась едва ли не самым заметным элементом общественной жизни и отражающей ее печати.

В начале этого периода сочувствие масс и широких кругов общества к новому мировоззрению, мировоззрению труда, проявилось на почве Третьей республики не только в росте социализма, но и в увлечении анархизмом, который сделался модной темой для разговоров в немалом числе светских салонов, где появлялись фешенебельные философы и поэты анархии с красными гарденией в петличках изящных сюртуков, и элегантные хозяйки кокетничали не всегда впопад цитатами из

Кропоткина и Жана Грава. Эта мода не прошла сразу даже после подвигов идейного разбойника Равашоля и нелепых анархических покушений Эмиля Анри в одном из парижских кафе и Вайяна в палате депутатов. И лишь убийство президента республики, Сади-Карно, итальянцем Казерио в Лионе (летом 1894 г.) вызвало достаточно сильную общественную реакцию, которой умело воспользовались сменявшиеся у власти умеренные кабинеты, отличавшиеся от прежних типичных оппортунистских министерств тем, что в состав их входили лично более чистоплотные люди, чем панамисты недавних лет. Тогда же были проведены через парламент, несмотря на сопротивление социалистов и старых идейных радикалов в роде Бриссона, ограничения очень либерального закона о печати 1881 г., усилены наказания за пропаганду в войсках и т. п. И с избранием в президенты республики крупного миллионера, Казимира Перье, во Франции повеяло общим духом репрессий, что прекрасно выразил в одной из своих карикатур Форэн, в то время еще не притупивший своего замечательно острого карандаша переходом в лагерь шовинистов. Рабочий в блузе подходит к потерявшему свою листву дереву, на котором повисла большая палка, и, всматриваясь в это неожиданное украшение, произносит:

— А хорошая дубинка выросла за эту ночь на французском дереве свободы!

То было время тенденциозных процессов, когда во всей Франции производились аресты людей, казавшихся полиции подозрительными, и на скамье подсудимых оказывалась уйма лиц, стасканных с разных концов страны и обвинявшихся в составлении тайных анархических организаций. Я помню, с каким недоверием, во время моего велосипедного путешествия по западной Франции в августе 1894 г., встречались в провинциальных гостиницах самые невинные туристы, и как часто за табльдотами вы находили странных господ с непозволительными физиономиями, которые рекомендовались обыкновенно коммивояжерами и чуть не по третьему слову начинали прославлять вам прелести анархии и «энергических действий», видимо, стараясь вызвать вас на соответствующие откровенности: то были агенты полиции безопасности, которые рассылались боевыми министрами внутренних дел по всей стране, чтобы наблюдать за анархическими заговорами, а при случае и вызывать их.

Эта правительственная и отчасти общественная реакция питалась в немалой степени политикой сближения Французской республики с русским самодержавием. И не трудно понять, почему. Стараясь во что бы то ни стало заключить союз с царской Россией, официальная Франция употребляла все усилия, чтобы показать великой восточной деспотии, что она не менее ее способна справляться с внутренним врагом, и что в сущности будущему желанному союзнику нечего особенно

смущаться ее республиканскими учреждениями: они существуют лишь на бумаге и для галлереи, а мудрые государственные мужи, управляющие импульсивным народом на крайнем западе Европы, не менее русского императора и его советников убеждены в необходимости твердой власти.

Пуская в ход такую тактику, правящие круги Франции естественно играли в руку своим собственным монархистам. Действительно, если монархия такая хорошая вещь в России, почему бы ей не быть столь же хорошей вещью во Франции? В большой прессе считалось признаком хорошего тона прославлять прочность власти русского императора и противоставлять ей хаотичность французской демократии, подвергать резкой критике парламентаризм, указывать на неустойчивость министерств. И, конечно, где же было угоняться на этой почве умеренным республиканцам за монархистами? Так постепенно французское общественное мнение приучалось видеть в России чуть ли не идеал хорошо управляемого государства и довольно пренебрежительно относиться к собственным свободным учреждениям, из-за которых втечение всего века было выдержано столько идейных битв людьми прогресса и пролилось столько горячей, благородной крови на баррикадах.

Подготовлявшийся франко-русский союз действовал еще другою стороною на усиление реакционных настроений во Франции. Почти с самых первых лет тяги французов к императорской России, с конца 80-х годов, петербургские дипломаты и финансисты и парижские политики и биржевики организовали систему все более и более усиленных займов для России во Франции. И началось перекачивание золота из знаменитого «шерстяного чулка» французского крестьянства и мелкой и средней буржуазии в бездонные ящики царского казначейства. Крупные буржуа, все эти спекуляторы в банках и на бирже, получали при этом огромные комиссии, но сами не держали у себя очень большого количества русских фондов, зато мастерски размещали их среди уже упомянутых многочисленных мелких и средних рантье, которые, особенно после панамского крушения, приучались видеть в русских займах самое выгодное и прочное помещение. Естественно, что эти все более и более обширные группы лиц были заинтересованы в устойчивости русского варварского режима и готовы были простить ему самый жестокий внутренний гнет, лишь бы уплата купонов совершалась правильно и беспрепятственно.

При этом поистине постыдную роль играла большая французская пресса, которая, как раньше кормилась рекламой Панамы, так теперь предалась за деньги восхвалению русских займов, общая сумма коих в начале 20-го века превзойдет 10 миллиардов франков, то-есть в два раза превысит сумму контрибуции, уплаченной Францией Германии. Эту низменную деятельность французской печати еще довольно рано разоблачил небезызвестный катковец Цион, который стал одно время

издателем французской монархической газеты «Голуа» и одним из финансовых агентов русского правительства в Париже и который, очевидно, не поделив чего-то со своими коллегами, рассказал в своих брошюрах совершенно откровенно, какой корм был приготовлен в царских яслях для тароватых французских газетчиков. Последующие годы только развили эту продажную работу, и отношения буржуазной печати Франции к русскому самодержавию составляют позорнейшую страницу в истории французского журнализма.

Но средний читатель Парижа и Франции не знал, конечно, о грязной подкладке этих восхвалений и в простоте сердца принимал за чистую монету все, что писалось на газетных столбцах о могущественном и благородном монархе огромной страны, населенной героическими бородатыми казаками, которые, быть может, и продолжают есть сальные свечи, но, в общем, настолько уже цивилизовались, что спят и видят, как бы поднять на копье ненавистную Германию и возвратить прекрасной Франции Эльзас-Лотарингию.

Официальная Россия становилась поэтому очень популярна в глазах большой французской публики. Целый ряд все более и более восторженных встреч, празднеств и приемов подогревал этот энтузиазм толпы, улицы и даже более солидных и интеллигентных слоев населения. С 1891 г., когда впервые было упомянуто царем, правда, в очень двусмысленной форме, о дружественных отношениях между Россией и Францией, и до 1895 г., когда был заключен формальный франко-русский договор, французы из кожи лезли, чтобы выразить свое восхищение союзником. Да и еще долго спустя правительства обеих стран любили при всяком удобном и неудобном случае подкреплять внешними торжествами значение несравненного альянса, когда двойственный союз уже превратился в тройное, англо-франко-русское, соглашение. Но в начале эти празднества носили на гостеприимной почве легко воспламеняющейся французской нации действительно радушный и изрядно комический характер.

Особенно это можно было сказать о приеме русских моряков с адмиралом Авелланом во главе, осенью 1893 г. Не лишено интереса, что и большинство французских социалистов не имело духу отказаться от этого чествования императорской России Третьей республикой. Гэдисты, напр., любили подчеркивать непримиримо враждебный характер своего отношения к русскому царизму. Но когда Авеллан появился со своими моряками в Марсели, то мэр города, Флессьер, бывший одним из видных гэдистов, встретил посетителей с превеликой помпой: оказалось, что центральный комитет французской рабочей партии, желая примирить волка и козу, известил из Парижа Флессьера о том, что не вмешивается в характер встречи, которую мэр Марселя сочтет нужным устроить русским, — в этом отношении он, мол, автономен. И лишь блан-

кисты, руководимые Вайяном, вели себя, как полагалось настоящим социалистам и настоящим революционерам. Когда Авеллан, продолжая свое триумфальное путешествие через Францию, прибыл в Париж, то среди всеобщего кувырканья официальных учреждений, буржуазной печати и почти всех парижан перед царским адмиралом и при дипломатическом молчании или невнятном протесте других социалистов, лишь партия бланкистов стала в непримиримую позицию к посланцам русского самодержавия и издала специальный номер газеты, содержавший ряд резких, чисто революционных статей, в которых разоблачалась гнусно-реакционная и вместе лицемерная политика официальной России. В этот номер дал статью и я, подведя итоги хозяйничанья царской власти в великой стране. А в это самое время небывалая иллюминация освещала улицы Парижа, над ратушей взрывались во всех направлениях целые снопы разноцветных ракет в честь славных гостей, и сами гости, еле держась на ногах от поглощенного ими невероятного количества шампанского и пламенных речей официальных и официозных ораторов, приступом брались на улицах обступившей их толпой, где преобладали женщины, покрывавшие патриотическими поцелуями красные лица моряков. Газеты с восторгом цитировали даже несколько случаев альянсистского помешательства, когда парижанки кидались с мостов в воду, при крике: «Да здравствует адмирал Авеллан!», напоминая, таким образом, знаменитого гейневского матроса, который нарочно бросился с высоты корабельной мачты в море и утонул, крича изо всех сил: «Я умираю за доблестного адмирала Джаксона».

Осталось у меня также несколько неудобозабываемых воспоминаний от первого посещения Франции Николаем II, которому Париж устроил встречу, превзошедшую если не своей непосредственностью, то своим почти варварским великолепием встречу адмирала Авеллана. Особенно запечатлелись в моей памяти полицейские предосторожности, которые принимались властями города Парижа и ясно говорили о том, что вместе с царем в столицу Французской республики в'ехали и российские приемы охранения.

В 1896 г. я был секретарем редакции «Нового Географического Словаря», издаваемого фирмой Гашетта, а летом и его фактическим редактором. У меня было особое бюро с окнами и балконом, выходившими на Сэн-Жермэнский бульвар, через который царь должен был, согласно точно выработанному церемониалу, проехать из палаты депутатов в Пантеон. И вот, воспроизводя отчасти русские порядки, парижская полиция вошла в соглашение с владельцами домов, находящихся на пути следования августейшего союзника Франции, о закрытии ворот, выходящих на улицу, и о наблюдении за окнами, обращенными в ту же сторону. Служащие в фирме заранее были осведомлены, что в этот день должны будут вхо-

дить в книгоиздательство с заднего хода, по небольшой уличке Пьер-Сарразэн. Но оставались окна. И на беду, часть их и довольно длинный балкон, хотя и на пятом этаже, приходились, как я уже сказал, на мое бюро. А я, хотя работал тогда в доме Гашетта уже двенадцать лет и пользовался репутацией серьезного человека, все же считался моими хозяевами страшным революционером, который способен проделать, когда от него ожидают этого менее всего, какой-нибудь отчаянный шаг. На сей раз я, может быть, и не брошу сам в проезжающего царя бомбу, но зато могу поместить в своем бюро одного-двух отчаянных русских бомбистов, которые попробуют устроить покушение на союзного монарха из такого солидного учреждения, каким является дом Гашетта.

Как тут быть? Прямо сказать мне о своих опасениях мои почтенные хозяева не считали удобным, но и особой уверенности в моей лойяльности у них не было. Решено было поэтому пустить в ход дипломатию и узнать приблизительно о моем настроении через кого-нибудь из моих знакомых французов, к которому бы господа Гашетты питали уже безусловное доверие. Их выбор остановился на швейцарце Викторе Тиссо, авторе легковесных романов и описаний в роде «Путешествия в страну миллиардов», «Красной России» и т. п., в это время редактировавшем так называемый «Альманах Гашетта».

Виктор Тиссо порою заходил в мое бюро за географическими сведениями, результатами новых путешествий, биографическими данными о прославившихся чем-либо или умерших в текущем году географах, для помещения этих данных в своем ежегоднике. Поэтому его дипломатический визит ко мне не мог, по мнению моих принципалов, возбудить во мне никакого подозрения. И вот, в одно прекрасное утро, за несколько дней до царского посещения, когда я был очень занят правкою большой статьи для Словаря, в дверь моего бюро легко постучали, и в комнату вошел с дружески протянутыми руками и любезной улыбкой на устах упомянутый Виктор Тиссо. Он мне задал какой-то незначительный вопрос и вдруг, что с ним бывало редко, попросил позволения сесть на стул и завел со мной курьезный разговор.

— Ну, как, мосье Русанов, что говорят в русской колонии о предстоящей встрече царя? Что думаете сами вы?.. Вы знаете, как я всегда интересуюсь вашими взглядами на политические вопросы, и так хочется порою посидеть и поболтать с вами на эти темы. Жаль, что много дела у меня, да и вы всегда очень заняты... Знаю все это, а все-таки так жажду услышать что-нибудь новое от вас... Так что же вы и ваши товарищи думаете о царском посещении Парижа? Ведь для Франции это такой важный, можно сказать, национальный вопрос... Конечно, я не говорю ничего о внутренней политике самодержавия. Но мы, к сожалению, не можем вмешиваться во внутренние дела России: наш старый и испытанный либе-

рализм, разумеется, возмущается отсутствием у вас разумной свободы и скорбит, скорбит о недоразумении, разделяющем самодержавие от радикальной части интеллигенции... Мы понимаем и нетерпение ее... Но, знаете, внешняя политика Франции, сложность и неустойчивость международных отношений, все это заставляет нас опасаться... опасаться, как бы неосторожный шаг... Вы понимаете: Германия притаилась за Вогезами и ждет только какой-нибудь политической ошибки... И вот, любящие свое отечество французы рассчитывают, что гостеприимство, которое они оказывают русским эмигрантам, — о, я их так ценю, они такие идейные люди! — да, священное право убежища не будет... не будет употреблено ими во зло... Горячие головы... Но Германия... У французской республики еще так мало друзей...

Тиссо, видимо, был очень смущен своей дипломатической миссией, путался, хватался то за ту, то за другую мысль, но почти сейчас же бросал ее и все время смотрел внимательно на меня своими прищуренными глазами. Я же, нарочно, ничего не отвечал ему, не прерывал его ни единым звуком и тоже не спускал глаз с его испытующего взора.

— Послушайте, мосье Русанов, будем откровенны: вы ничего не слышали о чем-либо неприятном, готовящемся для русского императора? Понимаете: о чем-либо очень-очень неприятном? А?

Наивность вопроса Тиссо была так чудовищна, что у меня не было даже охоты возмущаться им. Мне захотелось лишь немножко помистифицировать этого странного дипломата, который в пылу франко-швейцарского патриотизма, очевидно, не отдает себе отчета, какие вопросы можно ставить порядочным людям, а какие нет...

— Гм... не знаю... я ведь не занимаюсь практической революционной деятельностью...

— Да, да, понимаю... Но теоретическое внушение?.. Мнение уважаемого товарища?..

— Ну, у меня не будут спрашивать мнения в таком деле... Тут решают практики...

— То есть как это, мосье Русанов?..

— Конспиративная работа требует, мосье Тиссо, чтобы как можно меньше народу было посвящено в тайну предприятия,— сказал я тихо и, насколько мог, мрачно...

Тиссо ушел от меня совсем смущенный и перепуганный. Очевидно, в моих до смешного общих фразах, он усмотрел намеки на нечто ужасное и поспешил уведомить о том моих почтенных хозяев.

В день царского проезда через Сэн-Жермэнский бульвар большие входные двери книгоиздательства были, действительно, заперты. Служащие проникали через двери заднего хода. Все окна многоэтажного дома, выходившие на бульвар,

были заняты приказчиками и служащими под наблюдением старых испытанных слуг фирмы.

У меня не было никакого желания смотреть на предстоящую процессию, и я, наоборот, рассчитывал хорошенько поработать в этот день, когда никто из сотрудников не будет отвлекать меня от занятий. Не тут-то было.

За час до назначенного для царского проследования времени в бюро ко мне постучали, и на пороге появился один из моих хороших знакомых, француз, начальник отделения по транспортировке книг за границу, и, рассыпаясь в любезностях, попросил у меня разрешения поместиться на моем балконе с женой и несколькими домочадцами, чтобы «посмотреть на их императорские величества». Разумеется, я охотно дал это разрешение и остался сам внутри комнаты, за своим рабочим столом. Через несколько минут раздался новый стук, и другой знакомый служащий обратился ко мне за подобным же позволением для себя и своих приятелей. Короче говоря, ко времени проезда царя и царицы, балкон и ведшее из него большое окно моего бюро были загромождены десятком-двумя французов, вплоть до пожарных, которых держала у себя фирма и которые отрезали мне путь на балкон. Я продолжал сидеть и работать в некотором отдалении от другого оставшегося свободным от зрителей окна.

Французы от времени до времени повертывались и искоса посматривали на меня: их, очевидно, смущало это свободное окно и сидевший у стола странный господин, который, будучи русским, не проявлял ни малейшего желания лицезреть своего возлюбленного монарха и августейшую супругу его. «А, может быть, у него что-нибудь плохое на уме и бомба в портфеле»,— очевидно, мелькало в голове у моих непрошенных гостей, и один из старейших служащих фирмы, подойдя ко мне, стал усиленно извиняться за причиненное мне беспокойство и за то, что они так оттерли меня, хозяина бюро, «от великолепного зрелища», и почти насильно вытащил меня на балкон, где рядом со мною очутились три здоровенных пожарных. Я понял тактику вежливых французов: надо было парализовать силы страшного врага, охватив его кольцом надежных защитников русского престола и отечества. И я поневоле стал смотреть на улицу.

Зрелище было, действительно, интересное. На тротуарах бульвара теснилась огромная толпа, но сдавленная между закрытыми воротами домов и тройным-четверным рядом полицейских и солдат. Асфальт улицы был обильно посыпан песком, на котором гарцовали конные гвардейцы. Густой лес трехцветных русских флагов, только расположением цветов отличавшихся от национального французского знамени, и императорских штандартов с орлами, которые усердствовавшими не по разуму парижанами были распиханы повсюду, несмотря на просьбы полиции воздержаться от этого нарушения этикета,

развевался под дуновением осеннего ветра на домах и нарочно устроенных для этой цели мачтах. Искусственные бумажные цветы заменяли своей крикливой пестротой уже облетевшие цветы скороспелых парижских каштанов. Тысячи гирлянд, разноцветных лент и спиралей перекрещивались в воздухе, придавая официальному празднеству характер какого-то странного карнавала без жизни и радости, так как патриотические зеваки были оттиснуты с улицы на тротуары, и перед их императорскими величествами должно было раскрываться обычное для них зрелище верноподданного народа в солдатских мундирах.

Приближение августейших гостей знаменовалось все усиливавшимся ревом толпы, принужденной довольствоваться видом полицейских затылков. В парадном ландо, запряженном чудными лошадьми, сидели царь, царица и президент Французской республики. На запятках стоял гигантский чернобородый казак, в малиновом одеянии, — как оказалось на следующий день из описания газет, ставший идолом толпы: «ну, с таким союзником мы не пропадем. Этот всю Германию на пику подымет. Браво, ура, русский брат!» Царь, одетый в костюм одного из гвардейских полков, поражал, наоборот, своим незначительным видом, желтизной лица и пугливостью выражения. Он автоматически подносил руку к козырьку и поминутно отдавал честь десяти миллиардам франков, перекочевавшим в виде разного рода займов из Франции в Россию. Царица, в белом платье и невероятно лиловой шляпе, походила на большую механическую куклу, все время качаясь на своем сиденьи и чванно отвешивая однообразные поклоны солдатам и полицейским направо и налево.

Зато примостившийся зайчиком на скамеечке напротив императорской четы Феликс Фор умиленно пригибался к их величествам и сиял такой улыбкой счастия, которую можно видеть лишь на лице плебея-выскочки, удостоившегося сидеть с «настоящими монархами»

Второе посещение царем Франции, в 1900 г., свидетельствовало, однако, уже об ослаблении среди населения Третьей республики престижа если не России, то царя. Республиканская Франция в то время находилась в пылу борьбы с католиками и монархистами, и враги свободных учреждений были оттеснены с первых позиций, но далеко еще не побеждены представителями демократии и социализма. Пышности встречи царя были, поэтому, доведены до минимума, и даже некоторый комизм заключался в том обстоятельстве, что в одном из провинциальных городов севера царю пришлось отвечать на тост, провозглашенный социалистическим, правда, очень умеренным мэром и содержавший добродушный вопрос: «ну что, ваше величество, как вы находите наше шампанское?».

Русско-французский альянс действовал развращающим образом на политическое настроение населения Франции не

только этими торжественными приемами представителей варварского самодержавия, — что противоречило началам истинной демократии, — но и полицейскими преследованиями, которым подвергались русские эмигранты всякий раз, когда республиканскому правительству хотелось подогреть официальную дружбу с царской Россией. Русские шпионы и провокаторы кишели в Париже и провинции. И с ними в большой дружбе и чуть ли не под их руководством работала французская полиция, раскидывая сети для молодых и неопытных русских изгнанников или стараясь всяческими интригами выжить из Франции тех из нас, старых эмигрантов, которые не поддавались на удочку полицейских сирен, вели себя вполне корректно по отношению к правительству приютившей их страны, но возбуждали лютую ненависть в здешних представителях и служителях царского режима тем, что поддерживали, насколько могли это делать за границей, дух оппозиции и протеста против самодержавия.

Я уже упоминал о провокационной работе Ландейзена-Гартинга среди группы русских террористов, мечтавших о подготовлении покушения на царя из Парижа и приговоренных к тюрьме судом исправительной полиции. Политическая сторона этой грязной шпионской махинации заключалась в том, что французское правительство с необыкновенным рвением занялось этим делом, чтобы показать русскому самодержавию, как тщательно охраняются его интересы на почве Третьей республики, и как особенно тщательно предупреждаются всякие умыслы против священной особы императора Александра III. Независимая печать прямо указывала, что между процессом русских бомбистов и первым официальным упоминанием русским правительством о Франции, как дружественной державе, была прямая связь. В 1890 г. парижский шемякин суд посадил нескольких русских молодых людей в тюрьму за «преступления», сфабрикованные франко-русской полицией. В 1891 г. русский царь при приеме французских моряков в Кронштадте произнес давно жданные и подхваченные с восторгом французской печатью слова, из которых можно было выжать заключение о желательности союза между двумя странами.

С тех пор французские власти пользовались малейшим случаем, чтобы заявить о своих, — как бы это сказать, — верноподданнических чувствах к далекому, но столь близкому их патриотическому сердцу чужому монарху. Однажды и мне пришлось испытать на себе эту готовность услужить союзничку. В Париже, в четыре часа пополудни, в одном из отелей на больших бульварах, польским эмигрантом Падлевским был убит жандармский генерал Селиверстов, жестокий и грязный человек, служивший в Третьем Отделении. Убийство было совершено с поразительной смелостью, и Падлевский успел скрыться под гостеприимным кровом социалистического депутата Дюк-Керси, а затем увезен был одним из друзей госпожи Северин за

границу. Можете себе представить ярость французской полиции и французской магистратуры. Решено было развить величайшую энергию по части сыска и расправы с польскими и русскими эмигрантами, живущими в Париже. Около полуночи того же дня, когда в газетах не могло еще появиться известия об акте Падлевского, у передней двери моей квартиры раздался громкий звонок. Я встал с постели и подошел к двери.

— Здесь живет господин Русанов? — спрашивал кто-то на лестнице.

— Здесь.

— Я — почтальон. Отворите, пожалуйста: вам телеграмма. Надо расписаться.

Я приотворил дверь, которая была на цепочке. Не успел я высунуть руку в отверстие, как она была схвачена огромной лапищей, и с лестницы раздался повелительный голос:

— Именем закона — отворите сейчас же! Я — полицейский комиссар...

Я не верил своим ушам. Мирный почтальон превращался в воинственного носителя французской административной власти. Я попросил у комиссара, чтобы мне освободили руку: иначе я не мог бы вынуть цепочки. Лапища исчезла. Я отворил дверь. На лестнице с потушенным газом стояла целая кучка лиц, держа в руках стеариновые свечи. Возле огромного человека в черном сюртуке и цилиндре, — повидимому, владельца лапищи, — стоял так же одетый комиссар с трехцветной лентой, символом государственной организации, которая до сих пор, будь то монархия или республика, повертывается к члену общежития неизменно своей жесткой, принудительной стороной. При виде комиссарской ленты я невольно припомнил торжественное изречение Жозефа Прюдомма: «Мой сын, посмотри на эту саблю! Она сделана для того, чтобы защищать политические учреждения отечества, а если надо, то и низвергнуть их».

Комиссар выдвинулся вперед и на пороге моей квартиры зычным официальным голосом произнес:

— Я должен произвести у вас обыск и, в случае надобности, арестовать вас. Вы обвиняетесь в укрывательстве Падлевского, убившего сегодня генерала Селиверстова. Вы знаете этих лиц?..

И в ожидании эффекта он посмотрел на меня глазами, которым, видимо, старался придать молниеносность взгляда орла, но которые, благодаря этому усилию, приняли лишь выражение глаз мертвой щуки.

Я чувствовал, что на моем лице отразилось самое непритворное удивление. Но комиссар продолжал по-прежнему зычно, хотя уже и менее официально:

— Да, милостивый государь, и вам нечего играть в изумление. Преступник должен скрываться у вас. Мы приступим к обыску.

За комиссаром и огромным агентом выступали еще четыре господина в неизменных черных сюртуках и цилиндрах, каждый, как и первая пара, со свечою в руках. Получилась довольно любопытная процессия.

Я попросил позволения одеться.

— Не беспокойтесь, пока не надо! Идите в спальню и ложитесь в постель! Мы произведем осмотр комнат без вас.

Я спросил бумагу, дающую ему право на обыск. Он показал мне свой мандат с упоминанием моего имени и нескольких других имен, которые он сейчас же закрыл ладонью... Признаюсь, я совершенно терялся в предположениях. Неизвестный мне Падлевский. Неизвестный мне генерал Селиверстов. И один из них — убийца другого. И у меня ищут этого убийцу.

Следуя настоятельному приглашению господина с глазами мертвой щуки, я прошел в спальню и лег на большой французской постели, стоявшей среди комнаты, рядом с пробудившейся женой, но предупредил моих гостей, что в задней комнате, у другого входа, спит моя свояченица с моей малолетней дочерью, и я очень просил бы представителей власти не делать много шума и не напугать спящих...

Комиссар самодовольно улыбнулся:

— Не беспокойтесь, милостивый государь, ваше желание будет исполнено. Указанные вами лица и не услышат... Нам не впервые. Жаль, что супругу вашу обеспокоили... Тише, господа! Начнем обыск отсюда!..

Зрелище, невольными свидетелями и отчасти действующими лицами которого мы были, принимало высоко комический характер. Мы с женой лежим по середине комнаты в кровати, подобно статуям рыцаря и его супруги на средневековых надгробных памятниках, и только прикрывающее нас одеяло из Бонмарше придает более современный характер картине. Вокруг нас движется на цыпочках факельное шествие. Шесть высоких, усатых или бритых господ. Шесть черных сюртуков. Шесть цилиндров. И шесть свеч, бросающих огромные тени господ в цилиндрах на стены. Дважды процессия обошла нашу кровать и нас, лежащих в ней, ища Падлевского и под кроватью, и в шкапу, хотя вряд ли на полках его могло укрыться и малолетнее дитя, и за занавесками. Мы с женой боялись переглянуться, чтобы не расхохотаться и не нарушить тем торжественности минуты. Через некоторое время вся компания вышла из нашей спальни и теми же кошачьими шагами, на цыпочках, сделала обход всех комнат. После мы узнали, кстати сказать, что моя свояченица и дочка, действительно, ничего не слыхали.

Через три четверти часа наши посетители удалились, причем комиссар не то добродушно, не то иронически пожелал мне доброй ночи. Затворяя за ними дверь, я увидел, что на нашей площадке и задний ход был занят нарядом агентов в сюртуках и цилиндрах, и услышал несколько вполголоса

произнесенных на лестнице русских слов. Очевидно, отечественная полиция сотрудничала с русской. По всей вероятности, российским же членам экспедиции принадлежала и гениальная мысль пустить о нас гнусную клевету. Потому что, когда консьерж и кто-то из пробудившихся жильцов стали спрашивать низших агентов, зачем они ходили на квартиру господ Русановых, то им был дан ответ:

— Искали форм и станков для подделки денег... Ведь ваши жильцы — фальшивые монетчики... Правда, мы ничего не нашли у них, но это до следующего разу: они народ хитрый и все во-время припрятали...

Конечно, эта пакостная ложь была встречена лишь негодованием на полицию со стороны наших соседей, которые хорошо узнали нас за десять лет нашей жизни на той же квартире и всячески старались именно теперь высказать нам свое расположение.

Но франко-русский политический роман-водевиль на том для меня еще не кончился. Через несколько дней я получил повестку явиться к судебному следователю для дачи показаний по делу Селиверстова. Следствие вел пресловутый Гийо, гроза обвиняемых в особо важных уголовных преступлениях. О его проницательности, о его жестокой, но всегда якобы удававшейся игре на нервах лиц, находящихся под следствием, ходили целые легенды. Так как я за собой никаких вин не знал, то мне лично этот вызов был интересен, давая мне возможность познакомиться с приемами виртуоза французской следственной процедуры, которая в то время еще носила изрядно реакционный характер, не допускала, напр., присутствия защитника при допросе обвиняемого, позволяла судебному следователю прибегать к запугиванию опрашиваемого лица и вообще хранила следы архаического взгляда на обвиняемого, как уже на преступника.

Достопочтенный мосье Гийо принял меня точно в означенный в повестке час и первое время, видимо, старался произвести на меня впечатление своими бесцеремонными, почти грубыми манерами и неожиданными, порою поистине нелепыми вопросами.

То был плотный мужчина среднего возраста с огромной черепной коробкой, еле прикрытой черными, седеющими прядями волос на висках и затылке, с большим морщинистым лбом, злыми, темными глазами, пристально смотревшими на вас из-под седоватых бровей, которые он чересчур часто насупливал, — «Юпитер сыскного Олимпа», — посмеивались над ним молодые либеральные адвокаты, — и седеющими же бакенбардами на гладко выбритом полном лице, неизменно хранившем презрительное или насмешливое выражение, которое еще усугублялось хорошо очерченными, но неприятно подергивавшимися носом и ртом. Он точно и жевал, и нюхал в одно время что-то очень ему не нравившееся.

Гийо сидел по середине своего кабинета за большим столом и досадливо перелистывал пачку бумаг. Несколько впереди и сбоку его, вблизи окна, за длинным столом поменьше, виднелась безличная фигура секретаря, который застыл в позе почтительного ожидания и держал в руках перо, приготовляясь записывать.

Угрюмым жестом Гийо указал на стул, помещавшийся по другую сторону стола, против его кресла, и с минуту молча рассматривал меня, потом отрывисто и важно заговорил:

— Русанов?.. Николай?.. Не так ли?.. Ваш род занятий?

— Географ, секретарь редакции Географического Словаря, издаваемого фирмой Гашетта.

— Кроме того, вы публицист? Пишете в русских революционных изданиях? Теоретик политических убийств? Защитник террора и бомб?

— Принадлежу по убеждениям к партии Народной Воли, которая борется против самодержавия и во имя народного представительства и демократических учреждений в России и на насилие отвечает насилием, в свободных же странах решительно восстает против таких приемов борьбы, о чем свидетельствует письмо Исполнительного Комитета к американскому народу по поводу убийства президента Гарфильда.

— Ну, это уже журналистика... На эту почву я с вами не стану... Вы призваны по делу убийства Падлевским генерала Селиверстова, пока как свидетель, дальше, судя в зависимости от ваших ответов, может быть, как участник в этом тщательно обдуманном и отчаянно смело выполненном ужасном преступлении... Что вы можете сказать по этому делу? Были вы лично знакомы с Падлевским? С генералом Селиверстовым? Известно ли вам было что-нибудь о готовившемся злодеянии?.. Знайте, что ваша судьба зависит от правдивости и искренности ваших показаний — об этом я должен предупредить вас...

Гийо важно и зло смотрел мне прямо в глаза, которые я, возмущенный его тоном, в свою очередь ни за что не хотел спустить с него.

Мне не стоило большого труда доказать Гийо, что я лично не был знаком ни с Падлевским, ни с Селиверстовым, знаю об обоих лишь по газетам, конечно, ничего не слышал о подготовлявшемся убийстве, и самый род моей жизни, посвященной лишь литературной работе на французском и русском языках, исключает для меня всякую возможность сказать что-нибудь о деле, свидетелем по которому я вызван...

Гийо понял, что его обыкновенная система застращиванья здесь не годится, и кроме того его профессиональная опытность подсказала ему, что производство обыска у меня и привлечение меня к делу, даже как свидетеля, были ошибкой переусердствовавшей франко-русской полиции, которой вообще за ее поведение в этом случае уже достаточно влетело от независимой прессы. Нужно было искать, поэтому, какого-

нибудь приличного отступления. Гийо потушил, насколько мог, огонек злости и презрения в своих глазах и заговорил теперь со мной изысканно вежливо:

— Я вполне доверяю тому, что вы мне сказали. Думаю, что мне не придется снова вызывать вас даже и как свидетеля. Но мне хотелось бы воспользоваться вашим присутствием в моем кабинете, чтобы попросить вас, просто как эксперта, дать мне некоторые сведения о русском революционном движении... Я вижу, вы человек образованный и рассудительный... Не думайте, что я лишен умственных интересов: вам, может быть, неизвестно, что я председатель филантропического общества, цель которого — улучшение нравственности несовершеннолетних преступников, отбывших срок наказания... Я очень был бы вам признателен, если бы вы, — повторяю, как эксперт, — поделились вашим знанием некоторых особенностей русского революционного движения... Каковы, напр., истинные взгляды, понимаете, истинные, не для публики только, взгляды вожаков на значение террора?

Я заметил, что если бы он пожелал, то мог бы познакомиться с интересующими его вопросами на основании печатного, всем доступного материала, так как русские революционеры не имеют никаких особенных взглядов только для внутреннего, так сказать, употребления и охотно излагают свою программу и тактику в русской и иностранной печати, в статьях и заметках, на собраниях и т. п. Разницы во мнениях вожаков и рядовых членов партии нет. Но есть разница во взглядах различных фракций. В то время как, напр., русские марксисты отрицают террор, народовольцы смотрят на него, как на могущественное и целесообразное, но страшное оружие, к которому можно прибегать только в деспотических странах и притом в крайних случаях...

Гийо внимательно слушал теперь мою «журналистику», не перебивая меня и только от времени до времени наклоняя свой огромный череп в знак согласия.

— Прикажете записать? — раздается почтительный голос секретаря.

— Конечно, нет! — резко отвечает Гийо. — Мы ведем совершенно свободный разговор с господином Русановым.

И снова обращается ко мне с вопросами и недоумениями.

— Но этот фанатизм, эта необыкновенная смелость при совершении преступл... террористических актов? Возьмем Падлевского. Среди бела дня, в центре Парижа! Что вы думаете о психологии таких людей?

— Я не знаю, принадлежит ли даже Падлевский к какой-нибудь русской революционной партии. Но русские террористы — люди глубоко убежденные и действительно совершали свои действия с поразительным мужеством и презрением к опасности.

И я рассказал Гийо некоторые подробности убийства в 1878 г. шефа жандармов, Мезенцева, неизвестным, скрывшимся после акта революционером, который ударил кинжалом гулявшего генерала среди бела дня, на людной улице Петербурга и умчался на заготовленной его товарищами коляске.

И вдруг Гийо оживился, словно проснувшийся хищник, и зажег огонек в своих глазах.

— Это важно, это интересно... Запишите тотчас же! — вдруг обратился Гийо к своему неподвижно сидевшему секретарю, — в 1878 г. шеф жандармов, генерал Мезенцев, был убит среди бела дня, на одной из людных улиц Петербурга, неизвестным революционером, который скрылся, увезенный своими товарищами... Да, точь-в-точь, как Падлевский: среди бела дня... гм... скрылся... при помощи своих друзей... на людной улице... и скрылся...Обстоятельства, поразительно совпадающие, говорящие о том, что у русских революционеров есть особая тождественная психология фанатического бесстрашия и особые приемы совершения преступления и исчезновения... Падлевский — несомненно член террористической партии! — не то вел «свободные» разговоры со мной, не то диктовал своему недоумевающему и переставшему было писать секретарю Гийо.

Я не мог удержаться от улыбки при виде снова заработавшей мельницы сыскной ассоциации идей в голове грозного судебного следователя. Со мной Гийо расстался важно-любезно, выразив, как мне казалось, изрядно иронически желание опять встретиться. Материал, собранный им на следствии, был передан, за ненахождением Падлевского, суду, разбиравшему дело госпожи Дюк-Керси и приятеля госпожи Северин по укрывательству убийцы. Что касается до франко-русской политической полиции, то это почтенное учреждение, не желая сознаться в своей ошибке привлечения к делу Падлевского совершенно невинных лиц, сделало все, что только могло чтобы представить их тем не менее правительству Третьей республики очень опасными людьми, и кое-кто из них пострадал. Мое положение в доме Гашетта спасло меня от всяких дальнейших неприятностей. Но один из членов польской социалистической партии был выслан.

VIII.

Рост марксизма в России.—Книга Бельтова (Плеханова) и моя критика на нее.—Я—корреспондент из Франции в „Русском Богатстве", под псевдонимом Кудрина.—Яковлев-Богучарский и его переход к марксистам.—Заслуги русской социал-демократии в рабочем движении.—Возникновение и рост партии социалистов-революционеров в России и за границей.—Я пишу о русских литературных и жизненных явлениях в „Русском Богатстве" под псевдонимом Подарского.—Я—редактор „Вестника русской революции".—Портреты и абрисы социал-революционеров: Чернова, Михаила Гоца, предателя Азефа, Гершуни.

Как и другие сторонники Народной Воли, за исключением нашего верного союзника Лаврова, я довольно долго не отдавал себе отчета в росте и жизненном значении русского марксизма и особенно русской социал-демократии. Мне казалось, что то было чисто кабинетное, в лучшем случае литературное движение, которое исходило от Женевской «Группы освобождения труда» и находило себе сторонников, главным образом, среди русских студентов, живших за границей в западноевропейских условиях, способствовавших распространению идей «научного социализма». Русская же действительность не должна была, по моему мнению, служить благодарной почвой для возникновения и развития того учения, которое чаще всего называлось тогда именем экономического материализма. И однако, это было не совсем так [1]).

Вслед за голодом и холерой 1891 — 1892 гг., программа народовольчества, которое более десяти лет тому назад впервые стремилось соединить борьбу за социализм с борьбой за политическую свободу, стала все менее и менее привлекать наиболее активную молодежь. И это было тем страннее, что в общем с этого времени русская общественная жизнь начинает снова оживляться. С другой стороны, действенные элементы

[1]) Пусть читатель обратит особое внимание на эти поздние признания Н. Русановым своих ошибок. Ложная теория не давала возможности понимать подлинное течение действительности. Капиталистическое развитие России в восьмидесятые годы продолжало разорять крестьянские массы на одном полюсе, но в то же время оно создавало на другом полюсе своего собственного могильщика в будущем—пролетариат. Если б народники пони-

из молодежи и общества тянули все более и более к марксизму. Выходило так, что многие, говорившие о желании продолжать тактику Народной Воли «с некоторыми изменениями в виду изменившихся условий», стали придавать старой программе однобокий характер, беря из нее лишь политические требования и оставляя совершенно в стороне социальные. Недаром обновленная программа была программою не Народной Воли, а Народоправства, из-за борьбы за политическую свободу забывавшего борьбу за социализм. Между тем как русские марксисты этого начального периода, понимая в теории важность борьбы за политическую свободу, игнорировали ее на практике в интересах борьбы за социализм, или, лучше сказать, за экономизм [1]). Большинство из них, во всяком случае, полагало, что самая главная задача состояла в пропаганде взглядов, придающих преобладающее значение экономическим отношениям, а в частности, в применении к России той точки зрения, что наша родина должна пройти целиком путь капиталистического развития, то-есть разложения общины и замены ее частной собственностью, пролетаризации крестьянства, концентрации капиталов и возникновения крупной капиталистической промышленности.

Соответственно с этим надежды возлагались марксистами только на рабочий класс; крестьянство считалось сплошь реакционным слоем; к интеллигенции относились почти презрительно, заключая самое слово в иронические кавычки; роль личности и организации личностей в общественной жизни сводилась почти к нулю; энергичная политическая борьба против самодержавия клеймилась названием авантюризма. Не лишено курьеза было то обстоятельство, что русский марксизм был пока учением части интеллигенции, которая вела пропаганду своего мировоззрения среди интеллигенции же, что он становился идейной модой учащейся молодежи и литературных групп, а среди общества привлекал чиновников некоторых министерств, технический персонал служащих на растущих промышленных предприятиях, равно как некоторую долю наших образованных фабрикантов. И он как раз затрагивал

мали этот процесс, они не ставили бы ставки на то, что роль Демиурга революционной истории будут играть массы пауперизованного крестьянства, а знали бы, что единственным классом-борцом, классом-организатором, классом-гегемоном, которому суждено вести за собой трудящиеся, обездоленные, массы,—становится пролетариат. И тогда для народников не было бы решительно ничего „странного“ в торжестве, в успехах марксизма,—этой подлинной идеологии рабочего класса. А теперь Н. Русанову приходится констатировать свои собственные промахи, правда, наивно смягчая их. „Это было не совсем так“,—говорит наш автор, но читатель, конечно, поправит его и скажет: „Это было совсем не так“.

[1]) Здесь автор „немножечко“ искажает историю. Никогда, даже в этот „начальный период“, так называемый „экономизм“ не был принадлежностью всех русских марксистов. Не говоря уже о „Группе освобождения труда“, о Ленине и т. д., даже среди наиболее отсталых рабочих „экономисты“ не имели большинства.

сравнительно слабо рабочего, то есть, согласно новой догме, главного носителя заправского социализма.

Как русская учащаяся молодежь 60-х годов обнаруживала идейный энтузиазм перед Бюхнером, Молешоттом, Писаревым, а 70-х годов — перед Прудоном и Бакуниным, так теперь эта же самая молодежь увлекалась Марксом и Энгельсом. И я живо помню огромного семинариста из северной России, который, попав в Париж и не зная ни одного европейского языка, считая себя, однако, знатоком современного социализма, горячо в разговоре бичевал меня на чистейшем вологодском наречии за мою буржуазную точку зрения, «мешающую мне понять, что овес и все прочие злаки и даже все политические партии и самые мысли наши растут и развиваются по диалектическому методу Гегеля». Скоро русским марксистам удалось, не ограничиваясь нелегальной литературой за границей, издать в самой России ряд легальных книг, получивших широкое распространение. И полемика между сторонниками и противниками экономического материализма жарко запылала на страницах журналов и даже столбцах газет.

В эту полемику был втянут и я. Мои идейные товарищи обратили мое внимание на книгу «К вопросу о монистической точке зрения в истории», вышедшую в 1894 г. и сразу же возбудившую большую сенсацию в обоих враждующих лагерях. Имя автора впервые появлялось в печати и было, очевидно, псевдонимом: Н. Бельтов. Но для внимательного читателя, знающего персонал русских легальных и нелегальных литераторов, ясно было, что такую книгу в защиту марксизма и с наступлением на врагов мог написать только Г. В. Плеханов. В ней было все, что характеризовало литературную физиономию наиболее выдающегося члена «Группы освобождения труда»: большое знание марксистской литературы, а общей постольку, поскольку она могла служить пропаганде идей марксизма; уверенность автора в том, что его устами говорит сама истина, тогда как его противники обладают печальной привилегией быть невеждами или лжецами; ясное, популярное изложение предмета и незаурядный полемический талант, который сильно портили вульгарные, порою невероятно грубые выпады против врагов; щеголянье цитатами, нередко из вторых рук, особенно из древних авторов, которых Плеханов читать в подлиннике не мог; недостаток истинной оригинальности, которой, вероятно, мешала почти религиозная вера в основы учения Маркса, но в пределах этой веры значительная самостоятельность в выводах и комментариях излюбленного миросозерцания, так как Плеханов был несомненно наиболее оригинальным из учеников Маркса [1]).

[1]) Когда-то австрийские генералы, которых бил Наполеон, возмущались до последней степени тем обстоятельством, что этот „недоучка“ и „выскочка“ сражался не по правилам стратегической науки. Читатель, прочитав последние строки Н. Русанова, поймет—по человечеству—его „австрийские“ сетования...

Я, конечно, узнал почти с первых же страниц книги автора, надевшего маску Бельтова, и решил ответить на нее, продолжая начатую им литературную мистификацию, как если бы имел дело с начинающим, пока неизвестным писателем. Я старался не только разбирать ее в частности, сколько охарактеризовать общую писательскую физиономию автора, его позицию, приемы его изложения и полемики. В результате получилась журнальная статья «На высотах об'ективной истины», приблизительно листа в два (в ее первоначальном, неискаженном цензурою виде), которую я тоже хотел пустить в легальной русской печати.

И здесь для меня возникло немалое затруднение. У меня не было теперь никаких литературных связей с Россией. Последняя моя статья, подписанная настоящей фамилией, была посвящена Бахофену и появилась в «Русской Мысли» за 1889 г. С тех пор правительство узнало о моей нелегальной литературной деятельности за границей, и, конечно, Русанову (Тарасову) «Вестника Народной Воли» и «Материалов по истории русского революционного движения» нечего было и думать писать в русской прессе с поднятым забралом. Надо было строго законспирироваться и выбрать псевдоним, а также остановить свой выбор на каком-нибудь из легальных журналов. Я прочитал поэтому свою статью лишь одному Лаврову, который остался очень доволен ею и считал крайне полезным напечатать ее именно в самой России. Мы долго обдумывали, в какой журнал послать, и решили, что наиболее подходящим будет «Русское богатство», которое выходило теперь под фактической редакцией Н. К. Михайловского, уже начавшего полемизировать с русским марксизмом. В ознаменование довольно забавных приключений Н. Бельтова в роли переводчика древних авторов, я подписал свою статью греко-римским псевдонимом — Утис Неминиссимус (Никто никакейший), сообщил редакции свою настоящую фамилию с адресом на Гашетта и стал ждать ответа.

Через какие-нибудь полторы недели я получил от Михайловского письмо с одобрительным отзывом моей статье и с извещением, что она будет напечатана в самом скором времени. Вместе с тем, Николай Константинович просил у меня разрешения заменить мой, показавшийся ему очень сложным псевдоним более простым и удобным — Н. Кудрин (по ассоциации идей: Русанов — Кудрин = русые кудри). Статья моя произвела некоторое впечатление в идейных кругах, и читатели, усердно следившие за полемикою марксистов и «народников», тщетно ломали голову над вопросом, кто мог скрываться под псевдонимом Кудрина, который очень старательно сохранялся в тайне редакцией «Русского Богатства». Позже я слышал от друзей Плеханова, что и он в известном смысле был доволен моей вещью, как наиболее серьезной и наименее придирчивой из полемических статей, направленных против его книги. Его, повидимому, более всего задело мое ирониче-

ское отношение к его греческим цитатам, якобы переведенным с подлинника, и он великодушно сознавался в своих ошибках, относя их, впрочем, на счет лица, заведывающего изданием книги в России и не сверившего текста с оригиналом.

Я же был признателен Плеханову, что как ни как, а, благодаря ему, я снова мог беседовать с читателем в самой России: не напиши он своей книги, и я, вероятно, долго бы еще искал случая появиться снова в легальной литературе. А теперь моя статья открывала мне двери русской печати, мало того: делала меня постоянным сотрудником одного из лучших тогдашних журналов. Действительно, на Н. К. Михайловского моя статья о Плеханове произвела столь благоприятное впечатление, что он предложил мне посылать в его журнал разного рода отдельные статьи и рецензии по моему усмотрению, а вскоре попросил меня стать постоянным корреспондентом из Франции на место М. М. Ковалевского, прекратившего начатые было им политические письма не то из-за придирчивости цензуры, не то от недостатка времени.

С французскими корреспонденциями связано у меня одно из лучших воспоминаний о моей литературной деятельности. Открывая мне страницы «Русского Богатства» для постоянного сотрудничества из-за границы, Михайловский просил меня по возможности меньше писать о злободневной политике, а посвящать мои корреспонденции «длящимся темам» культурной, общественной и литературной жизни Франции. Собственно, согласно своей программе, разрешенной цензурным ведомством, «Русское Богатство» и не могло даже касаться чистой политики. Кроме того, во Франции было много интересных явлений в разнообразных сферах бытия и мысли.

Я принял близко к сердцу пожелание Михайловского и, могу сказать, установил новый тип журнальных корреспонденций, который нашел с тех пор много подражателей. Отправляясь от конкретных явлений, зачастую от событий дня, я постоянно стремился осмыслить эти явления и осветить эти события, вдвигая их в общую обстановку, изучая зачастую вопрос исторически, присоединяя к своим личным наблюдениям и непосредственному опыту огромный запас наблюдений и опыта предшественников, занесших свои впечатления и размышления на страницы богатейшей французской литературы. Я знал, что мои письма из Франции одно время сильно интересовали русского идейного читателя, читателя-друга, который в парижских корреспонденциях искал нередко ответа и на волновавшие его вопросы русской действительности. И, конечно, я выбирал преимущественно темы, которые естественно вызывали его на такое сближение. Но, не отказываясь от некоторой тенденциозности в выборе предметов для своих писем, я старался прежде всего, насколько мог об'ективно, знакомить читателей «Русского Богатства» с разными сторонами общественной жизни старой культурной страны. И неоднократно

я испытывал чувство удовлетворения, встречаясь с русскими, которые, не зная лично меня, выражали сочувствие парижскому корреспонденту, стремившемуся дать им понятие о действительной Франции. Корреспонденции эти, лишь часть которых была позже напечатана отдельной книгой под заглавием «Очерки Современной Франции», были очень полезны и мне в смысле проверки моего социалистического — в широком смысле этого слова — мировоззрения на конкретных фактах французской действительности.

Какому бы вопросу я ни посвящал свои письма, я изучал тщательно данную группу явлений в настоящем и прошедшем. Но это изучение все более и более укрепляло меня в убеждении, что нет ничего бесплоднее, как изображать реальную жизнь под углом зрения какой-нибудь абстракции, и что любой общественный или политический вопрос принимает в разных странах особый характер, приближается к известному, если можно так выразиться, национальному типу, словом, индивидуализируется в зависимости от условий данной среды и данного исторического периода. Особенно это ощущалось мною, когда я давал характеристики выдающихся французов в области политики, литературы, науки, что составило ряд портретов для моей «Галлереи современных французских знаменитостей». Михайловскому особенно нравилась эта сторона моей корреспондентской деятельности, и он неоднократно обращался ко мне с просьбой писать почаще такие биографии для «Русского Богатства». И вот, работая над этими изображениями личностей, я мог заметить, как общие человеческие черты, равно как общие профессиональные особенности, — политика, ученого, литератора, — носят у французов особый отпечаток, который не позволит смешать Вальдэка-Руссо с Кавуром, Пастера с Гельмгольцем, Альфонса Додэ с очень родственным ему Диккенсом или Жореса с Бебелем.

Словом, эти корреспонденции стали моим любимым делом: то была работа не только хлебная, как в географическом словаре, но и работа для души. И как ни утомляло меня писание этих корреспонденций у себя вечером после семичасового рабочего дня, отдававшегося по большей части на неинтересные для меня вещи, меня поддерживало в моем новом труде сознание общения с далеким от меня пространственно, но близким моей душе русским читателем. Порою я чувствовал большую физическую усталость. Но мысль об этих невидимых и тем не менее таких реальных друзьях поддерживала во мне бодрость, необходимую для начатого дела. Первое время я не пропускал почти ни одного месяца и к определенному числу аккуратно посылал в «Русское Богатство» статью в полтора-два листа. Около двадцати вечеров в месяц я посвящал на подготовку материалов и на обдумывание корреспонденций; остальные вечера я писал, и это время было для меня наиболее тягостным.

Я, конечно, оставил дурную русскую привычку работать запоем. Обязательные занятия во французском издательстве принудили, наоборот, меня отдавать ежедневно работе определенное число часов. Но самый процесс писания оставался для меня попрежнему неприятным. Я не принадлежу к категории писателей, которым именно этот процесс доставляет удовольствие, как рассказывал мне о себе К. М. Станюкович, признававшийся, что он с истинным наслаждением присаживался к письменному столу и видел, как его мысли и возникающие у него образы переходят на бумагу и вытягиваются в черные нити строчек, образуя материальную основу общения с читателем. Для меня же привлекателен процесс приготовления к работе, процесс обдумывания ее плана, когда ассоциация идей идет полным ходом и в сознании порою возникают сближения, самая неожиданность которых приятно ощущается писателем. Я пишу в общем легко, с течением времени научился писать почти без помарок, что достигается, главным образом, моей привычкой хорошенько обдумывать план работы, вынашивать его в голове, прежде чем приниматься за писание. Но процедура самого писания, когда мысль, столь ясную для самого себя, приходится передавать читателю в известной внешней форме, считаться с разными условностями этой литературной передачи, вставлять «и», «но», «однако», наблюдать за тем, чтобы одно и то же слово не очень часто повторялось и не надоедало читателю, итти шаг за шагом, когда идея делает огромные, но вполне логические (потому что видимые изнутри писателем) прыжки, — вся эта литературная стряпня всегда надоедала мне, всегда меня раздражала.

И я помню, какое облегчение я почувствовал, когда много лет спустя, уже возвратившись в Россию, я решил диктовать свои статьи и нашел превосходную машинистку, выстукивавшую почти со стенографической быстротой мои фразы, в то время как они сходили у меня с языка. Конечно, при этой полуимпровизации — импровизацией моя диктовка никогда не была, так как я, повторяю, привык заранее обдумывать, вплоть до подробностей, развитие мысли в очередной литературной работе, — при этой полуимпровизации получались оговорки, повторения, некрасивые выражения, словом, те словесные шлаки, которые неизбежны при устной передаче мысли. Но зато мысль не прерывалась в своем логическом течении стремлением подыскивать все время наилучшую форму выражения и, теряя, может быть, в красоте формулировки, выигрывала в цельности. С другой стороны, любя русский язык и, как мне чувствуется, владея им хорошо с ранней юности, я никогда не ставил своею специальной задачею быть стилистом. У меня не было ни желания, ни времени чистить, шлифовать и полировать свой слог до тех пор, пока он не принимал, как это было в результате такой работы у Руссо, удивительной силы и звучности. Но я тщательно прочитывал

продиктованное и сглаживал упомянутые шлаки, стараясь, чтобы статья и не отталкивала читателя своей внешностью, так как я не разделял мнения до сих пор многочисленных ученых педантов Германии, что чем вещь хуже написана, чем она больше удручает читателя, тем она основательнее и глубже. Во всяком случае все мои статьи в «Русском Богатстве» 1910—1917 годов были продиктованы, и статья в полтора-два печатных листа не брала у меня теперь более трех-четырех дней при продолжительности диктовки, не превосходящей двух-трех часов в день.

Но в течение пятнадцати лет, особенно в первые годы моего сотрудничества в «Русском Богатстве», на материальную сторону писания у меня уходило немало времени, и каждый раз, отправляя свою корреспонденцию в редакцию журнала, я чувствовал большое утомление. И однако, несмотря на это ощущение периодически обострявшейся усталости, я не терял бодрости настроения и продолжал посылать письма из Парижа. Кроме постоянно согревавшей меня мысли об идейном читателе, на меня благотворно действовала нравственная поддержка Михайловского. Он был, как сам определил себя, не эпистолярный человек. Но в течение ряда лет он находил время писать мне письма, не всегда длинные, но всегда интересные и почти без исключения касавшиеся моей литературной деятельности в «Русском Богатстве».

Я до сих пор не опубликовал, за исключением некоторых мест, этих писем: после моей смерти они будут напечатаны, и читатель увидит, с какой идейной теплотой относился ко мне этот замечательный русский человек. Но некоторое понятие о таком его отношении ко мне дает переписка между Михайловским и П. Ф. Якубовичем, помещенная после смерти последнего в «Русском Богатстве». Меня прежде всего трогала та бережность, с какой Михайловский редактировал мои корреспонденции, или, лучше сказать, с какой он старался не касаться их, лишь в крайнем случае изменяя несколько фраз, чтобы оцензурировать статью, или же изо всех сил отстаивая перед цензором мою первоначальную редакцию. После появления моей очередной корреспонденции в печати он почти всякий раз писал мне об этих стараниях и выражал опасения, как бы эти зачастую нелепые придирки цензурного ведомства не отбили у меня охоту дальнейшего сотрудничества, которым он, по его словам, очень дорожил. Вначале некоторые из этих статей, которые я подписывал Н. Кудрин и просто Н. К.—инициалами моего псевдонима, принимались за статьи самого Михайловского, тоже раньше подписывавшего свои статьи такими же инициалами Н. К. (своего имени и отчества—Николай Константинович). Так, однажды Михайловский прислал мне адресованную ему на редакцию «Русского Богатства» вырезку из какой-то газеты южной Франции, где неизвестный рецензент, повидимому русский, с большой похвалой отзывался о моей

корреспонденции «Черная армия против республики», приписывая эту статью самому Михайловскому. Эту вырезку Николай Константинович сопроводил письмом, в котором просил меня послать от его имени в редакцию газеты следующее опровержение: «М. Г., Вы были настолько любезны, что обратили внимание Ваших читателей на письмо из Франции, появившееся на страницах редактируемого мною журнала, но, очевидно, были введены в заблуждение инициалами, которыми оно подписано, и приписали его мне. Я готов подписаться обеими руками под содержанием и формою этой действительно превосходной статьи. Но ее автор не я, а наш постоянный сотрудник, давно живущий во Франции и пишущий из Парижа».

Отношением ко мне Михайловского определялись в известной степени отношения ко мне и всей тогдашней редакции, дорожившей мнением главного руководителя «Русского Богатства»—В. Г. Короленко, Н. Ф. Анненского, А. И. Иванчина-Писарева. Впрочем, два последних знали меня совсем молодым еще в России и сохранили хорошее воспоминание обо мне. Короленко не был лично знаком со мною, но тоже интересовался моими корреспонденциями и, заменяя в редакции временно отсутствовавшего Михайловского, написал мне, если не ошибаюсь, первым очень милое письмо.

Здесь, может быть, не мешает заметить, что я любил Михайловского, как редактора, гораздо больше, чем Короленко. Последний неизмеримо больше Михайловского поддавался обычной идеологии русской прогрессивной интеллигенции и робел перед утверждениями, идущими в разрез с некоторыми излюбленными взглядами на вещи и на людей. Как раз во время этой замены Михайловского Короленко я нашел в своих статьях, посланных в «Русское Богатство», характерные если не изменения, то выкидки, которые были, очевидно, сделаны не цензурой, а редакцией. Дело шло о моей большой, непретенциозной, чисто описательной статье «Пятьсот миль на велосипеде», где я изображал свои впечатления туриста во время двухнедельного путешествия по Англии и Уэльсу.

И вот в одном месте этой статьи, передавая свой разговор с рабочим-социалистом Хайнсом, который был трубочистом оксфордского университета и приятелем тамошних радикальных профессоров, я счел нужным поделиться с русскими читателями взглядами наиболее передовых слоев английского рабочего класса на Гладстона. Хайнс далеко не был поклонником знаменитого лидера либералов. Он не отрицал постоянного передвижения влево, которое Гладстон проделывал в течение всей своей долгой политической жизни. Но он указывал, какую огромную роль в прогрессе этой эволюции играли у Гладстона его непомерное честолюбие и властолюбие, чем об'яснялось, что никогда собственно этот знаменитый парламентарий не являлся поборником нового течения в общественной жизни,

пока оно было еще совсем слабо, пока еще существовала действительная опасность навлечь им на себя непопулярность среди широких слоев населения или даже исполненной предрассудков улицы. Лишь когда новая идея приобретала значительное число сторонников, группировала вокруг себя уже импонирующее меньшинство, тогда Гладстон становился иногда ее восприемником и всегда адвокатом, никогда не будучи отцом. Его замечательное политическое чутье подсказывало ему, что скоро это меньшинство сделается господствующим, и тогда он не боялся бросаться в первые ряды все растущей армии. Тогда, но не раньше, чем он истощал все ресурсы своего гибкого и тонкого ума на защиту старого, некогда могучего направления, ныне неудержимо клонившегося к упадку.

И Хайнс с тем спокойным, но глубоким негодованием, которое часто характеризует идейных общественных деятелей Англии, разбирал под этим углом зрения всю политическую карьеру Гладстона, не делая исключения и для его ирландской политики, даже особенно подчеркивая ее.

— Вы помните, с каким ожесточением Гладстон боролся с ирландскими патриотами в течение почти всего своего долгого министерства 1880—1885 гг. Немало было перевешано им за это время ирландских революционеров и просто членов Земельной Лиги. Но вот старый кормчий британского корабля учуял, что, идя в этом направлении, он наткнется рано или поздно на всесильное обратное течение и будет отброшен. И в 1886 г. он дал первый резкий удар «право руля», так что политическая махина пошла левым ходом. Он, правда, тогда не восторжествовал, да и теперь недавняя смерть застала его как будто оттертым на задний план консерваторами. Но разве вы не видите, что окончательное и, может быть, гораздо более скорое, чем думают, торжество ирландского гомруля лишь вопрос времени? Ведь свалившие либералов в 1894 г. унионисты сами ступают на намеченный Гладстоном путь аграрных и административных реформ и, поверьте, проведут их еще радикальнее, чем «великий старец», лучше бы сказать, великий интриган, который в течение всей своей жизни мазал по губам все партии, лишь бы стоять подольше у власти...

Я хотел возражать против этого резкого суждения о Гладстоне. Но Хайнс сделал решительный жест рукой и продолжал все тем же тоном сдержанного негодования:

— Простите, русский товарищ, но я попросил бы вас дать мне кончить... А мораль Гладстона, — мораль лицемерного пуританина, который отбрасывает ее, как старую тряпку, когда это нужно ему, лишь бы люди не заметили этого?.. Конечно, он лично нравственный человек в вульгарном, буржуазном смысле этого слова. И однако, какой двуличный господин! Я вполне понимаю Биконсфильда, который был, по крайней мере, откровенный, но остроумный каналья и любил говорить о Гладстоне:—«что за прескучная персона! У него нет даже ни

одного искупающего порока». А разве вы не знаете его отношений к Парнеллю? Гласно он еще нападал на него, а втихомолку уже видался с ним и переговаривался о совместной кампании. И где? В тюрьме... Он же присоединился к хору наших лицемерных английских политиканов, которые без различия партий подняли нелепый шум по поводу того, что у Парнелля была незаконная жена, которую он глубоко любил... А ведь она была главной посредницей между Парнеллем и Гладстоном... Да Гладстон и позже прибегал к ее негласному посредничеству, разумеется, под строжайшей тайной... А еще, словно поп какой, комментарии на библию пишет и все о нравственности христианской распространяется...

Некоторые из фактов, упоминаемых Хайнсом, были в то время мало кому известны, кроме кое-каких радикальных политических кругов, и, по молчаливому соглашению традиционных партий Англии, держались под спудом. Но они были настолько интересны, да и вся характеристика Гладстона, сделанная выдающимся английским рабочим, была так любопытна, что я почти буквально воспроизвел разговор Хайнса со мной.

И эти две-три страницы были, очевидно, выброшены самим редактором, то-есть Короленко, который замещал в то время Михайловского.

Я не стал препираться по этому поводу с Владимиром Галактионовичем, потому что понимал его психологию: как ему, типичному представителю русской прогрессивной—не революционной—интеллигенции, было не вычеркнуть всего этого места, когда для русского идейного читателя Гладстон был в своем роде священной особой, на которую критика не могла поднимать дерзновенной руки? Русская прогрессивная интеллигенция создавала себе богов по своему образу и подобию. Могла ли она, высоконравственная и глубоко альтруистичная, но не искусившаяся в европейской политике, но имевшая слабое понятие о сложной психологии общественных деятелей Запада, представить себе Гладстона честолюбцем, интриганом, лицемером и в то же время замечательным прогрессивным деятелем, возбуждавшим в такой степени энтузиазм у своих английских последователей, что наиболее благородные — и наиболее наивные — из них готовы были воскликнуть немножко на русский лад, как это делал Морлей, «честный Джон»—«Два человека сделали меня тем, что я есть: это—Джон Стюарт Милль и мистер Гладстон»...

Проводя, насколько это можно было, в скрытой форме и путем сближений с французской жизнью и французской мыслью социалистические и революционные идеи на страницах «Русского Богатства», но борясь этим же путем с преувеличениями русского марксизма, я не мог, однако, не заметить, что тяга нашей интеллигенции к этому течению все увеличивается, мало того, — что марксистское мировоззрение перестает быть только академическим и принимает практический характер, рас-

пространяясь среди рабочих и вызывая более или менее сильное брожение между ними. Идеи революционного социализма в его народовольческой форме к середине 90-х годов уже совсем явно пошли на убыль, и наш кружок старых народовольцев испытал на себе горечь потерь и идейных отпадений, когда люди, еще недавно бывшие нашими горячими сторонниками, переходили, порою почти совсем неожиданно, в лагерь марксистов.

Упомяну об одном таком, но достаточно типичном случае ухода от нас и сближения с марксистами человека, игравшего некоторую роль в русской литературе, а именно: Василия Яковлевича Яковлева-Богучарского. Когда я познакомился с ним, если не ошибаюсь, в 1894 г., в Париже, он целиком разделял программу нашего кружка, не будучи членом его, и, насколько мне казалось, особенно тяготел к Ошаниной и ко мне, видя в нас наиболее горячих защитников якобинства и революционного захвата власти. Один раз в разговоре со мной он зашел, помню, в этом направлении так далеко, говорил с такой горячностью о ничтожном политическом значении масс и о роли активного меньшинства из революционной интеллигенции и распропагандированных войск—он был раньше офицером,—словом, выказал себя таким якобинцем, что я, хоть и считавшийся наиболее резким бланкистом в нашем кружке, полагал, однако, нужным внести некоторые поправки в это чересчур упрощенное, как мне казалось, представление о революционном перевороте. Я обращал внимание Яковлева на то, что при теперешнем положении вещей даже в России нельзя было бы обойтись без поддержки более или менее значительного числа рабочих в городских центрах.

Весною 1895 г. Яковлев уехал в Россию, дав обещание Лаврову, как представителю нашего кружка, усиленно работать в нашем духе на родине и поддерживать нас сведениями и средствами от сочувствующих нам там, по его словам, многочисленных групп, стоящих на точке зрения Народной Воли. Еще летом 1895 г., вскоре по появлении моей статьи «На высотах об'ективной истины», Яковлев советовался с одним из моих родственников, живым, хорошим человеком, медиком по профессии и беспартийным социалистом по убеждениям, как бы найти средства для издания целой книги против Плеханова, составление которой он считал необходимым поручить мне, как человеку наиболее способному, по его мнению, потягаться идейно с главою русского марксизма. Извещенный об этом плане, я принимал в принципе предложение, но полагал с своей стороны, что посвящать большую работу полемике с Плехановым было бы, пожалуй, нецелесообразно, и проектировал дать в такой книге критику всего «экономического материализма» как в России, так и за границей.

Дальше ни я, ни мои товарищи ничего не слышали о деятельности Яковлева в нашем направлении. Он, который обещал

нам находиться в постоянном идейном общении, вдруг замолчал, словно воды набрал в рот. Где он был, что с ним делалось, мы ровно ничего не знали. Мы терялись в разных предположениях, склоняясь всего более к гипотезе его ареста. Но о таком аресте мы ничего не слышали. И вот, несколько месяцев спустя, мы косвенным путем получили сведение, что, встретившись с одним из наших политических единомышленников, Яковлев говорил ему, что с ним произошел какой-то благодетельный идейный кризис, что он под влиянием изучения социального вопроса и наблюдения русской действительности изменил свои прежние взгляды и что скоро найдет удобный случай заявить о том публично. А еще через несколько месяцев Яковлев прислал нам из России письмо — и большие теплые сапоги для Петра Лавровича. О письме сейчас, а сапоги были исполнением обещания, данного им Лаврову, который очень зяб зимой в своей плохо отопляемой парижской квартирке и просил Яковлева прислать ему из России хорошую, теплую обувь. Кстати сказать, сам Яковлев при отъезде торжественно оповестил нас, что присылка сапог Лаврову должна быть символом того, что он, Яковлев, идет неизменно по тому же пути, что и мы, и остается нашим идейным товарищем на родине.

Увы, содержание письма совершенно не соответствовало символической посылке. В письме Яковлев главным образом подвергал резкой критике нашу программу и тактику, говорил о неудачной работе наших единомышленников, воочию доказавших, будто бы, что они ничего не понимают в современной русской действительности, и в заключение заявлял, что он отказывается от старых, отживших идей народовольчества и переходит к новым людям, на стороне которых свет науки и правда жизни, короче сказать, к марксистам...

Петр Лаврович, более всех нас тяготевший теоретически к марксизму, но резко осуждавший тактику русских марксистов, которые, по его мнению, тратили гораздо больше сил на борьбу с социалистами других направлений, чем на борьбу с правительством, был ужасно огорчен и вместе раздосадован поведением Яковлева...

— Что мне его сапоги?.. На какого чорта мне его сапоги?—комически грозно восклицал он, прочитав нам письмо Яковлева,—почему так быстро уверовал он, что свет и правда только в окошке русских марксистов, этих бестактнейших учеников Маркса во всем свете... Да я его сапог и совсем носить не стану!.. Вот что... Только о пакости, о междоусобной войне между русскими социалистами напоминать будут...

Лавров с искренним негодованием вертел в руках превосходные, с длинными голенищами сапоги, подбитые мехом,—он вдруг бросил их на пол, и нам стоило немалых трудов убедить его отказаться от своего ригоризма по отношению к бедной, ни в чем неповинной обуви.

— Успокойтесь, Петр Лаврович,—старался я шуткой привести Лаврова в менее гневное состояние.—Он не вас одних обул в сапоги, но и весь наш кружок, всю программу народовольчества... Я смотрю на эти сапоги, как на об'явление войны, как на брошенную нам перчатку... И эту перчатку мы должны поднять... Крепкая и тяжелая вещь,—тем лучше!..

Я наклонился и поднял брошенную пару, которую через несколько дней Лавров решился, наконец, надеть.

А Яковлев, действительно, скоро стал воинствующим марксистом и под псевдонимом Богучарского усердно принялся развивать свое новое мировоззрение на столбцах «Нового Слова». Но особенно прочным оно не было. С конца 90-х годов он стал все более и более подливать либеральной воды в терпкое вино «классового» марксизма и нашел свое настоящее призвание в полезной роли не всегда точного и слабо обобщающего, но трудолюбивого историка русского революционного движения и редактора «Былого» и «Минувших годов».

Переход несамостоятельных людей в роде Богучарского к марксистам был, впрочем, не столько причиною, сколько симптомом усиления идей «экономического материализма». Идейная мода—модой, но в русском марксизме с половины 90-х годов стала привлекать активную молодежь его практическая работа, самоотверженная деятельность среди рабочих. Одни из увлеченных этою модою скоро примирялись на слегка радикальном, еле-еле сохранившем букет марксизма мировоззрении, как это было с Яковлевым-Богучарским. Другим, гордившимся своей самомнительной неустойчивостью, которую они смешивали с оригинальностью, предстояло пройти от первоначального, правоверного марксизма еще долгий путь, чтобы застрять окончательно в болоте восстановителей российского самодержавия на манер Струве. Третьи должны были стать жестоко враждующими братьями меньшевизма и большевизма. Но наиболее искренние приверженцы русского марксизма вошли в толщу рабочего движения и, несмотря на свои односторонности и увлечения, много сделали для пробуждения сознания среди молодого русского пролетариата.

Все более и более учащающиеся в размерах стачки были до известной степени одним из проявлений этого нового «хождения в народ», народ фабрик и заводов. Конечно, тут играло прежде всего роль стихийное недовольство рабочих, жестоко эксплуатируемых тепличным капитализмом, который выращивали русские самодержцы за высокой стеной покровительственных тарифов, поливая золотым дождем субсидий. С самого начала 90-х годов забастовки почти не прекращались, и марксисты умело пользовались ими с средины десятилетия в целях политической агитации. После ужасов голода 1891 г. и холеры 1892 г. оставивших беспокойное чувство в массах и обострившихся оппозиционное настроение в обществе, круги стачечных волн расходились все шире и шире. В 1892 г. вспыхнули кро-

вавые беспорядки в огромном рабочем центре Юзовке. В 1893 г. стачки и рабочие волнения обошли Петербург, Егорьевск, Харьков, Ростов-наДону, в 1894 г.—Шую, Петербург, Минск, Вильно, Тифлис, в 1895 г.—Петербург, Москву, Иваново-Вознесенск, Ярославль, Самару, Орел, Рославль, Минск, Белосток, Вильно. В 1896 г. знаменитая стачка десятков тысяч рабочих в Петербурге произвела глубокое впечатление на общество и заставила встрепенуться даже наше толстокожее, тупочувственное правительство, которое после этого было вынуждено издать закон 14-го июня 1897 г., являвшийся первою серьезною мерою ограничения рабочего дня для взрослых. А с 1896 г. по 1900 г. общее число стачек дошло до 220, и число стачечников превзошло 250 тысяч. Бессознательная тяга рабочих масс к улучшению своего положения принимала все более целесообразные формы под влиянием планомерного воздействия на них русской социал-демократии. И как бы противники нашего узкого марксизма ни относились критически к его доктрине, они должны были смотреть с уважением на практическую деятельность его сторонников.

Теперь наш марксизм возбуждал не только теоретический, но и действенный энтузиазм, и можно сказать, что во второй половине 90-х годов большинство живых и активных личностей из интеллигенции находило удовлетворение, работая в рядах социал-демократов. Скоро, правда, должно было начаться возрождение и другого, не-марксистского, течения, отчасти под влиянием эволюции самой социал-демократии — ниже мы об'ясним, каким образом. Но в 1896—1897 гг. русский марксизм владел, быть может, наиболее заметно умами революционной интеллигенции. В России идейная борьба против его преувеличений велась на страницах почти исключительно одного «Русского Богатства», велась с неподражаемым блеском в статьях Н. К. Михайловского [1]). А из других органов разве «Вестник Европы» уделял место критике экономического материализма, помещая, напр., философски-исторические этюды профессора Кареева. За границей же центром сопротивления русскому марксизму был наш кружок, где Лавров продолжал занимать свою позицию сторонника Маркса в теории, но противника русской социал-демократии во всей ее отрицательной, как он выражался, боевой, полемической деятельности, направленной против других русских социалистических течений. Я же не переставал указывать и на крупные недочеты марксистской доктрины. В 1896 г. наш кружок прекратил печатание «Материалов» и «С родины и на родину», выпустив раньше отдельным изданием по-русски и по-французски мой

[1]) „Неподражаемый блеск" статей Михайловского против „преувеличений" русского марксизма — есть подлинное „преувеличение" самого Н. Русанова:

„О, как на склоне наших дней
Сильней мы любим и *суеверней!*" (Тютчев).

этюд: «На рубеже двух царствований», — об итогах царствования Александра III и о начале царствования Николая II. Французское издание брошюры было сочувственно встречено, кстати сказать, журналом, посвященным обозрению французской университетской жизни. Отныне я мог защищать идеи революционного, немарксистского социализма лишь косвенным путем, затрагивая в помещаемых мною в «Русском Богатстве» корреспонденциях из Франции вопросы, на которых я мог уяснять русскому читателю возможность для искреннего социалиста быть энергичным борцом за идеалы трудового общества, не стоя непременно на узкой марксистской точке зрения. Во Франции встречалось немало именно таких социалистов, последним по времени и наиболее ярким представителем которых был тогда Жорэс, считавший нецелесообразным вести борьбу со столь резкими марксистами, как Гэд, Лафарг и их сторонники, но никогда не отдававший своей живой мысли и своего революционного чувства в плен доктрине экономического материализма.

Но в самой России уже снова назревало социалистическое мировоззрение, которое не могло укладываться в рамки марксизма и которое было родственно сходившему со сцены, казалось бы, народовольчеству. Его рост находился в известной зависимости от выработки в социал-демократической среде двух течений: одного—чисто «экономического»; другого, тяготевшего все более и более к политике. Мы видели, какая все крепчающая волна стачек катилась в России 90-х годов и какую выдающуюся роль в этом забастовочном движении играли русские социал-демократы. Скоро часть их, опьяненная успехами этого движения, организация которого была действительно в немалой степени делом рук русских марксистов, пришла к тому заключению, что, идя таким путем, оставаясь на почве чисто экономических требований рабочих, русская социал-демократия станет единственной действительно могущественной партией, которая чисто автоматически охватит весь рабочий класс России и столь же автоматически, без каких-либо кровавых потрясений, вытеснит из России абсолютизм. Так создалась теория и выработалась практика «экономизма», который основной силой социального развития считал профессиональное движение, при чем социальной демократии вменялось в обязанность не забегать вперед требований рабочей массы и, в особенности, не заниматься лишь отвлекающей в этом смысле — и потому вредной — политической деятельностью [1]).

Но почти одновременно с появлением этого направления выросло в рядах социал-демократии, как реакция против эко-

[1]) Характеристика экономизма очень далека от точности и ясности. Читатель должен обратиться за уяснением вопроса к статьям Плеханова и Ленина, направленным против экономизма. („Vademecum“ Плеханова, „Что делать“ Ленина и т. д.).

номизма, и политическое течение. Точнее говоря, это последнее течение никогда не переставало существовать с самого возникновения русского марксизма, и, напр., «Группа освобождения труда» в своих изданиях говорила о необходимости сочетать социализм с политической борьбой. Но, ожесточенно воюя с немарксистскими организациями, она перегибала очень часто палку в сторону экономики, а в России почти все приверженцы марксизма, по крайней мере около 1896—1897 гг., были экономистами. Теперь наиболее революционные марксисты увидали в большинстве своих товарищей, как в искажающем зеркале, преувеличенные, но в общем нечуждые им самим черты экономизма, увидали, пришли в несколько комический ужас и стали открещиваться от него, как от огромной ереси. Но на практике это было не так-то легко, ибо основоположникам русского марксизма приходилось дозировать очень тщательно количества «социализма» и политической борьбы, которые должен был вносить в программу и тактику партии всякий истинный, заправский ученик Маркса. Так возникло деление на «настоящих» и на «не-настоящих» марксистов, на экономистов и политиков, при чем обе стороны обменивались взаимно, по обычаю этого направления [1]), очень нелестными, но мало уясняющими суть разницы эпитетами.

Но в воздухе чувствовалось нарастание уже другой, более сильной реакции против экономизма и в известном смысле против всего русского марксизма. То возрождался революционный социализм, который брал основные черты у временно побежденного, но не умершего окончательно народовольчества и дополнял их некоторыми новыми чертами в связи с изменившимися условиями и под влиянием жестоких уроков, которые история двух последних десятилетий вписывала кровавыми буквами в сознание русской активной интеллигенции. Россия была накануне появления на политической арене партии социалистов-революционеров.

Подробная история возникновения этой партии до сих пор еще не написана. Да я в своих воспоминаниях и не претендую пополнить этот пробел. Мне хочется лишь восстановить в памяти некоторые события и некоторых лиц, тех по крайней мере, которые знаменовали перемену в общем ходе

---

[1]) „По обычаю этого направления". Когда-то среди народников очень распространен был „обычай" подсмеиваться над фракционной борьбой внутри социал-демократии, шедшей к пролетарской монолитности путем безжалостного выбрасывания из своих рядов мелкобуржуазных элементов. Народники издевались над „единством" социал-демократии. Но история жестоко посмеялась над ними самими: в 1905-1907 г.г. они раскололись на максималистов, центристов, народных социалистов, трудовиков и т. д.; за последнее десятилетие старые центристы распались на левых эсеров, на группу Вольского, на черновцев, на воленародцев и т. д., и т. п.,—на бесчисленное количество всевозможных группировок, не выделивших, в коренное отличие от революционного марксизма, ни единой группировки, которая стала бы жизнеспособным центром собирания сил.

русской политической истории. Приходится, естественно, возвращаться к нашему кружку и к тому, какие явления в России и за границей останавливали на себе внимание его членов. Его состав изменился, и число активных членов его все сокращалось. Смерть Марьи Николаевны Ошаниной (в 1897 г.), от которой вечные недомогания последних лет оставили лишь тень, унесла из наших рядов единственного товарища, чья душа хранила лучшие традиции Народной Воли в героический период ее существования. Лавров, хотя и продолжавший оставаться верным союзником Народной Воли, теперь с полным сочувствием следил за деятельностью марксистов среди рабочих и попрежнему резко отзывался лишь об их враждебном отношении к другим социалистическим течениям.

Рубанович, оставшийся без постоянного идейного воздействия Ошаниной, видимо, колебался, искал себе пути среди различных направлений, но во всяком случае энергично боролся с русскими марксистами, не без успеха выдвигая против них свой немалый ораторский талант на русских собраниях в Париже. Между заграничными социалистическими партиями он шел в деле Дрейфуса сначала бок о-бок с жорэсистами, но отшатнулся от них, когда Жорэс высказался за участие социалистов в буржуазном кабинете. Серебряков, живший вдали от нас, в Лондоне, более чем когда-либо смешивал социализм с требованием «любить народ» и склонялся к политическому радикализму, не переставая быть врагом русского самодержавия.

Пишущий эти строки, может быть, наиболее из всех членов кружка сохранивший веру в захват власти русскими революционерами, считал необходимым для них с этой целью стоять обеими ногами на почве боевого социализма, организовать армию восстания из активной интеллигенции, наиболее сознательных рабочих и более или менее значительных частей войск в городских центрах, в момент же обострения внешних и внутренних затруднений попробовать произвести переворот на почве широких политических и социальных реформ, как-то: установления народной республики, всеобщей подачи голосов, включая сюда и голоса женщин, перехода важнейших промышленных предприятий в руки государства, национализации всей земельной собственности и передачи ее в руки крестьянских обществ, с сохранением общинного владения там, где оно осталось, и т. п. Самостоятельного значения за крестьянством, как за революционной силой, я не признавал, но полагал, что оно поддержит восстание, вспыхнувшее во всех важнейших городских центрах. Я с интересом вглядывался теперь в агитационную деятельность марксистов среди рабочих, но, с одной стороны, думал, что она раздувается и бессознательно, и сознательно нашей социал-демократией, а с другой — что она носит чересчур экономический, профессиональный характер.

Естественно, что при таком, немножко пестром, настроении нашего кружка мы и по разному воспринимали сведения о некоторых новых явлениях на родине и об их отражениях за границей. Мы знали, что на юге России, во второй половине 90-х годов (приблизительно в 1896 г.) возникли и работали группы, называвшие себя социально-революционными и отчасти державшиеся программы старой Народной Воли, отчасти расширявшие ее. По крайней мере, образовавшаяся в результате совещаний федерация этих групп сочла возможным выпустить несколькими годами позже (в 1900 г.) «Манифест партии социалистов-революционеров», в котором говорилось не только о «деятельности в первую голову среди промышленного пролетариата», но и о «непосредственной революционной работе среди крестьянства».

В том же направлении расширения революционной работы в деревне действовало возникшее в 1898 г. в юго-восточной России «Сельское братство для защиты прав народа», программа которого была напечатана за границей в 1899 г. одной из групп «Социально-революционного союза». А в 1900 г. некоторыми членами братства и некоторыми социалистами-революционерами была основана за границей «Аграрно-социалистическая лига», куда, при самом возникновении ее, вошли из нашего кружка Рубанович и славный ветеран русского социалистического движения, П. Л. Лавров, о котором можно сказать, что он не только приветствовал эти лигу, но

и в гроб сходя, благословил.

В последних числах января 1900 г. его, действительно, не стало, и из всего нашего «Кружка старых народовольцев» остались, в сущности, только Рубанович и я, так как Серебряков имел теперь лишь слабое касательство к этой организации. Не мешает, может быть, отметить здесь, что я отказался войти в Аграрно-социалистическую лигу, так как продолжал скептически относиться к активной роли крестьянства в перевороте, к которому, как мне казалось, неудержимо начала стремиться новая Россия, выросшая под железной покрышкой самодержавия. В этом смысле я приближался к русской социал-демократии, хотя не переставал бороться в легальной и нелегальной печати с преувеличениями ее теории и ее тактики. С другой стороны, Рубанович, хотя и вошедший в Аграрно-социалистическую лигу, довольно неожиданно для меня и для других единомышленников, заявил, — сначала на одном из французских митингов, — что он отныне целиком принимает мировоззрение Маркса и считает и теоретическим принципом, и практическим лозунгом деятельности социалистов начало классовой борьбы.

По довольно забавной случайности, я впервые об этом внезапном исповедании марксистской веры Рубановичем услышал из уст Лафарга, который жил тогда в местечке Дравейль,

в 25 километрах к югу от Парижа, и к которому я приезжал гостить почти каждую неделю на субботу и воскресенье. Лафарг вернулся из Парижа довольно поздно вечером в субботу, когда я сидел уже под его гостеприимным кровом и разговаривал с его женой, с которой мы очень дружили.

— Хотите услышать неприятную для вас новость? — по обыкновению весело заговорил Лафарг, протягивая мне руку.— Ваш приятель Рубанович, который с утра до вечера ел марксизм, только-что публично заявил, что целиком присоединяется к приверженцам Маркса.... Однако, немало нужно было ему времени, чтобы убедиться в своих идеалистических глупостях... Ну, что-ж, лучше поздно, чем никогда... за исключением брака, когда лучше никогда, чем поздно...

Я был поражен и ничего не ответил продолжавшему шутить Лафаргу. При первой же встрече со мной Рубанович заговорил о своем публичном заявлении, но, против обыкновения, без достаточной определенности. Он сказал лишь, что зрелище современной Франции, где такие идеалисты, как Жорэс, сбиваются однако с пути и рекомендуют сотрудничество классов и вхождение социалистов в буржуазное министерство, тогда как марксисты и бланкисты остаются верными своей непримиримой революционной точке зрения, — что это зрелище уже несколько месяцев страшно смущало его, заставляло сильно задумываться над судьбами современного социализма и, наконец, подсказало ему решение стать на почву марксистов и «принципа классовой борьбы». Но эта позиция отнюдь, мол, не исключает ни его отрицательного отношения к русской социал-демократии, ни его деятельности в рядах образующейся партии социалистов-революционеров...

В это время новая партия стала, действительно, окончательно складываться. Наряду с южными и юго-восточными группами, подчеркивающими преимущественно работу в крестьянстве, на севере действовали группы, принадлежащие к «Социально-революционному союзу», который в конце 1900 г. издал первый номер «Революционной России», где подчеркивалась необходимость энергичной политической борьбы с самодержавием. А вскоре все эти группы сложились в единую партию социалистов-революционеров, которая выделила для террористической деятельности особый орган, так называемую «Боевую организацию». Ускоряющим этот процесс слития фактором послужил и «Вестник русской революции», который я стал редактировать с конца 1901 г. в Париже (а печатать в Женеве) и который, со второго номера, появившегося в феврале 1902 г., был признан теоретическим органом новой партии. В Женеве же стал выходить официальный орган партии, еженедельная «Революционная Россия». Яркие события, новые лица восстают из этой эпохи в моей памяти. Мне приходится остановиться на некоторых из них, имевших большее отношение ко мне.

Усиление немарксистских течений, где новые идеи сливались со старыми, вызывало уже довольно давно во мне желание дать им выражение в нелегальной и, особенно, в легальной прессе. И я мечтал попробовать себя в «Русском Богатстве», кроме корреспонденций из Франции, на чисто русских вопросах. Втечение двух-трех лет я делился этим желанием с Михайловским и Иванчиным-Писаревым, который с 1897 г. часто писал мне от редакции вместо Михайловского. Но старый, испытанный публицист и сам, и через Иванчина-Писарева неоднократно высказывал то мнение, что, как он ни ценит меня как литератора, он все же очень сомневается, чтобы я мог справиться с задачей, которую хочу возложить на себя. Из-за границы, по его мнению, очень трудно писать по русским вопросам, трудно, во-первых, потому, что, живя так долго вне России, я не могу отдать себе отчет, какие вопросы особенно интересуют отечественного читателя, а во-вторых, потому, что я не сумею приспособиться к русской цензуре, которая нелепо строга особенно в приложении к русским делам. Мне не хотелось препираться по этому поводу с Михайловским и навязываться в сотрудники по внутренним вопросам, когда в самом «Русском Богатстве» находилось столько специалистов из этой области.

Случай опять-таки помог мне расширить мое сотрудничество в «Русском Богатстве» в желательном для меня направлении. В 1901 г. исполнилось сорокалетие литературной деятельности Михайловского. Его идейные друзья и почитатели решили ознаменовать это событие изданием сборника в честь юбиляра. В России был устроен с этой целью особый редакционный комитет. Бывший одним из членов его П. Ф. Якубович, с которым мы уже переписывались некоторое время, прислал мне приглашение участвовать в задуманном предприятии и просил наметить тему для статьи. Мне пришло в голову проследить и уяснить общественную, то-есть, в сущности, революционную роль славного публициста, который столько лет отзывался на злободневные вопросы русской жизни и в известные моменты с неподражаемой силой и яркостью выражал требования революционной интеллигенции. Оставляя в стороне теоретические статьи Михайловского, я внимательно изучил его литературно-общественные обозрения и заметки, отвечавшие моей теме. В результате получился большой, почти в три печатных листа, очерк, которому ради цензурности я дал заглавие: «Чем русская общественная жизнь обязана Н. К. Михайловскому?»

Статья моя чрезвычайно понравилась редакторам сборника и литературным кругам, где она была широко распространена, но осталась мало известною большой публике, тому читателю-другу, для которого и была предназначена, так как цензура, несмотря на мои старания затушевать истинный характер статьи, сообразила, что она преследует революционную цель, и совсем вырезала ее. Не мешает, кстати, заметить по этому поводу, что цензурное ведомство, обнаружив в известном смы-

сле проницательность, в то же время показало свое крайнее профессиональное невежество, ибо одним из негласных, но главнейших мотивов запрещения моей статьи была уверенность Главного управления по делам печати, что этюд «Чем русская общественная жизнь» и т. д. был написан — Плехановым!.. Да, Плехановым, тем самым Плехановым-Бельтовым, который в своей книге «К вопросу о монистической точке зрения» наговорил столько несправедливых вещей о Михайловском.

Сам Михайловский прочел мой очерк в том экземпляре сборника, который составителями был специально сохранен для него и содержал в себе все статьи в их первоначальном виде, до опустошения цензурой. Он был глубоко тронут моей статьей и, благодаря меня за поздравление его с юбилеем и за мое участие в сборнике, с грустью сообщал, что «из него было вырезано сердце, то-есть ваша, Николай Сергеевич, статья». Так как мой этюд о Михайловском близко касался русской общественной жизни и справился я со своей задачей, по отзывам самих же заинтересованных лиц, вполне удовлетворительно, то я возобновил пред редакцией «Русского Богатства» просьбу дать мне возможность испробовать свои силы на литературно-общественных обозрениях, в форме разбора русских журналов и газет. На сей раз просьба моя увенчалась успехом, и в 1901 г. на страницах «Русского Богатства» появился новый отдел «Наша текущая жизнь», подписанный неизвестным до сих пор автором, В. Г. Подарским.

Для своего псевдонима я взял подлинные инициалы имени и фамилии одного из товарищей моей ранней юности, Василия Григорьевича Подарского, способного, хорошего мальчика, 18-ти лет покончившего жизнь самоубийством по чисто идейным причинам, и для вящшей мистификации цензуры загримировался в скромного общественного деятеля, который впервые выступает в литературе. На долю этих моих статей выпал с самого же начала немалый успех, и идейные друзья и враги интересовались вопросом, кто скрывается под маскою Подарского. А что это был псевдоним, никто почти не сомневался, так как в новом сотруднике «Русского Богатства» замечалась и литературная опытность, и знание русских и западно-европейский условий, которые было бы трудно предположить в начинающем авторе. Редакция же «Русского Богатства» хорошо охраняла тайну моего сотрудничества в новом воплощении и тем самым возбуждала еще большее любопытство в читающей публике.

Одни считали, что под именем Подарского пишет сам Михайловский. Другие полагали, что автором литературно-общественных обозрений является Короленко. В эту забавную ошибку впал и такой опытный газетчик, как Буренин, очевидно, введенный в заблуждение инициалами псевдонима В(ладимир) Г(алактионович), что, кстати сказать, не делало чести проницательности и даже просто профессиональному чутью старого

зоила, так как манера Подарского не походила на манеру Короленко, и сам Короленко, в противоположность Михайловскому, не особенно любил мои обозрения за их резкость. Я, действительно, решил посчитаться в них с русскими марксистами, которые отличались в то время необыкновенно самоуверенным тоном и удивительной несправедливостью своих литературных суждений, и, не ограничиваясь защитой наших идейных позиций, перейти в наступление. Зато я удостоился самого искреннего нерасположения марксистов. Старовер (Потресов) посвятил мне в нелегальной «Заре» немало прочувствованных, как говорится, строк, изобразив меня в виде «современной весталки», которая падает «со ступеньки на ступеньку». А тогдашняя марксистская литературная полузнаменитость, некто Соловьев, обозревавший журналы в «Новой Жизни», взбешенный моим насмешливым отношением к его джигитовке на полях российской словесности, —

Думы с ветром носятся,
Ветру не догнать,—

не довольствуясь печатной полемикой со мной, прибег, кроме того, к изрядно непечатной брани, прислав мне на редакцию «Русского Богатства» ругательное письмо, где он обвинял меня в том, что я стакнулся с цензурным ведомством, которое ужасно, якобы, любит меня за мою реакционность — нападать на марксизм значило, по мнению Соловьева, быть реакционером — и, нарочно печатая меня целиком, запрещает, наоборот, самые убийственные статьи против меня сторонников Маркса. И только, мол, благодаря этой подлой тактике союзного со мной самодержавия, я, Подарский, еще жив, еще не превратился в окрошку под его, Соловьева, сокрушительными ударами...

Дела давно минувших дней
Преданья старины глубокой!

Но не одни забавные воспоминания сохранились у меня от этой эпохи в России и за границей. Трагические события; крупные и мелкие, но играющие порою значительную, порою фатальную роль личности перемешиваются, перекрещиваются в сознании и создают своим сплетением общий фон этого периода подготовления первой русской революции. Восстает прежде всего симпатичный облик Михаила Рафаиловича Гоца, «Миши-торопыги», как удачно назвал его впервые, кажется, Иванчин-Писарев. В ожидании появления моей статьи о Михайловском в сборнике «На славном посту», я читал ее на одном из русских собраний, посвященном какому-то литературно-общественному событию. Собрание происходило под председательством М. М. Ковалевского, который в заключение вечера выразил благодарность «докладчику» (мне) за «интересное сообщение» и вместе с тем пожелание поскорее увидеть его в печати и, значит, доступным читающей русской публике. Мы все, я сам и мои слушатели, были действительно уверены, что мой этюд

появится в упомянутом сборнике, который не подлежал предварительной цензуре и просматривался лишь в общих чертах и притом, как уверяли нас, снисходительно в Главном управлении по делам печати. После вечера, когда я стоял и беседовал в кружке товарищей, ко мне вдруг подошел еще незнакомый мне довольно молодой человек, брюнет, еврейского типа, очертаниями губ и отчасти бороды несколько напоминавший портрет Добролюбова, и отрекомендовался:

— Позвольте познакомиться с вами, Николай Сергеевич... Я давно и хорошо знаю вас заочно по писаниям... Моя фамилия — Гоц, Михаил Рафаилович Гоц... Может быть, слышали?..

Конечно, я слышал уже много хорошего о Михаиле Гоце, сыне очень богатых родителей (из чайной династии Высоцких-Гоцов) и, несмотря на свое положение, убежденном революционере, в юности сосланном на каторгу и пострадавшем во время якутского избиения 1889 г., от которого у него осталась пуля в спине и болезненная, пока еще не очень заметная, но все увеличивавшаяся судорожная нервность. Возвращенный на родину, он недолго прожил в Одессе, где занимался в одной из экспортных контор отца, а затем уехал за границу через Петербург, откуда он мне привез, как сейчас же оказалось, рекомендации и много новостей, главным образом, от редакции «Русского Богатства» и, в частности, от Иванчина-Писарева. Через несколько минут мы разговаривали с ним уже как старые друзья. Ко мне он относился, видимо, с большой симпатией и тут же высказал опасения, разделяемые, мол, редакторами готовящегося сборника о Михайловском относительно судьбы моей статьи.

— Вы говорите, Николай Сергеевич, о появлении вашей статьи в сборнике, как уже о факте. А между тем, П. Ф. Якубович перед моим отъездом выражал мне тревогу за участь вашей действительно прекрасной вещи. Начальство, кажется, расшифровало ее истинный революционный характер и обратило на нее особое внимание... Я довольно хорошо знаю всю редакцию сборника и сам дал в него статейку о Ножине и его отношении к Михайловскому.

Я рассказал Гоцу об упорной легенде, обвиняющей знаменитого русского публициста в плагиате Ножина и очень распространенной за границей среди старых эмигрантов. В ответ Гоц сообщил мне, что эта легенда, к сожалению, распространяется в последнее время и в России [1]). Но скоро мы перешли к обсуждению более злободневных вещей. Гоц слышал, что я уже несколько месяцев тому назад нашел момент удобным для издания теоретического журнала определенно социалистического, но не марксистского направления и составил программу

[1]) Бесспорно во всяком случае одно: что Н. Д. Ножин (1843-1866 г.), по признанию самого Михайловского, оказал на него громаднейшее влияние, как „человек огромных способностей", „с сверкающей фантазией" и „обширными знаниями по биологии".

предполагавшегося органа. Программа эта была прочитана мною Рубановичу, который, несмотря на свой теперешний марксизм, нашел ее удовлетворительной, так как в ней не заключалось резких нападок на мировоззрение Маркса, а просто устанавливались некоторые пункты различия между этим мировоззрением и тем, какое предполагалось развивать на страницах задуманного журнала. Мировоззрение же это было определенно социалистическим и вполне революционным. Но у нас не было средств для издания, и дело было поэтому отложено до более удобного случая.

Как только Гоц услышал об этом плане, в нем сейчас же загорелся тот своеобразный идейный энтузиазм, который непосредственно толкал его к претворению мысли в действительность и который составлял одну из самых симпатичных, хотя порою забавно проявлявшихся сторон славного «торопыги».

— Теперь уже становится поздно, и место для разговоров здесь не особенно удобное. Позвольте зайти завтра же к вам, дорогой Николай Сергеевич, и поговорить о задуманном вами предприятии, которое мне представляется превосходным и подлежащим немедленному исполнению.

На следующий же день Гоц сидел у меня и продолжал кипеть, кипеть сознанием важности нашего плана издания, кипеть нетерпеливым желанием сейчас же осуществить его. Была прочитана хранившаяся у меня в нескольких экземплярах программа органа. Гоц сделал несколько второстепенных замечаний, но, в общем, нашел программу вполне соответствующей настроению значительной части революционной интеллигенции, наиболее развитых рабочих и демократических слоев общества. Если не ошибаюсь, он не стал даже особенно возражать против тех мест программы, где проявлялось мое скептическое отношение к крестьянству, как к активной силе назревающего переворота, хотя сам он, как все социалисты-революционеры, приезжавшие в последнее время из России, смотрел более розово на положение дел в деревне.

— Главное, — говорил он, — надо поскорее наладить издание, а там все эти мелкие разногласия сгладятся в самом процессе общей работы сотрудников... Средства у нас найдутся: я должен только немножко обмозговать это дело и вырешить кой-какие практические вопросцы.

Гоц очень любил слова «обмозговать» и «вырешить» и сам «обмозговывал» и «вырешал» возникавшие в его живом уме задачи, — по большей части практического характера, — очень быстро и хорошо, если только не слишком торопился: на то и был он, впрочем, торопыгою. Тут же мы решили пригласить на ближайшее совещание И. А. Рубановича и поискать сотрудников. Через несколько дней у нас наметилась и редакция. Главным и полномочным редактором становился я, при ближайшем участии — с совещательным голосом — Рубановича и самого Гоца, который выговорил себе особый отдел, под загла-

вием, кажется, «Заметки о современности», где он мог бы высказывать свой взгляд на злободневные вопросы русского движения, тогда как Рубанович был полезен нашему органу преимущественно своим практическим знанием французского социализма и связями с французскими и иностранными социалистами. Между сотрудниками сам собою выдвигался ряд лиц, выражавших более или менее ярко новое социально-революционное направление: молодой, но очень быстро выраставший в недюжинную литературную и ораторскую силу Виктор Чернов; старый народник Леонид Шишко, который одно время тяготел к либеральному и отнюдь не социалистическому обществу «Свободная Россия», основанному в Англии Кравчинским и Феликсом Волховским и имевшему свой особый орган, а теперь возвращался к идеалам своей юности и усердно изучал современное крестьянство и народную историю России; еще несколько умевших писать сторонников образующейся партии социалистов-революционеров и т. п.

А через какие-нибудь две-три недели в наших руках находились средства, достаточные для издания журнала, которому я дал название «Вестника русской революции», несмотря на сопротивление нескольких старых товарищей, говоривших, что это название чересчур громко и претенциозно и должно по меньшей мере означать, что в России началась теперь настоящая революция, носителями которой мы считали себя. Ближайшее же будущее показало, что Россия, действительно, шла к крупному политическому перевороту, и от названия нашего органа отпадал всякий претенциозный смысл.

Что касается финансовой стороны дела, то деньги были добыты почти целиком самим Гоцом, или, лучше сказать, выкроены им из значительных средств, которые посылались ему на личную жизнь горячо любившим его отцом и большую часть которых он тратил на общественные дела. В этом отношении Гоц был, действительно, типичным русским революционером-идеалистом, для которого самоотверженное служение общему делу было глубокой органической потребностью, перевешивавшей всякие личные интересы и всякие эгоистические побуждения. «Миша-торопыга» отнюдь не был педантом аскетизма, который холодно, как расчетливый банкир, заносит в дебет лишения, каким он себя подвергает, а в кредит суммы, издержанные им на общественные цели. Михаил Гоц любил повеселиться, выпить в дружеской компании, пойти в театр. Но все существо его протестовало против всякой большой личной издержки, и, отдавая деньги на какое-нибудь общественное предприятие или на поддержку товарищей, он делал эти жертвы — если можно употребить этот неподходящий для его настроения термин — легко и вместе душевно, импульсивно и радостно. Он, который мог бы жить в лучших отелях и одеваться у модных портных, всегда искал квартирку поскромнее и, не щеголяя дырами на своем платье, довольно равнодушно

относился к из'янам своего костюма, к мешковатому пиджаку, к брюкам без элегантной складки во всю длину, к изрядно замызганной шляпе. Все, что он мог таким образом сберечь, он считал как бы не принадлежащим ему и распоряжался этими средствами так, как подсказывал ему общественный идеал и нравственное чутье. Ибо он был не только глубоко убежденным революционером, он был просто хорошим и добрым человеком.

Разумеется, и у него были свои недостатки, и я вовсе не намерен заниматься здесь иконописанием, давая условный, не соответствующий действительности образ Гоца. Но недостатки Михаила Рафаиловича не затемняли, а оттеняли его в общем светлую личность, придавали ему несколько забавный характер и делали его живым человеком, а не традиционным святым с фольговым венчиком вокруг благообразного по-византийски лика. К числу таких недостатков принадлежала его удивительная стремительность, его прямо анекдотическая торопливость. Прямая линия, уж на что, казалось бы, простая вещь, не может сразу итти в нескольких направлениях. Миша-торопыга хотел сразу итти во всех. Он всегда куда-нибудь спешил и требовал этого же от других. Часто, когда мы стали уже большими друзьями, он забегал ко мне и спрашивал с порога передней:

— А что, Николай Сергеевич, статейка-то у вас еще не готова?

— Какая статейка, Михаил Рафаилович?

— Да внутреннее обозрение. Вы ведь его через недельку обещали...

— Верно... Но вы помните, когда у нас об этом был разговор? Всего три дня тому назад.

— Батюшки... А мне показалось, что уже что-то больно много времени прошло... Вот я и забежал спросить, в каком положении дело со статейкой... Вон и типография уже из Женевы спрашивает: «когда же, мол, когда? Без работы сидим... Присылайте немедленно!»...

Я расхохочусь, бывало. «Немедленно» было тоже одним из любимых словечек — и мало сказать словечек: приемов действия Гоца. (У меня даже есть письмо от Иванчина-Писарева, начинающееся с комического изображения значения слова «немедленно» для «торопыги»... И я «немедленно» останавливал его:

— Да сами же вы, небось, настроили типографию. Вот она и «требует». В этом нет ничего удивительного: за вами тянется.

Расхохочется и Гоц, но не перестает спешить.

Надо сказать и то, что эта спешка, в общем, не мешала Гоцу хорошо управляться с делами. У него был очень живой, быстро схватывающий суть вопроса и тотчас же принимающий решения ум. И с этим живым умом связывалась состоящая у него на службе воля к непосредственному действию, так что между обдумыванием плана и благополучным приведением его

в исполнение у Миши-торопыги протекал минимальный промежуток времени.

Интересна была самая природа этого ума. Я уже сказал, что то был ум жизненный и прежде всего практический, хотя сам Гоц был уверен, что у него одинаково сильна и теоретическая жилка, в чем заключалась одна из его безобидных иллюзий. Я не хочу этим сказать, что Михаил Рафаилович не мог интересоваться отвлеченными вопросами или не был способен к пониманию абстрактных идей. Как человек вообще очень неглупый, он был способен и на это. Но его тянуло прежде всего гораздо больше к практической стороне дела. Одной из особенностей его житейского ума было большое чутье в сношениях с людьми, которое давало ему возможность быстро распознавать и определять, на что каждый способен, — черта, которая напоминала мне Александра Михайлова в изображении Ошаниной. И это психологическое чутье не пасовало у Гоца перед личностями очень сложными и в известных отношениях даже более крупными, чем он сам. «Всякий человек хорош на своем месте», — это было одним из главных принципов поведения Гоца в сношениях с различными личностями, с какими ему приходилось встречаться. Благодаря этому, Гоц был хорошим организатором, — организатором не только вещей, но и людей. Он был самое большее сносным писателем и таким же оратором. Но он умел ценить хороших писателей и ораторов божией милостью. И он всячески старался дать им возможность проявить свои специальные способности, побуждая их работать в этом направлении, окружая их атмосферой непритворного попечения и дружеской ласки. Его отношение к Чернову, ставшему главным редактором издававшейся теперь в Женеве «Революционной России» и являвшемуся одним из главных полемистов с русскими социал-демократами на публичных собраниях, было поистине трогательное. И, пока Гоц жил в Париже, я и на себе испытывал проявление этой постоянной заботливости. Это не было тактикой сухого политикана: «ты мне отпустил на фунт партийной полезности, я отпущу тебе такое же количество, а если можно, то и меньше, уважения и внимания». У Гоца это шло из самого сердца: он любил идею и переносил эту любовь на ее носителей и осуществителей.

В общем, при своем живом уме и политическом чутье, оценивающем как насущные задачи момента, так и пригодность людей к известным функциям, Гоц был остающимся несколько в тени, но по существу одним из влиятельнейших вожаков складывающейся партии, главным советчиком и вдохновителем «представительных людей» социал-революционного течения, Ранком при Гамбете или «серым кардиналом» Жозефом дю Трамблэ при Ришелье. Он был не без честолюбия, но его честолюбие было высшего распорядка. Он любил не внешний почет, а уважение своих крупных идейных друзей. У него не было

боязни быть оттертым выдающимися личностями. Наоборот, он тяготел к ним, и они умели отдавать ему должное. Заканчивая эту сторону его характеристики, я сказал бы, что у Гоца были все данные, чтобы стать незаурядным политическим деятелем, если бы... если бы опять-таки не его чрезмерная торопливость, подсказывавшая ему порою необдуманные решения, правда, по большей части касавшиеся его лично, так как в общественных делах он все же успевал пропустить быстро задуманный план, этот горячий продукт своей импульсивной воли, через холодильник своего ясного практического ума.

Одно из таких необдуманных решений было, несомненно, в числе причин его смерти в возрасте едва сорока лет. Одно время он проживал с родными на французской Ривьере, отдыхая от треволнений своего беспокойного существования, целиком посвященного организации различных партийных предприятий за границей и в России. Вдруг ему вздумалось побывать и на итальянской Ривьере, куда друзья советовали ему не ехать, так как официальная Италия кокетничала в это время с русским самодержавием, и итальянская политическая полиция из кожи вон лезла, чтобы надзором за русскими революционерами доказать свое верноподданническое усердие царю. А Гоц был на очень дурном счету чуть ли не у всех европейских полиций, ибо ему приписывалось идейное и материальное пособничество террористическим актам, которыми ознаменовалось образование партии социалистов-революционеров. Гоц не внял нашим увещаниям и через несколько дней своего пребывания на итальянской территории был арестован. Власти грозили ему даже выдачей русскому правительству.

Приходилось употребить все усилия, чтобы не допустить совершиться этому нарушению прав политического убежища. В Италию поехал Рубанович, который с обычной ему энергией и мастерством в таких делах, опираясь на знакомства в итальянской социалистической среде, развил огромную агитацию против выдачи Гоца. Социалисты, рабочие, интеллигенция были втянуты в эту кампанию протеста. Итальянское правительство, во главе которого стоял тогда тонкий, но цинично беспринципный политик Джиолитти и которое думало проделать эту операцию под шумок и беспрепятственно, вдруг встретилось с резким сопротивлением передового общественного мнения всей страны. Пришлось отказаться от всяких враждебных замыслов против Гоца и ограничиться лишь его высылкой на любую, по указанию «пациента», границу. Гоц избрал Швейцарию и приехал туда по обыкновению бодрым, но жалуясь на странное недомогание во всем теле, а вскоре и совсем слег. Сначала доктора думали, что это был приступ легкого ревматизма, который было так легко схватить в отвратительных на редкость тюрьмах Италии. Но болезнь скоро перешла на нервную почву и стала загадочной. Гоц жаловался на общую слабость, на трудность передвижения, на боли в ногах, в спине.

Первое время он ходил с палкой, а через несколько недель уже не мог ступать как следует, и его стали возить в колясочке. Боли в спине и руках все усиливались, а к ним присоединился местный паралич и судорожные, очень болезненные движения ног, которые порою сводило так, что колени касались подбородка.

Гоц стоически выносил страдания и сохранил живость и ясность ума, но злой недуг скоро приковал его к одру, с которого он больше уже не встал вплоть до самой операции, которая состоялась двумя годами позже и кончилась смертью нашего товарища. Медицинские светила так и не могли определить, в чем состояла болезнь Гоца. По всей вероятности, итальянские тюрьмы довершили то, что сделала русская каторга. Во время столкновения политических каторжан с солдатами в Якутске, Гоц был ранен в спину пулей, которая пробила бывшую на нем шубу и вместе с клочком меха проникла в спину и засела там совсем близко от позвоночного столба. Извлечь ее было нельзя в виду опасности повредить спинной мозг. Но, в общем, Гоц не страдал от раны и вспоминал о сидевшей в нем пуле больше благодушно. Теперь итальянский темничный режим, очевидно, нарушил неустойчивое равновесие организма, пораженного пулей, и был, если не основной причиной, то роковым толчком недуга, который так или иначе свел нашего милого «Мишу-торопыгу» в могилу.

Трагично, но умилительно было зрелище этого глубоко идейного человека, в котором никакие физические страдания не могли угасить вечно горевшего огня нравственного энтузиазма. Я последний раз видел его в Швейцарии, в саду одного из больших отелей городка Бэ, куда его выкатили подышать чистым воздухом. Дело было в конце июля 1904 г. Стоял чудесный летний вечер. Гоца окружали товарищи, в числе которых я хорошо запомнил приехавшего из России и жившего вместе с нами, тогда очень дружившего со мною Александра Ивановича Иванчина-Писарева. Вся наша группа была занята оживленным разговором по поводу недавно дошедшей до нас вести об убийстве Плеве героическим Егором Сазоновым. Исчезновение с политической арены одного из главных столпов реакции, которая угнетала втечение двух царствований великий народ, открывало еще более широкие бреши в штурмуемой всеми живыми силами нации крепости самодержавия. Мы были настроены оптимистически. Наши товарищи из России особенно разделяли это настроение. Неуязвимый Плеве, чья политика казалась сплошным вызовом русской революции, лежал поверженным во прах. Ожидались серьезные перемены в высшем управлении. Телеграммы говорили о намерении правительства пойти на уступки огромному освободительному движению, в котором партия социалистов-революционеров выступала авангардом. И взоры наши невольно обращались на исхудалого, маленького, бледного человека с черной бородой и горящими

одушевлением глазами, который полулежал, прикрытый белым легким одеялом в своей маленькой, почти детской колясочке. Мы знали, какую невидную со стороны, но важную по существу роль играл наш скованный лютой болезнью товарищ в образовании и первых шагах партии. И нам страшно хотелось выразить все наши симпатии маленькому чернобородому человеку, который принимал самое живое участие в нашей беседе, наших чаяниях, наших надеждах на лучшее, на великое будущее, на пороге которого стояла теперь Россия. Кто-то заказал шампанского, и первый тост был провозглашен за здоровье партии, второй за здоровье Гоца. А он с трудом приподнялся на руке, с усилием поднес бокал к губам и вдруг воскликнул:

— Нет, будем лучше пить за смерть царской России, за разрушение всего старого, за исчезновение всего больного и отживающего...

И его страшно худая, словно деревянный клин источенная коленка обозначилась под одеялом и, как всегда то было с ним теперь в случае волнения, судорожно поднялась к подбородку.

Мы с одушевлением поддержали его тост. Ни у самого Гоца, ни у кого из присутствующих не чувствовалось неловкости от сказанных слов. Всякое невольное сближение всего больного и Гоца падало в прах у резиновых шин колясочки. Человек, лежавший в ней, мог физически быть больным и отживающим. Духовно он был самым здоровым и живучим из нас в этот торжественный момент, когда мы услышали совершенно явственно приближавшиеся звуки железных сандалий русской революции.

Еще две фигуры выступают в моих воспоминаниях, относящихся к тому же времени, две фигуры, тесно связанные и с Гоцем, и между собой тем всесильным процессом ассоциации идей, который, как и сама жизнь, ставит порою бок о бок самое возвышенное в мире и самое низменное, самое благородное и самое гнусное, добродетель и порок, героизм и крайнюю трусость, жертву и палача. Я говорю о Гершуни и об Азефе и спешу поскорее отделаться от своих воспоминаний о предателе, чтобы отдохнуть душой на преданном им герое.

Несмотря на малую практичность, я обладаю известного рода нравственным инстинктом, который предостерегает меня против нечистоплотных людей и в особенности против той разновидности их, которая называется шпионами и агентами-провокаторами. Так, я никогда не мог победить отвращения ни к Ландейзену, ни к Паули. Но мой предостерегающий инстинкт был слеп и нем по отношению к Евно Азефу. Некоторые говорили об отвращении, которое он с первого же раза возбуждал в них. Я же чувствовал к нему не отвращение, а равнодушие. И хотя товарищи по партии с жаром говорили об его самоотверженном служении делу и его невероятном героизме и укоризненно покачивали головой на мое безразличие, к Азефу я не испытывал обычного во мне в таких

случаях идейного восторга. С другой стороны, его внешний вид не производил на меня и отталкивающего впечатления. У него вовсе не было физиономии какого-нибудь классического злодея, как то приходилось мне слышать от знавших его людей, — после того, впрочем, как им стало известным предательство Азефа. Представьте себе большого, тучного, коротконогого, короткошеего, сутуловатого человека, с круглой как ядро и, казалось, тяжелой как ядро, стриженой головой, одутловатым, бритым, с маленькими усами лицом, толстыми губами негра и ленивыми глазами навыкат. Общим видом своим он напоминал мне еврея-банкира или состоятельного купца, особенно, когда добродушная улыбка оживляла его неподвижное лицо. Эту улыбку часто, говорят, его друзья замечали у него, когда он играл со своим сыном, катаясь своим огромным телом по полу и подбрасывая мальчика вверх, ибо Азеф был, кажется, нежным отцом и хорошим семьянином (после выяснилось, что он любил и грубый разврат, и обжорство).

Я видел Азефа довольно часто, раза два он заходил ко мне в Париже, исключительно по партийным делам — для сообщения деловых известий или для свидания с товарищами. Но никогда у меня с ним не могло завязаться живой беседы. Вне своей специальности, — он был главным руководителем «Боевой организации», — Азеф был на редкость неинтересным собеседником, никогда не вмешивался в теоретический разговор, если только не мог извлечь из него для себя какого-нибудь практического указания, внимательно вслушивался в обмен мнений, порою переспрашивал, сам отвечал коротко, часто односложными словами. Говорят, наоборот, что он мастерски излагал план какого-нибудь террористического предприятия, поражая товарищей техническими знаниями и общей комбинирующей способностью, предвидя благоприятные и неблагоприятные обстоятельства задуманного дела и на все возражения имея готовый ответ, и т. п. Меня не тянуло присутствовать при таких разговорах, и я не могу ничего сказать о специальных талантах Азефа по этой части. А потом надо принять и то в соображение, что, состоя на службе в охранном отделении, он, конечно, мог поражать своих товарищей мнимой дальновидностью и догадливостью по бомбардирской части: его друзья сидели перед ним с открытыми картами на столе, он же прятал свою игру и, играя втемную, показывал им от времени до времени кой-какие козыри, которые были ему известны именно как охраннику.

Когда предательская деятельность Азефа была окончательно выяснена и он исчез с политического горизонта, в революционных сферах не раз обсуждался вопрос, был ли Азеф только профессиональным агентом правительства, верой и правдой служившим царскому самодержавию и доносившим по долгу службы на революционеров, — как, между прочим,

пытался характеризовать его Столыпин, — или же предателем на обе стороны, который служит полиции, но сохраняет некоторые, может быть, личные симпатии к предаваемым им революционерам и не прочь даже оказать им известные услуги в ущерб платящему ему за провокаторскую — не только шпионскую — работу правительству. Я слишком мало знаю Азефа, чтобы ответить на этот вопрос. Человеческая душа — вещь такая сложная, что даже по отношению к заведомым негодяям нам приходится строить психологическое уравнение с несколькими неизвестными.

Когда в 1901 г. довольно неожиданно для многих революционеров обнаружилась предательская деятельность Паули, проживавшего в Париже и вступившего в сношения с начальником заграничной русской полиции Рачковским, группа лиц, принадлежавшая к партии социалистов-революционеров, решила обратиться за советом к Жорэсу, как быть в этом тогда еще не совсем выяснившемся деле. Жорэс назначил свидание этой группе в одной из зал палаты депутатов, и в числе приглашенных на совещании был и известный глава французской социально-революционной партии, рабочий Алльман, очень поразивший тогда всех присутствовавших рассказом о редком в психологическом отношении случае предательства.

— На июньских баррикадах 1848 г. многим из нас пришлось познакомиться с очень выдающимся рабочим, 19-летним, но крайне развитым политически юношей, который вел себя героем в дни восстания, был взят в плен войсками Кавеньяка, осужден на смертную казнь, но успел как-то ускользнуть из рук правительства и остался в Париже, не прекратив своей революционной деятельности, а лишь немножко изменив свою наружность и проживая под фальшивым паспортом... Мы все его очень любили за его неукротимый революционный пыл и вместе с тем поразительное хладнокровие, с каким он шел на самые отчаянные предприятия, даже в первые, жесточайшие годы бонапартистской реакции. Не было во все время Второй империи ни одной попытки восстания, где бы не участвовал наш приятель, с каким-то холодным презрением к жизни рискуя своей головой. Он был несколько раз арестован, раза два-три тяжело ранен. Но у него было в известном смысле безумное счастье, так как всякий раз он опять появлялся в центре движения, с новым паспортом и в новом воплощении. Так дело шло до 4 сентября 1870 г., когда разгром французских войск немцами вызвал народное восстание в Париже, общее движение во всей Франции и низвержение династии Бонапартов. Республиканское временное правительство, ликвидируя старый строй, распорядилось рассмотреть и опубликовать всякого рода компрометирующие бумаги, хранящиеся в Тюильри, разных министерствах и учреждениях Второй империи. В числе преданных гласности документов находился список лиц, так или иначе прикосновенных к бонапартистской тайной полиции. И что же?

С чувством негодования и крайнего изумления мы нашли там фамилию нашего общего любимца под рубрикой особо важных агентов-провокаторов. Он употреблялся на очень ответственные поручения, но, в общем, получал мизерное вознаграждение, совершенно в несоответствии с опасным постом, на который был поставлен...

Альман на минуту умолк, погруженный в эти тяжелые воспоминания, потом продолжал своим грубым горловым голосом:

— Мы решили вывести дело на чистую воду, но наш бывший, ныне совершенно опозоренный предательством товарищ сам взял на себя инициативу об'яснения и принес нам полную покаянную. Никогда нам не приходилось слышать такой потрясающей исповеди. Ничего не утаивая, нисколько не щадя себя, он с величайшей искренностью рассказал нам о своей деятельности и о своем душевном состоянии. Когда его в первый раз приговорили к смертной казни, глава тогдашней политической полиции, пораженный энергией и бесстрашием юноши, сделал ему от имени правительства предложение поступить на службу к нему, обещая не только жизнь, но и полнейшее забвение прошлого. От него не требовали ни формального предательства, ни даже обычного доносительства. Все, чего желали от него власти, это было, чтобы, пользуясь своим влиянием среди товарищей, он отговаривал их от революционных выступлений... Ему страстно захотелось жить — и он принял предложение. Но сейчас же начались угрызения совести. Он ужаснулся своему поступку и решил, обманывая купившее его правительство, служить по-прежнему революции. Поэтому он не только не пытался переубеждать своих товарищей, которые рвались к бою с правительством, становившимся по водворении империи все более и более реакционным, но, наоборот, пользуясь своим положением в полиции, сообщал им полезные сведения для успеха их предприятий, в которых он старался принимать участие не как провокатор, а как настоящий инсургент, надеясь сложить свою злополучную голову и тем загладить свою вину. Он предупреждал своих друзей о готовящихся арестах. Он указывал им на место и время, где и когда революционный акт может быть совершен при наибольших шансах на успех.

Но скоро у властей возникло подозрение насчет его лойяльности, и за ним стали усиленно следить. Чтобы сбить с толку полицию, он умышленно сделал два-три пустых доноса на те рабочие кружки, которые как раз занимались не политикой, а кооперативным движением и культурной работою. А чтобы доказать свою преданность властям, он согласился получать жалованье, от которого раньше отказывался, и сам определил чрезвычайно скромные размеры его. Его больной совести это вознаграждение для проформы казалось чем-то уменьшающим его вину. Впрочем, он и не нуждался в деньгах, так как был искусным краснодеревцем и хорошо зарабатывал. Однако, этих

нескольких маленьких шагов по пути официального предательства было достаточно, чтобы полиция забрала в свои руки несчастного человека, грозясь все время известить об его измене его друзей в случае, если он целиком не передастся на сторону властей. Эта угроза привела нашего товарища в совершенное отчаяние, и, потеряв голову, он принялся за другую тактику. Теперь он стал на путь опасной провокации в буквальном смысле этого слова. Он организовал революционные кружки и подстрекал их к крайним действиям, вплоть до изготовления адских машин. Но он извещал власти лишь в самый последний момент, когда дело автоматически приходило к концу, и акта нельзя уже было предупредить. При этом он никогда не оставался в тени, а, наоборот, действовал в первых рядах: его охватывала порою безумная надежда свалить этими революционными выступлениями существующий строй и на развалинах его успокоить свою вечно грызущую совесть...

— Один раз, — продолжал Алльман, — дело дошло до того, что, тяжело раненый, он попал в руки усмирявшего бунт отряда солдат и был бы расстрелян, если бы случайно извещенная полиция не узнала в мятежнике своего агента и не спасла его от полевого суда (в полицейских государствах считается идеальным порядком вещей, если одно ведомство конкурирует с другим по части так называемого спасения общества и тщательно держит в тайне своих людей). Но как раз этот поступок усилил в начальстве доверие к храброму чиновнику, который получил теперь полномочие действовать на свой риск и страх, даже не сговариваясь предварительно с властями. И что бы теперь ни делал наш товарищ, какие бы рискованные, с правительственной точки зрения, шаги он ни предпринимал, сам всемогущий начальник наполеоновской полиции Пьетри покрывал его своим авторитетом. А это в свою очередь только увеличивало терзания человека, захваченного в страшные шестерни административного аппарата, и толкало его на все более и более рискованные предприятия. Трагедия человеческой души заключалась в том, что ее владелец и сам теперь не знал, чем он собственно был: предателем или революционером. Несомненно, что в последние годы существования Второй империи, когда она уже ступила на путь разложения и либеральных уступок, наш бывший товарищ оказал массу услуг демократическому и республиканскому движению, старательно оберегая его представителей от полицейских махинаций. Мы, в частности, революционно настроенные рабочие, бывали часто удивлены, видя, как какая-то невидимая рука тайного покровителя устраняла опасности, грозившие нашим вожакам...

— Ну, и что же? — принялись слушатели расспрашивать снова умолкнувшего на минуту Алльмана.

— Да что же? Все, что рассказал нам наш товарищ-провокатор, было подвергнуто нами тщательному расследованию, все было подтверждено фактами, и мы вынесли единогласно

оправдательный приговор этому в общем скорее глубоко несчастному, чем дурному человеку, под условием только, что он исчезнет навсегда с наших глаз... Он, действительно, вскоре после этого уехал из Франции и поселился, кажется, в Бразилии...

Прерывая это отступление, которое мне показалось однако далеко нелишним в виду психологического интереса вопроса о предательстве, я перехожу к Азефу. У нас до сих пор не имеется, если не ошибаюсь, достаточно подробных и об'ективных данных для суждения о нем. Товарищеский суд над ним, состоявшийся в Париже, имел, конечно, в виду прежде всего политическую сторону дела, а не психологию предателя. Но, насколько можно судить и по этим материалам, Азеф представляется мне существом, по отношению к которому нечего особенно заниматься психологическими бирюльками. Он был обыкновенным типом продажного человека, который за деньги готов был без всякого колебания посылать на эшафот людей, стоявших с ним в близких отношениях. О каких-нибудь терзаниях совести в роде тех, которые испытывал знакомый Аллъмана, не может быть и речи по отношению к этому грубому животному, которое, получив мзду за проданные головы, аппетитно жрало, с удовольствием проводило время в компании кокоток, позволяло себе даже умственную роскошь — пойти в театр-буфф и, развалившись поудобнее в кресле, похлопывать ленивыми глазами на зрелище, посапывать сквозь сон и время от времени пробуждаться настолько, чтобы издать лошадиное ржанье при виде какой-нибудь грязно-забавной сценки. У этого животного были даже кой-какие семейственные инстинкты, как они нередко бывают у таких грубых животных, что не мешает им быть толстокожими эгоистами. Я помню, с каким ужасом и негодованием Златовратский передавал мне в свое время циничную похвальбу в дружеском кругу прокурора (позже министра юстиции) Муравьева, обвинявшего цареубийц 1 марта:

— Ну, я думаю, после моей речи повышение мне обеспечено, и жена получит от меня в подарок те золотистые ботинки, о которых она мечтает вот уже сколько месяцев.

Азеф был лишь ступенью ниже этого почтенного блюстителя правосудия. И когда, приезжая в Париж, он вытаскивал из своего огромного бумажника толстые пачки банковых билетов и передавал их своей жене на хозяйство и на покупки, он не замечал пятен крови, покрывавших эти иудины деньги.

Да был ли он в сущности и Иудою? Ужас, возбуждаемый в нас его деятельностью, находит свое об'яснение главным образом в том обстоятельстве, что он выдавал лучших сынов молодой России, героев идеи и самоотвержения, а не в его мнимой первоначальной близости к ним и последующей измене. Он никогда не был духовно близок к ним, даже и тогда, когда он внешним образом дружил с ними и запечатлевал на их благородных лицах поцелуи своих смачных губ, и поэтому он не

мог быть и Иудою. С самого начала своей шпионской карьеры он, видимо, смотрел на донос, как на правильный, вполне дозволенный источник существования. Сначала, когда он был еще студентом в Берлине, он соглядатайствовал среди русских социал-демократов, с которыми был знаком в эту пору. Позже судьба столкнула его с представителями слагавшейся партии социалистов-революционеров, и, как почти всегда бывает, среди наиболее осторожных конспираторов он нашел самых доверчивых товарищей. Великие, экзальтированные идеей освобождения России при помощи революционного меча, они просмотрели ужасающую пустоту души и профессиональную толстокожесть агента-провокатора и после нескольких удачных террористических актов, где он оказал им некоторую помощь, приписали ему свои собственные качества героических душ и стали видеть в нем присного им по духу идейного борца. А он... он, я полагаю, не особенно даже задумывался над своим поистине исключительным положением, которое позволило ему быть не только одним из влиятельнейших членов Центрального комитета, но нередко вдохновителем его планов, извлекая из этого положения все, что ему было выгодно для его карьеры профессионального, хорошо жрущего шпика. Повторяю, трагизм лежал не в каких-либо особо сатанинских свойствах его души, а в факте его постоянного соприкосновения с действительно выдающимися представителями русского революционного движения.

Говорилось также о том, что у Азефа была сильно развита черта авантюриста, любителя и искателя сильных ощущений, и участие его в некоторых террористических актах об'яснялось именно этой тягой к эффектным действиям, а не профессиональными требованиями его провокаторского ремесла. Даже наоборот. Он внушил товарищам несколько раз мысль о таких покушениях, какие собственно не были политической необходимостью с точки зрения интереса партии, а просто, чтобы посмотреть, как действие будет совершено, при чем ему было безразлично, скольких жертв потребует акт с той и с другой стороны, лишь бы это могло пощекотать его заплывшие жиром, но искавшие возбуждения нервы. Указывалось также на то, что, несмотря на проплеванность своей души, он питал известную личную симпатию кой к кому из террористов, в которых рядом с идеальностью, его не интересовавшею, он чувствовал присутствие близкого ему авантюризма. И он по своему любил их, охранял их, ценя в них людей, способных устроить террористическое действие и тогда, когда, строго говоря, оно не было нужно, и, значит, лишний, в буквальном смысле лишний раз доставить ему развлечение. Так об'ясняли, напр., его поведение по отношению к Савинкову, которого он имел столько случаев выдать и однако не выдал. Я оставляю такое истолкование действий Азефа на совести, или, лучше сказать, на воображении людей, которые, по моему мнению, чересчур усложняют психо-

логию Азефа. Я лично не вижу необходимости конструировать личность агента-провокатора сложнее, чем она была. И уж совсем отвергаю попытку вдвинуть в душу — я чуть было не обмолвился: в брюхо — Азефа такие сравнительно высокие чувствования, как национальный или расовый патриотизм, которым кой-кто из истолкователей поведения этого обер-шпика пытался об'яснить тот факт, что он допустил убийство Плеве, мало того, принимал деятельное участие в его подготовлении: во всемогущем министре еврей Азеф казнил, будто бы, организатора, морального виновника или, по крайней мере, попустителя кишиневского погрома, жертвою которого пало столько евреев и который обнаружил столько зверских инстинктов в душе бедной, оглупленной, науськанной антисемитами и властями толпы. Этого расового патриотизма у Азефа, конечно, было мало: он одинаково усердно выдавал и русских, и евреев и с чувством похвального равенства смотрел, как вешали и тех, и других.

Словом, как ни повертывай тумбообразную фигуру Азефа, она не поддается, по моему мнению, никаким тонким психологическим операциям. Из нее не выльешь ни надорванной личности наполовину революционера, наполовину предателя, ни сатанинской индивидуальности извращенного героя à la Эдгар По, который побуждается совершать различные чудовищные поступки вечно живущим в нем духом зла. Хитрое, но грубое животное возбуждает интерес лишь в связи с огромным вопросом о психологии самоотверженных, идейных террористов, которые, как люди морально чуткие, должны были бы, казалось, начать лучше приглядываться к своему товарищу, когда по отношению к нему у иных членов партии стали возникать подозрения, а затем, и уже довольно давно, партия стала получать прямые предостережения. И все это пропускалось мимо ушей, и всякие попытки вывести Азефа на чистую воду объяснялись огромным большинством социалистов-революционеров махинациями полиции и вообще врагов незаменимого человека, который, мол, отдавал все свои силы и технические способности партии и хладнокровно подвергался из-за нее страшной личной опасности. И даже когда революционная комиссия из Кропоткина, Веры Фигнер и Лопатина рассматривала доставленные Бурцевым столь точные, столь убедительные данные о предательской деятельности Азефа, с каким упорством, с какой трогательной слепотой бывшие товарищи его, члены Центрального комитета и особенно члены Боевой организации, защищали Азефа и еле-еле сдались, наконец, на очевидность, до боли бившую в глаза. В третьем томе моих «Воспоминаний», когда я буду говорить о Таммерфорсском съезде 1907 г., я укажу на некоторые факты, которые свидетельствуют о нашем общем ослеплении по отношению к Азефу и, рассматриваемые задним числом, принимают положительно трагический характер, — хотя бы появление на этом съезде рука об руку с Азефом

выданного им Гершуни, успевшего, однако, бежать из Шлиссельбурга...[1])

Когда я впервые увидел — в Париже — Гершуни, о котором я очень много слышал от товарищей, впечатление, произведенное им на меня, было не сплошь благоприятным. Этот стройный, крепкий, довольно высокий молодой человек, с хорошо посаженной, коротко остриженной головой, розоватым лицом, серо-голубыми, немножко стальными глазами и небольшими усами, чуть оттенявшими энергичную линию губ, очень заинтересовал меня. Он умно говорил, умно слушал и обнаруживал в разговоре как недурное знакомство с русскими условиями, так и осмысленную любознательность по отношению к, видимо, мало известной ему иностранной, особенно французской жизни[2]). Он обстоятельно расспрашивал меня о моих взглядах на успех социалистического движения за границей, о моем мнении насчет вырабатывавшейся тогда программы нашей партии, о причинах некоторого расхождения в этом отношении между редактируемым мною «Вестником русской революции»

[1]) Автор ошибается: Гершуни бежал не из Шлиссельбурга, а из Акатуя.

[2]) В № 64 „Искры“ (1904 г.), в статье „По поводу одного процесса“, мы читаем следующие слова самого Гершуни: „Я ограничивался лишь одним сочувствием и услугами революционному делу. Не знаю, долго ли тянулось бы для меня такое положение при других условиях, но одно событие в 1900 году *для меня, как и многих других* (курсив наш.—Ив. Т.) положило конец всем сомнениям и колебаниям. Я говорю о „временных правилах“, как чудовище Павловских времен, придавивших Россию“. (Согласно этим правилам, бастующие студенты сдавались в солдаты. Ив. Т.) Затем „Искра“ продолжает от себя: „Эти слова необычайно знаменательны: не картина растущего массового движения, не отчаянная борьба приходящего в сознание пролетария, усмиряемого солдатскими прикладами, не тот основной контраст между богатством и бедностью, который когда-то заставлял семидесятника „отрекаться от старого мира“ и „отрясать его прах с своих ног“—выбил Гершуни из колеи народолюбивого просветительства, а только лишь зверская расправа со студентами, и не мешай, не уродуй правительство его культурных начинаний, он—возможно—до скончания дней своих так и остался бы на этой излюбленной стезе либеральной демократии“. И дальше: „Если из процесса Гершуни что-либо с несомненной очевидностью „выяснилось“, так это „негодность“, нецелесообразность, недопустимость приемов, которые мы окрестили когда-то названием „революционной беллетристики“. Это она, эта фантазия „беллетриста“, несет теперь невыносимо-тяжелую расплату; это ей на каждом шагу мстит печальная изнанка террористического дела, та некрасивая проза жизни, с которой только-что смыли румяна. И если Качура (выполнитель плана Гершуни, стрелявший в Харьковского губернатора кн. Оболенского,—давший затем предательские показания и разоблачивший много действительно театральных приемов Гершуни, как например, выгравирование на оружии, которым действовал Качура, напыщенных лозунгов, заблаговременное напечатание брошюры о Качуре „Народный герой“ и т. д.—Ив. Т.) явился чьей-либо жертвой, то уж, конечно, прежде всего, жертвой той внутренней фальши, которая пропитала с головы до пят так называемую „боевую организацию“. (Кстати, пусть читатель имеет в виду, что знаменитый Азеф уже и в то время был в первых рядах „боевой организации“.—Ив. Т.).

Мы привели эти цитаты, которые характеризуют, между прочим, Гершуни, как типичного „либерала плюс бомба“, для того, чтоб читатель, желающий сохранить об'ективность, мог решить, какой из двух отзывов Н. Русанова о Гершуни скорее соответствует действительности.

и издаваемой Черновым и Гоцом в Женеве «Революционной Россией». Помню, что он очень просил меня также дать ему дружескую оценку нескольких выдающихся наших товарищей и общих знакомых, — «не из простого любопытства», — живо добавил он, — «а в интересах дела, только в интересах дела, чтобы знать, кто на что способен». И сам дал несколько таких, мне очень понравившихся своею обдуманностью и немалой проницательностью, характеристик...

До сих пор мой собеседник вызывал во мне чувство большой симпатии. Но на мой вопрос, что же он думает делать, когда вернется в Россию, — я, разумеется, оговорился, что не спрашиваю его о подробностях его специальных террористических планов, — он ответил довольно большой, как мне показалось, немножко заученной, вероятно, часто повторявшейся, почти официальной речью, которая неприятно резнула меня своей ходульностью и, пожалуй, самохвальством, не только партийным, но и личным. Выслушав эту декларацию, я невольно подумал: «нет, из такого дерева настоящие герои не делаются». А между тем лица, которые близко знали Гершуни, именно и говорили мне о нем, как о человеке, исполненном истинного героизма. Лишь впоследствии, познакомившись с его поведением на процессе, а позже с подробностями его замечательно искусно и неустрашимо выполненного бегства из Шлиссельбурга и встречаясь с ним несколько раз в России при разных обстоятельствах в дни уже начавшейся столыпинской реакции, я мог оценить редкие качества этого человека. И тогда я понял, как наши отдельные, обособленные впечатления заключают в себе много ошибочного и как для определения настоящего удельного веса данной личности ее нужно наблюдать в разных условиях, одно наблюдение исправлять другим и вычерчивать, если можно так выразиться, моральную кривую изучаемой нами индивидуальности.

Мое окончательное мнение о Гершуни я выскажу в третьем томе своих «Воспоминаний», где я буду говорить о своих переживаниях по возвращении в Россию. Здесь я ограничиваюсь этим первым оттиском его личности, как она запечатлелась у меня при единственном свидании Гершуни со мной еще за границей до его последней поездки в Россию, до его ареста и суда.

Мне осталось перебрать в памяти и сгруппировать впечатления последних лет моей жизни за рубежом, лет, которые были переполнены и общественными, и важными для меня лично событиями и составили тот слой наиболее свежих представлений, мыслей и чувств, с которыми я в'ехал в Россию после чуть не четверти века отсутствия.

IX

Смерть Н. К. Михайловского.—И. А. Рубанович и я издаем на французском языке „Русскую трибуну".—Казнь Плеве и начало русской революции. — „Кровавое воскресенье".—Гапон за границей. Мои впечатления от знакомства с ним.—Каляев: дела и слова героя.—Бунт русских моряков и Жорэс.—Русское освободительное движение.—Мое отношение к бойкоту Думы.—Я еду на родину.

Все, у кого было мало-мальски общественное чутье, сознавали, что приблизительно с 1902 г. в русской жизни намечался кризис, гораздо более серьезный, чем можно было еще недавно ожидать. И наиболее характерным признаком этого настроения было, пожалуй, то обстоятельство, что две наиболее передовые и наиболее решительные политические партии России, социал-демократическая и социал-революционная, соперничали теперь и на родине, и за границей своею революционностью. По отношению к партии социалистов-революционеров это не было удивительным, так как подобно своей предшественнице, Народной Воле, она всегда подчеркивала и в программе, и в практической деятельности значение борьбы за политическую свободу и притом самыми энергичными средствами. Но в рядах русской социал-демократии «экономизм» еще имел немалое количество представителей и защитников, и самостоятельная политическая агитация считалась сторонниками этого направления ошибочной тактикой, которая только сводила социалиста с его настоящего пути — работы на почве экономических требований трудящихся, не отрываясь в этом смысле от массы и не забегая особенно вперед... «т.-е. плетясь в хвосте ее», принялись теперь язвить левые элементы партии, так называемые политики, издеваясь над этим «хвостизмом» и сами все более и более подчеркивая необходимость именно политической деятельности. Часть из них, — будущие большевики, — зайдет даже так далеко в этом направлении, что устами Ленина выразит резко-отрицательное отношение к профессиональному движению, «трэд-юнионизму», и потребует перенести центр тяжести деятельности на конспиративную, заговорщическую подготовку революции социалистически организованным меньшинством. Таков был смысл, напр.,

наделавшей много шума брошюры Ленина «Что делать?», с которой у меня связано забавное личное воспоминание. [1]).

Вскоре после появления этой брошюры в свет я счел нужным остановиться, между прочим, и на ней в этюде о течениях русской социалистической мысли, который я дал анонимно во втором же номере «Вестника русской революции» (я предлагал всем товарищам, сотрудничающим в редактируемом мною теоретическом органе социал-революционной партии, не подписывать своих статей, желая показать, что у нас коллективная солидарность преобладает над авторским самолюбием пишущих: эта мысль, принятая вначале с большим энтузиазмом товарищами, была оставлена ими при составлении первой же книжки журнала, и лишь я, согласно первоначальному плану, остался анонимом). Критикуя чрезмерное отрицание рабочего профессионального движения в этой знаменательной для данного момента брошюре, я приветствовал с бланкистской точки зрения, на которой тогда стоял, приближение автора к заговорщической программе революционного меньшинства, как она выдвигалась, напр., Народной Волей [2]).

Г. В. Плеханов, который увидел в таком приветствии и особенно в таком сближении опасность для тактики русской социал-демократии, воспользовался новым изданием одного из своих сочинений — кажется, «Русского рабочего в революционном движении», — чтобы в предисловии к нему с жаром

---

[1]) Кажется прямо курьезным, прямо невероятным, как мог Н. Русанов так исказить позицию брошюры „Что делать", так перемешать содержание терминов „профессиональное движение" и „трэд-юнионизм". Нечего и говорить, что у Ленина нет ни звука против профессионального движения, как особой формы рабочего движения вообще, против профессиональных союзов, как школы коммунизма. Но Ленин действительно обрушивается на „трэд-юнионизм", понимая под этим термином *тенденцию вождей профессиональных союзов к превращению этих последних в придаток к либеральной партии.*

Второй курьез тоже уже вскрыт историей. „Бланкист" Русанов свысока третирует „экономистов" за позицию последних в 1902 г. Но он забывает добавить, что в гораздо более важный и ответственный момент истории,— в 1917 г.,—духовные дети „экономистов"—меньшевики—и духовные дети таких, как он, бланкистов—социалисты-революционеры—„чудесным образом" оказались в одном лагере и в трогательном единении. Абрам Гоц и Церетели—символически слились, как „струи Арагвы и Куры, обнявшись точно две сестры". Для революционных марксистов в этом не было и нет ничего странного. Им издавна известно, что крайне левый на вид революционаризм и откровенный оппортунизм—два родных брата.

[2]) Итак, автор приветствовал „Что делать" Ленина за то, что последний „*приблизился к заговорщической программе революционного меньшинства* (курсив наш—Ив. Т.), как она выдвигалась, напр., „Народной Волей". Н. Русанов, видимо, лишен чувства смешного, ибо в противном случае он бы почувствовал, как комично выглядит сопоставление, с одной стороны, Ленина, осуществившего свой „заговор" в форме восстания многих и многих миллионов пролетариев и крестьян, а с другой—„революционного меньшинства", ну, скажем, эсеровской боевой организации, пытавшейся повторить героическую „Народную Волю" и превратившейся в конце концов в марионетку, которой играл департамент полиции через посредство Азефа!

напасть на анонима из «Вестника», который, мол, лишь в силу крайнего незнания вопроса дерзнул находить сходство в таких противоположных вещах, как мировоззрение столь последовательного марксиста, каким является автор «Что делать», и утопические взгляды сошедшей со сцены «Народной Воли». Я понял, что Плеханов говорит такие вещи лишь для галлереи, и что удар мой попал в больное место русской, переживавшей тогда кризис, социал-демократии. Моим лучшим реваншем была статья того же самого Плеханова, который года полтора спустя, когда Ленин уже далеко отошел от центральной [1]) позиции марксизма, написал в «Искре», что он, Плеханов, еще раньше, мол, перед появлением брошюры Ленина, указывал ее автору на бланкистские ереси и не хотел тогда же выступить резко против этих крайне сомнительных сдвигов лишь потому, что в тот момент дело шло о борьбе с экономизмом, и «Что делать» было полезным противоядием против этого, в ту пору чрезвычайно вредного, направления.

Во всяком случае, наиболее влиятельные вожаки русской социал-демократии все резче и резче подчеркивали свою революционность и передвигали теперь ось своей идейной борьбы против социалистов-революционеров лишь на почву террора, который они жестоко осуждали, как тактику, отводящую социалистов от пропаганды и агитации в массах и, стало быть, мешающую подготовлению коренного политического переворота (в социалистическую революцию и даже в революцию с социальными прожилками они, как и полагается «марксистам», не верили в применении к России [2]). И тщетны были

---

[1]) Н. Русанов напомнил нам еще один из зигзагов Плеханова, ставших столь обычными в последние годы его деятельности. Так, недавно нам пришлось вспомнить, как, в угоду кадетам, Плеханов вычеркнул из своей старой книги о Чернышевском при ее переиздании характеристику, данную Чернышевским русскому либерализму. Спасибо автору за его напоминание. Но нужно решительно ни в чем не разбираться, „все позабыть и ничему не научиться", чтобы утверждать, будто не Плеханов, а Ленин „уже далеко отошел от центральной позиции марксизма"!

[2]) Утверждение автора совершенно не соответствует действительности. Ленин еще в 1894 году, т.-е. за 10 лет до описываемого автором времени, говорил в книге „Что такое друзья народа?" следующее: „*Русский* рабочий, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет *русский* пролетариат (рядом с пролетариатом всех стран) прямой дорогой открытой политической борьбы к победоносной *коммунистической революции*". Итак, мы видим здесь до точности сбывшийся великий прогноз, так сказать—сдержанное слово; но что думать о противниках „узкого" марксизма, когда они, верившие, по словам Русанова, все время в социалистическую революцию, не только не стали под ее знамена, когда она пришла на самом деле, а подняли против нее свое оружие?

Далее, автор указывает, что на крайний случай его единомышленники верили в возможность политической революции *с социальными прожилками*. В том-то и заключалась утопичность эсеровской социализации земли, что при этом народники воображали, будто ее можно было бы осуществить при сохранении диктатуры буржуазии. А на самом деле оказалось, что только диктатура пролетариата смогла осуществить чаяния крестьянских масс.

всякие попытки социалистов-революционеров убедить своих братьев-врагов, что они вовсе не думают свести свою политическую борьбу с разлагающимся старым строем в России к террору, так как они отнюдь не бомбисты; что они не только не пренебрегают агитацией в массах, но даже расширяют ее границы, не ограничиваясь городами, а перенося свою деятельность также и в деревню. Социалисты-революционеры прибавляли к этому, что, действительно, они отличаются от социал-демократов и во взгляде на предстоящую революцию, но именно здесь являются всего менее односторонними политиками. Ибо они отнюдь не думают, что в России переворот будет иметь смысл лишь постольку, поскольку он создаст политическую арену для предстоящей классовой борьбы между буржуазией и вываривщимся в фабричном котле пролетариатом. Наоборот, они полагают, что грядущий переворот будет усложнен по меньшей мере социальными требованиями трудового крестьянства, теми требованиями, на которые опирается аграрная программа социалистов-революционеров, выдвигающая социализацию всех земель и право каждого гражданина на пользование, если он того пожелает, известной величины участком.

Бесполезны были старания людей примирительного образа мыслей в обоих лагерях выработать платформу взаимного соглашения для общей борьбы против общего же врага и притупить хоть до известной степени остроту полемики в социалистическом лагере. В особенности непримиримы были в этом отношении социал-демократы, которые, не ограничиваясь внешней, если можно так выразиться, войной с социалистами-революционерами, занялись еще внутренней гражданской войной в своих рядах, образовав по меньшей мере три течения: чистых экономистов, которые продолжали повторять старые речи о необходимости итти в ногу с рабочими массами; чистых политиков, à la Ленин [1]), которые пропагандировали организацию профессиональных революционеров с целью непосредственного низвержения самодержавия, и представителей марксистского центра, пытавшихся взвешивать на аптекарских весах доктрины те дозы «экономизма» и «политики», которые было позволительно соединять в своей деятельности «настоящему» марксисту.

На замечания упомянутых уже примирителей обоих лагерей, которые указывали, что ожесточенная борьба двух течений только помогает держаться царскому деспотизму, уже обреченному на гибель, социал-демократы отвечали, что, якобы, сама история различных общественных движений показывает, как междоусобная борьба фракций в партии и партий в стране лишь способствует общему идейному и политическому

---

[1]) Читатель уже из предыдущих примечаний убедился, что такая характеристика Ленина—поразительно абсурдна.

прогрессу. При этом трепались все одни и те же цитаты из Гераклита Темного о войне, «начале всего сущего», и указывалось, в виде примера, на самое Россию, где революционное настроение и среди всех этих распрей росло в ширь и глубь. Любители этих идейных и практических раздоров упускали лишь из виду в своих рассуждениях действие такого гораздо более могучего фактора революционизирования страны, каким была становившаяся все более и более несчастною война с Японией.

Действительно, до сих пор как сторонники самодержавия в России, так и друзья царского режима за границей, хотя бы те же самые представители официальной Франции, стоявшие за союз с императорской Россией, привыкли говорить, что некоторые недостатки самодержавного строя в области внутренней политики, — недостатки, преувеличиваемые, мол, кроме того врагами царской власти — с лихвою вознаграждаются в сфере внешней политики огромными преимуществами твердой единодержавной воли, не стесняемой капризами кидающегося из стороны в сторону парламента. И вдруг война с Японией обнаружила на стороне России такой хаос, такую неурядицу в высшем управлении, что ничего подобного нельзя было бы найти в стране, обладающей самым бестолковым парламентом. Поражения при Ялу, Лиаоянге, Мукдене, Цусиме были огненными вехами на пути крушения мнимой мощи русского самодержавия. И настроение оппозиции, и надежды революционеров росли по мере того, как рушился и обсыпался этот колосс на глиняных ногах...

Говорят, что за два дня до об'явления ожидавшейся войны, накануне своей смерти, взволнованный Михайловский вышел в необычное время на улицу, чтобы купить утренние газеты с правительственным сообщением, и, просматривая свежие листы, воскликнул: «Мне кажется, я слышу уже звук орудий, доносящийся с Дальнего Востока: может быть, то гремят пушки нового Севастополя». Но знаменитому продолжателю Чернышевского и Добролюбова не удалось увидеть своими глазами исполнение своего пророчества: 8-го февраля 1904 г. его не стало. Его внезапная кончина — он умер от паралича сердца— потрясла всех до глубины души.

Я воспринял ее не только как большую общественную потерю, но и как огромное личное горе. За десять почти лет моего сотрудничества в «Русском Богатстве» между мною и им создалась такая прочная духовная связь, основанная на идейных симпатиях, что я испытал мучительную, почти физическую боль, как если бы из моего сознания вырвали целое сплетение чувствительных фибр. И так болезненно шевелились края нравственной раны, тщетно стараясь сойтись и заполнить огромную пустоту, образовавшуюся со смертью великого русского человека! В моей памяти оставался физический образ прежнего, сорокалетнего Михайловского, с которым я встре-

чался до моего от'езда за границу. И это раннее представление о нем не могли вытеснить те несколько портретов, которые я получил от него за десятилетие моего участия в его журнале и которые говорили о том, что поредела густая шевелюра, обрамлявшая этот чудесный лоб, поседела эта роскошная светлорусая борода, прорезались морщины на этом тонком, одухотворенном лице, но весь умственный облик этой замечательной индивидуальности остался одним и тем же. Я уже говорил, что мы переписывались с ним всегда правильно, и что он, хотя столь не любивший обыкновенно писать письма, побеждал это почти органическое у него отвращение и не только отвечал мне аккуратно на мои соображения и вопросы, но и сам делился со мной мыслями, казавшимися ему интересными.

Меня всегда трогало его бережное отношение к моим статьям, которые он никогда не поправлял, а лишь слегка «оцензуривал», имея в виду нелепые строгости отечественной цензуры и выбрасывая отдельные «словечки», на которых сказывалось, как он писал мне, влияние свободного духа Западной Европы. Я знал, что наши взгляды по второстепенным вопросам не всегда совпадали, что он смотрел на некоторые общественные и литературные явления иначе, чем я. Тем живее ощущалось мною чувство благодарности к этому замечательному человеку, чья крупная индивидуальность не боялась проявления чужой индивидуальности, лишь бы при этом люди не сходили с общей почвы социалистического и глубоко демократического мировоззрения, которому служил всю свою жизнь Михайловский. Эта высокая терпимость была основана у Николая Константиновича на проникавшем все его свободолюбивое существо убеждении, что надо давать возможность человеческой личности выражаться вполне беспрепятственно с ее выпуклостями и выгнутостями и не стричь все под одну гребенку. Лучше пускай будет высказана ересь, чем подавлено живое исповедание веры, — только бы признавался один и тот же бог.

Я скоро испытал на себе последствия смерти Михайловского, который раньше был фактически полномочным редактором журнала при соредакторстве В. Г. Короленко лишь по беллетристике, тогда как Н. Ф. Анненский — и отчасти Иванчин-Писарев — помогали ему по другим отделам. Теперь «Русскому Богатству», после целого ряда колебаний, пришлось выбрать коллективную редакцию, правда, из выдающихся, но все же не имевших авторитета Михайловского литераторов, — Короленко, Мякотина, Пешехонова, Якубовича, Горнфельда, — которые становились равноправными направителями органа и ценителями отдельных статей, кроме некоторых преимуществ, предоставленных Анненскому, как главному редактору, имевшему право, в конце концов, забраковать всякую статью, но избегавшему пользоваться этим правом. Перечисленные мною личности принадлежали к цвету русской интеллигенции в умственном и нравственном отношении, и в этом смысле

трудно было бы пред'явить отвод касательно того или другого члена редакции. И, однако, все вместе взятые, они обладали достоинствами, но и недостатками всякого коллектива.

Времена были серьезные и ответственные. Старый строй рвался по швам. Но новый обрисовывался не в виде одного какого-нибудь преобладающего направления, а в целом ряде различных, порою противоречивых течений. При общей тяге страны к свободным учреждениям, каждая политическая партия выставляла свою программу, и естественно возникал вопрос о союзе, о сотрудничестве в одних случаях, об отграничении в других. «Русскому Богатству» приходилось занимать известную позицию ко всего более родственной ему партии социалистов-революционеров, но также и к враждующей с последней социал-демократической партии, равно как к различным оттенкам либеральной мысли. При коллективной редакции у каждого из равноправных членов ее могли иметься отклоняющиеся суждения по отношению к той или другой политической кон'юнктуре, и статьи сотрудника из-за границы, писавшего, как это было со мной, не только по иностранным, но и по русским вопросам, могли часто служить предметом разногласия внутри товарищеского коллектива и, стало быть, иметь меньше шансов быть принятыми без изменений и даже вообще появиться на страницах журнала.

Мне запомнились два случая такого отношения к моим статьям со стороны новой редакции. Первый случай был с моей вырезанной четыре года тому назад из сборника «На славном посту» статьей «Чем русская общественная жизнь обязана Н. К. Михайловскому?», статьей, которую редакционный коллектив, пользуясь фактически отвоеванной теперь неизмеримо большей свободой печати, предложил мне поместить в январской книжке «Русского Богатства» за 1905 г. Я с радостью принял это предложение, но счел необходимым изменить начало и особенно конец этой статьи, отмечая некоторые тактические промахи не только Михайловского, но и всех нас, «его учеников или идейных товарищей», в борьбе с марксистами. Я заранее просил редакцию просмотреть эти места, так как чувствовал, что мои взгляды в данном случае могут не совпадать с мнением редакции. Но вышло так, что в редакции в это время остался лишь один Короленко, а другие члены, как Анненский, Пешехонов, Мякотин, были на короткое время арестованы в качестве членов делегации, ходившей к князю Святополку-Мирскому и Витте просить их отменить меры, принятые правительством для подавления мирной демонстрации рабочих, подготовлявшейся на 9 января (о ней см. ниже).

Короленко одобрил внесенные мною изменения в статью, по крайне мере, оставил их в таком виде, в каком они вышли из-под моего пера, и мой очерк появился в журнале с этим новым концом. Но вскоре затем некоторые члены редакции выразили свое неудовольствие по поводу этой измененной

статьи, и в полном составе коллектива, куда вошли и выпущенные на волю редакторы, было принято решение сделать в «Русском Богатстве» же заявление, что высказанные мною в конце статьи взгляды являются лишь моими личными взглядами, но отнюдь не представляют мнения редакции.

Другой раз дело было не в политике, а, повидимому, в моей литературной манере изложения. М. А. Протопопов, остроумный, но поверхностный критик, давно имевший зуб против Михайловского, который якобы оттирал его из-за чувства соперничества на задний план, начиная еще с «Отечественных Записок», написал после смерти Николая Константиновича в одном мало распространенном журнальчике возмутительную статью, представляющую сплошной выпад против покойного, где бестактность равнялась разве самовлюбленности писавшего. Этот пасквиль привел меня в негодование, и я ответил на него в своем отделе «Наша текущая жизнь» под фамилией Подарского, указав на некоторые прежние заслуги Протопопова в радикальной печати, но отнесясь тем строже к его непозволительной выходке над свежей могилой человека, бывшего главным представителем того широкого, гуманного социализма, который втечение десятилетий владел умами лучших сынов России и которому Протопопов служил в роли второстепенного подголоска, делая при этом зачастую очень сомнительные сбои [1]).

На сей раз против моей статьи решительно высказался В. Г. Короленко, которому и при Михайловском не нравились, как неоднократно он сетовал своим друзьям, чересчур резкие приемы моей полемики под забралом Подарского. По отношению к данной статье точку зрения Короленко разделяло, повидимому, и большинство редакции, так как за помещение моего ответа Протопопову стояли только Якубович и Иванчин-Писарев. В результате, моя статья была отвергнута, и на страницах «Русского Богатства» Протопопову ответил сам Короленко, — по моему, чересчур мягко, чересчур по-литераторски и недостаточно отметив общественную сторону нападения, сделанного легкомысленным критиком против человека, выражавшего собою целое течение русской прогрессивной мысли.

Не хочется припоминать других случаев, когда коллективная редакция без симпатий относилась к некоторым моим литературным планам, как то было хотя бы с начатыми мною

---

[1]) „Непозволительная выходка“ Протопопова состояла в том, что он позволил себе указать на расхождение у Михайловского слова с делом. Мы оставляем в стороне самого Протопопова, но понимаем возмущение всякого революционера, отдавшего свою жизнь служению рабочим массам, когда он видит, к сожалению, довольно распространенную породу „учителей“, про которых можно сказать словами, сказанными в свое время про Герцена: „он имел очень хорошие идеи, но еще лучших поваров“. С этой точки зрения, Михайловский—далеко не „герой романа“ русских профессиональных революционеров.

«Социологическими очерками», в которых я хотел, между прочим, сблизить взгляды Михайловского на общественную кооперацию с сутью вглядов Маркса на технику, и продолжение которых не появлялось, так как большинство редакторов нашло их слишком марксистскими.

Нечего и говорить, что я глубоко уважал и как писателей, и как людей руководителей «Русского Богатства» и отнюдь не думал отрицать за ними право такого или иного отношения к моим статьям. Но вкрадывавшиеся недоразумения между редакцией и заграничным сотрудником, который лично был знаком хорошо только с Иванчиным-Писаревым и не мог непосредственным общением с прочими товарищами уяснить себе их точку зрения на те или другие возникавшие вопросы, невольно охлаждали мой писательский пыл. И в воспоминании столь же невольно развертывался золотой полосой десятилетний период моего сотрудничества при Михайловском, когда единственное расхождение у меня с ним было по поводу литературной оценки одного из романов Вересаева.

При таких условиях было совершенно естественно, что я искал менее личной, более об'ективной работы вне «Русского Богатства». И мне удалось поместить статью о французской административной общине в сборнике «Мелкая земская единица» и большой этюд о государственном строе Франции в двухтомном сборнике различных конституций. С другой стороны, передав, вследствие некоторых разногласий с центральным комитетом партии социалистов-революционеров, самой партии редакцию «Вестника русской революции», я остался до некоторой степени без органа, где бы мог совершенно свободно высказывать свои мысли по теоретическим и тактическим вопросам. Поэтому я с большим чувством удовлетворения принял предложение моего доброго товарища И. А. Рубановича стать (негласным) соредактором и постоянным сотрудником задуманного им двухнедельного журнала на французском языке, средства для которого должна была доставлять наша партия, считавшая очень полезным ознакомить общественное мнение западной Европы с деятельностью социалистов-революционеров.

Так возникла «Русская трибуна», издававшаяся при моем участии втечение двух лет, 1904—1905, сначала каждые две недели, затем раз в месяц, но с прибавлением особенных осведомительных листков. Это участие было очень деятельным. Все большие анонимные статьи написаны мною. Многие из статей, подписанные инициалами Рубановича, — который был хорошим оратором, но не особенно любил писать, — принадлежат также моему перу: мы условились с ним раз навсегда, чтобы ответственные статьи, которые могли вызвать неудовольствие представителей русского правительства за границей и попытки возбудить преследование против «Русской трибуны», носили подпись Рубановича, как политического «директора» и редак-

тора журнала, потому что Рубанович был французским гражданином, и с ним было не так-то легко справиться врагам свободной печати...

«Русская трибуна» скоро стала пользоваться немалым успехом в социалистических и даже просто демократических кругах Франции. Кроме передовых, освещавших разные русские вопросы с точки зрения партии социалистов-революционеров, в ней было много фактических статей, знакомивших иностранного читателя с действительным положением дел в России. Особое внимание французской, и не только социалистической, но и большой прессы было обращено на рубрику «Мнения царистской печати о Франции», мысль которой принадлежала мне и целью которой было дискредитировать по мере возможности русско-французский союз, корыстное поддерживание коего принимало особенно возмутительные формы со стороны официальной России.

Отдел этот был «посвящен г. Делькассэ», великому стороннику этого союза и министру иностранных дел в тогдашнем кабинете Комба. Кроме постоянного заглавия, в рубрике имелся и постоянный эпиграф, заимствованный мною из статьи пресловутого князя Мещерского во французском реакционном органе «Голуа»: «Мы, русские, тщательно соблюдаем по отношению к иностранцам принцип невмешательства в их внутренние дела, но по отношению к нам все и каждый нарушают девиз: «не делай другому того, чего не желаешь, чтобы другой делал тебе».

Но это была наглая ложь со стороны именно российских реакционеров, в рядах которых только ленивый не заносил ослиного копыта на французскую республику и особенно на радикальный кабинет Комба. Разоблачить эту ложь и представить французскому обществу наш царизм в его подлинном виде двоякого Януса, сладкое лицо которого и медовые речи обращены к Европе, а свирепое лицо с соответствующими словами к России, — вот в чем состояла задача этой рубрики. Или, как я писал во введении к первой же коллекции цитат, выбранных мною из русской монархической печати: «Когда какой-нибудь француз-республиканец позволит себе случайно маленькую критику относительно внутренней политики царской империи, большинство французских газет закрывают себе лицо в знак «патриотического» негодования. И однако, несмотря на так называемые злодейские законы (против анархической и антимилитаристской пропаганды и т. п. Н. Р.), печать во Франции в общем вполне свободна, и правительство страны не может быть сделано ответственным за то, что пишется в газетах.

«Но когда царистская печать яростно нападает на политику республиканской Франции, это значит, что император желает, при помощи своих пресмыкающихся, выразить свое неудовольствие своим «естественным союзникам», — ибо в России все, что печатается, должно пройти через контроль цензуры.

«Мы открываем поэтому в нашей газете специальную рубрику, которая будет заключать самый точный перевод гнусностей царистской печати в целях вящшего поучения республиканской Франции. Тем более, что российские публицисты, всякий раз как они интересуются общественным мнением Европы, любят выдавать себя за самых корректных людей, которые никогда не вмешиваются во внутреннюю политику иностранных держав, а особенно Франции (см. эпиграф, помещенный нами в начале этой рубрики). Мы призываем их здесь к чувству стыда — и к их собственным творениям».

И тут же мы старались познакомить французских читателей с выпадами «Московских Ведомостей» против правительства Комба, которое страшно, якобы, довольно тем, что может «цепляться за руку спасенного им изменника Дрейфуса»; с грубейшим издевательством князя Мещерского над «старым президентом французской республики Эмилем Лубэ и его старухой»; с приглашением, сделанным «Московскими Ведомостями», появиться новому «строгому умиротворителю, Наполеону, спасшему сто лет тому назад Францию от такого же всеобщего хаоса, который царит теперь», и т. д.

Нечего говорить, что, как французские патриоты ни были готовы простить царскому режиму какую угодно реакционную политику у себя дома, их покоробило от такой развязности русской монархической печати по отношению к «союзной и дружественной» «Третьей республике». Заговорил национальный гонор, и на столбцах такой беспринципной газеты, как «Журналь», появилась статья, резко обличающая на основании цитат из «Русской трибуны» выпады верноподданнической прессы Москвы и Петербурга против политических учреждений и деятелей Франции. И вслед за «Журналь» стали протестовать и другие французские газеты, кроме тех, которые были на постоянном откупу у русского правительства. Мы уже не говорим о социалистической печати, которая без всякого стеснения обличала теперь русские порядки.

Правда, значительная часть правых и умеренно-республиканских (то-есть, по существу, в то время консервативных) органов не имела ничего против яростных нападок царских публицистов на Комба, Пелльтана, генерала Андрэ и даже была довольна, что в своей ожесточенной кампании против радикального и в общем очень демократического кабинета Комба она находила «союзных и дружественных» писателей на берегах Невы и Москвы-реки. Но бесцеремонность, с какой эти господа издевались вообще над республиканским строем Франции, над парламентом, над официальными представителями Третьей республики, могла в конце концов задеть за живое и среднего читателя, мало вникающего в тонкости дипломатических взаимоотношений между Францией и Россией. И страх перед бесхитростным читателем был началом премудрости у французских газетчиков, не желавших, чтобы большая пуб-

лика сочла их равнодушными к международному декоруму и недостаточно щепетильными перед лицом грубейших оскорблений, которыми царистская печать в передовицах и корреспонденциях из Франции осыпала все, что имело отношение к республиканскому, как ни как официальному режиму страны, не менее официальному, чем самодержавие в России, и уж, конечно, более соответствующему желаниям населения, чем мог на то претендовать русский царизм.

Начали смущать французов, — я оставляю в стороне крайних шовинистов, — и те усилия, которые петербургское правительство и вдохновляемая им печать стали употреблять, чтобы втянуть Францию в Японскую войну, которая принимала для царской России все более и более характер сплошного поражения. Здесь социалисты и даже просто искренние демократы Франции были непримиримы и изо всех сил предостерегали правительство республики против малейшего политического аванса восточному союзнику. И когда мы разоблачали старания г.г. корреспондентов «Нового Времени» и «Московских Ведомостей» призвать Францию к «долгу чести», внушив ей мысль об'явить войну Японии из-за прекрасных глаз Николая II, то наша антицаристская пропаганда стала находить во Франции все более и более благоприятную почву. Разгром царских армий и флота, связанный с гибелью сотен и тысяч ни в чем неповинных солдат и моряков, кроме разве того, что они были сынами многомиллионного народа, который выносил столько веков гнет деспотической власти, вырывая скорбно негодующие возгласы у революционной интеллигенции, —

Я видел рабскую Россию
Перед святыней алтаря:
Гремя цепьми, склонивши выю,
Она молилась за царя...
Свобода, гордых вдохновенье,
Тебя не ведает народ:
Оно молчит, святое мщенье,
И на царя не восстает,—

этот колоссальный разгром самодержавной России на суше и на море действовал, конечно, сильнее всякой революционной пропаганды и начинал колебать народную веру в царскую власть, а в культурных странах, не исключая и Франции, возбуждать сильное сомнение даже в специально воинской мощи императорского режима. И все в эти исторические минуты повертывалось против отжившего режима, как все шло на пользу шире и шире разливавшемуся освободительному движению.

Насильственное устранение Сазоновым Вячеслава Плеве с политической арены, где он думал чисто полицейскими средствами остановить органический процесс неизбежного революционизирования России, сыграло роль энергичного бродила, которое быстро превратило наполовину скрытое молекулярное

движение страны в определенное устремление ее по пути к новым политическим формам. Было бы бесполезно задаваться вопросом, осуществила ли бы пробуждавшаяся Россия этот критический переход так легко и без убийства авторитетного министра внутренних дел. Во всяком случае, террористический акт, выбросивший из ряда деятельных реакционеров этого человека зажима, ускорял рост политического сознания страны.

В написанном мною — сначала по-французски — по поручению Центрального комитета партии русских социалистов-революционеров «Обращении к гражданам цивилизованного мира» я имел несомненно право так определить отношение политической деятельности нашей партии к общим политическим задачам момента: «В России нет революционной буржуазии, которая всюду в других местах, опираясь на трудящиеся массы, преданные ею позже ради своих классовых интересов, разбила иго абсолютизма и завоевала права человека и гражданина. Поэтому-то нас, борцов, идущих под знаменем международного революционного социализма в авангарде сознательных рабочих масс, нас политические судьбы нашего отечества превратили в носителей и глашатаев политических и социальных требований всей современной России».

Последующие события показали, действительно, в какой степени это отсутствие революционной буржуазии, которую не могли заменить наши отечественные имущие классы, лишь в меньшинстве своем тянувшие к определенной демократической программе, сказывалось на нерешительности, на противоречивости, на межеумочности так называемых общественных требований. Без энергичного вмешательства социалистических и революционных партий процесс этой формулировки совершился бы еще медленнее. Чего хотя бы стоило только всем этим людям из общества решиться на употребление такого простого слова, как «конституция», и к каким описательным выражениям считали необходимым прибегать наши российские Мирабо и Сьейесы, чтобы заменить этот термин, казавшийся столь страшным им самим!

Вообще, первые месяцы новой диктатуры сердца, замерцавшей с заменою Вячеслава Плеве князем Святополком-Мирским на посту министра внутренних дел, ознаменовались в России целым рядом политических курьезов, которые казались нам при свете европейской цивилизации чем-то допотопным и почти легендарным. Так, первые сведения, дошедшие до меня от идейных товарищей из России о действиях нового министра и о том, как реагировало на них общество, ясно свидетельствовали, что Россия переживает в политическом смысле не только не позитивный, но даже и не метафизический, а прямо теологический период, когда люди веруют в магию лиц и слов. Совсем умиленно наши либералы, — «ах, бедные», по старому и меткому выражению Щедрина — составили прежде всего словесный гороскоп князя, призванного император-

скою волею вязать и решить: Святополк-Мирский — гм, это не спроста; это — человек, у которого в душе есть нечто «святое» и который должен любить «мир». И этот гороскоп был, по мнению либеральных астрологов, достаточно оправдан, когда князь сказал в одной своей возбудившей великую сенсацию речи о том, что плодотворность правительственного труда основана на искреннем расположении и на искреннем доверии правительства к корпоративным учреждениям, сословиям и всему населению. Чего же лучше? Доверие, понимаете, доверие правительства к населению!.. С точки зрения обыкновенной, положительной политики, казалось бы, надо было говорить о доверии населения к правительству, потому что только при таком условии правительственная деятельность может быть плодотворна. Но так люди думают, когда заражены сухой, прозаической политикой. То ли дело мы, любители мистической, теологической, невыразимой в обычных терминах политики: да здравствует доверие правительства к нам, — понимаете, его, правительства, и к нам, к простым обывателям!

Ведь я червяк в сравненьи с ним,
С лицом таким,
С его сиятельством самим,—

и политические теологи стали ждать доказательств доверия, проявлений «новой весны».

К сожалению, весна оказалась самая петербургская: не зефиры здесь веют, а бореи, и не благорастворение воздухов они приносят, а насморки и флюсы. Чтобы весенние цветы надежды не распускались очень скоро, решено было от времени до времени поливать их холодной водой разочарования. Так, князь «святого мира» решил сделать некоторые послабления печати, — разумеется, не путем законодательных мер, а все при помощи тех же приемов доверия, — но, чтобы не соблазнять ее возможностью нарушить это самое доверие, оставил начальником главного управления по делам печати некоего Зверева, гороскоп которого уже совсем хорошо соответствовал его имени и который продолжал усвоенную им еще при Плеве тактику нажима и искоренения. С другой стороны, новый министр внутренних дел обещал быть сердечно расположенным ко всем хорошим делам и добрым людям, но,

чтоб человек не баловался,

нейтрализовал свою чересчур большую мягкость избранием твердого товарища министра. И быть ему имя Родзевский, и назначено ему быть шефом жандармов. С третьей стороны, продолжая политику доверия, князь разрешил было в Петербурге собрание представителей всех земств на 19 ноября, и наши оптимисты уже ликовали в предвидении, если не определенных требований, то, по крайней мере, медоточивых речей, которые польются из уст наших земских Златоустов. Но вскоре все тот же князь мира отложил это собрание на январь месяц

1905 г. и вместе с тем дал через газеты раз'яснение, что на этом с'езде не должны подниматься политические вопросы. С четвертой... впрочем, еще много можно было бы насчитать других сторон тактики «святого мира», которая, в сущности, поразительным образом напоминала способ хождения правоверных мусульман в Мекку на поклонение гробу Магомета: два шага вперед, один назад.

Но события, в которых проявлялся, несмотря ни на что, рост общественного сознания, были сильнее слабых людей, и, выражаясь словами латинского изречения, судьбы повлекли вперед тех, кому они тщетно указывали путь. Земский с'езд все-таки состоялся в назначенный раньше срок и продолжался 4 дня. Только он был назван частным совещанием, а печать, которой было воспрещено обмолвиться хоть словом о происходивших заседаниях, обошла этот циркуляр достойным храброго страуса способом: она напечатала в рубрике сведений о приезжающих в Петербург лицах имена всех прибывших земцев.

На заседании из 110 присутствующих оказалось только 2 защитника бесподмесного самодержавия и 17 славянофилов с Шиповым во главе, которые остались верны своему излюбленному политическому символу веры: «правительству сила власти, стране сила мнения» и желали лишь созыва земского собора с совещательным голосом. Остальные требовали «народного представительства, как специального выборного органа». Причем опять-таки оказалось, что эта преобладающая часть собрания раскололась на большинство и меньшинство по вопросу об определении роли упомянутого специального органа. Большинство выражало пожелание, чтобы этот орган участвовал в законодательной деятельности, в установлении приходо-расходного бюджета государства и контроле законности действий администрации. Меньшинство ограничилось просто пожеланием участия в законодательстве: благопопечительное начальство укажет, мол, нам само, чем мы должны будем заниматься. А то все эти «установления бюджета» и «контроль действий администрации» чертовски напоминают ответственность исполнительной власти перед парламентом и прочие дьявольские измышления Запада.

Чрезвычайно характерно было для всего совещания, что никто не осмелился произнести слово «конституция», которое было, однако, у всех на кончике языка и которое жгло либеральные внутренности наших Байльи. В этом совещание следовало тактике всего общества и всей печати, которые говорили о «торжестве законности», о «правовом порядке», но ни за что не решались сказать, что завернуто в этих описательных папильотках. Самое слово «конституция» казалось им чем-то в роде разрыв-травы, от которой должно было разрушиться что-то особенно дорогое сердцу либерального обывателя: не то «доверие», не то «весна», не то «святой мир».

И надо было дожидаться банкета 610 представителей либеральных профессий, который состоялся в день сорокалетия судебной реформы 4 декабря 1864 г., чтобы в резолюции собрания впервые, наконец, появилось страшное слово «конституция». Назовем имя мужественного человека, который составил эту резолюцию, принятую с восторгом присутствующими: то был А. В. Пешехонов. В резолюции высказывались не только требования неотчуждаемых прав личной неприкосновенности и свободы совести, слова, печати, собраний, равенства классов, национальностей, вероисповеданий, участия свободно избранных представителей народа в выработке законов и установлении налогов, ответственности министров перед собранием народных представителей, но и громогласно заявлялось требование, чтобы государственный строй России был совершенно преобразован на началах конституции, и чтобы для этого немедленно же было созвано Учредительное собрание.

Итак, роковое слово было произнесено людьми легальной России. Отныне на всяком общественном собрании, во всяком учреждении, среди представителей всяких профессий, «конституция» считалась необходимым термином, который должен был быть включен во всякую резолюцию. Мы не говорим, конечно, о радикально настроенной молодежи, которая на всех собраниях студентов уже требовала учредительного собрания, избранного на основе всеобщей, равной, прямой и тайной подачи голосов, или, как называли ее тогда, «четырехвостки». Параллельно с этими проявлениями общественного мнения страны ставился вопрос о политических коалициях между партиями, программы которых, конечно, далеко не были одинаковы не только в смысле окончательного идеала, но и непосредственных практических требований.

Отголоском этих русских злободневных вопросов была состоявшаяся в конце ноября 1904 г. в Париже конференция радикальных и некоторых социалистических партий России и частей тогдашней Русской империи. Эта конференция вызвала немало толков в русских и французских политических кругах, и истинный смысл ее пришлось нашему товарищу Гарденину (Чернову), по просьбе Рубановича и моей, выяснить в парижской социалистической печати, — выяснить, главным образом, вследствие недоразумения, возбужденного ею в рядах русской социально-революционной партии.

Мне придется остановиться на этом, если хотите, второстепенном, но имевшем известный принципиальный интерес политическом событии. По крайней мере, в моих воспоминаниях с ним связано представление о некоторых определенных шагах, которые нам с Рубановичем пришлось предпринять, чтобы добиться от Жорэса и его друзей восстановления истинного характера этой конференции. Она была созвана по инициативе финляндской партии активного сопротивления, или так называемых активистов, и приглашения были посланы

восемнадцати различными «революционным и оппозиционным партиям Русской империи». Три партии — российская социал-демократическая партия, польско-литовская социал-демократическая партия и революционная украинская партия — отказались участвовать в конференции по принципиальным соображениям. Несколько других не прислали во-время своих представителей. В конце концов конференция состоялась в присутствии делегатов восьми различных партий, из которых собственно русские партии были представлены партией социалистов-революционеров и «Союзом освобождения», тогда как остальные были различными группировками поляков, латышей, грузин, армян и финляндцев.

Предметом конференции было установить координацию деятельности различных партий для низвержения политического строя Русской империи. Но, указав на общие цели этой координации, — низвержение самодержавия и замену его народным представительством, избранным всеобщею подачею голосов, право народностей на самоопределение, приспособление средств борьбы с царизмом к особым жизненным условиям каждой национальной партии, — конференция вместе с тем в своей резолюции заявила: «Ни одна из партий, представленных на конференции, об'единяясь для координированного действия, не думает ни на один миг отказаться тем самым ни от одного пункта своей программы, ни от тактических методов борьбы, соответствующих потребностям, силам и положению общественных элементов, классов или народностей, интересы которых она представляет».

Эта конференция была однако воспринята различно различными политическими партиями. Прежде всего ее заявлением поспешил воспользоваться Жорэс, который, хотя и остался в меньшинстве на амстердамском конгрессе в августе 1904 г. по вопросу о сотрудничестве классов, не решил еще (как это он сделает позже) отказаться от своей позиции и будет защищать пока идею самой широкой политической коалиции с свойственным ему огромным талантом и силою убеждения. В номере редактируемой им тогда газеты «Юманите» от 1 декабря он поместил статью «В России», где он старался истолковать и самый факт конференции, и выводы ее в благоприятном ему смысле.

Усматривая основную задачу парижской конференции «в изготовлении общего плана действия», он считал возможным распространить это, как ему казалось, проявление несомненной коалиции на всю деятельность социалистических партий России и писал в виде комментариев к нему: «Все русские социалисты, к какой бы фракции они ни принадлежали, с мужественной энергией и горячим энтузиазмом принимали участие во всех манифестациях против царизма, не спрашивая себя, не подвергаются ли они риску быть смешанными с чисто либеральными элементами».

Не успели появиться на столбцах «Юманите» резюме решений, принятых на парижской конференции, и эти комментарии к ним Жорэса, как из рядов проживавших во Франции русских социалистов, равно как французских социалистов революционного (то-есть в то время антижорэсистского) направления раздались протесты, почти негодующие запросы и просьбы, обращенные к представителям партии социалистов-революционеров, раз'яснить, верно ли Жорэс и его друзья передают положение дел в России и вообще среди нашей партии, и раз навсегда высказать ее точку зрения на жгучий тогда для французского социализма вопрос о коалиции, сотрудничестве классов, «общем плане действий» с буржуазией и т. п.

Гарденин, повидимому, не ожидал, чтобы тот факт, что он подписался в числе других участников конференции, мог вызвать такую сенсацию среди социалистов, и без особых возражений, как я уже сказал, согласился, по просьбе Рубановича и моей, написать опровержение в виде письма к Жорэсу. Он полагал, правда, что дело было и без того ясно, и что лишь тогдашний министериализм знаменитого трибуна мог внушить ему мысль так истолковать обмен взглядов между революционными и оппозиционными партиями России. Но убедился теперь, что без протеста против подобных комментариев нельзя было обойтись. В результате, его восстанавливающее факты письмо к Жорэсу, который напечатал его не без сопротивления, ссылаясь на то, что, как бы ни об'яснять выражение «координированные действия», оно не так далеко по смыслу от «общего плана действия», в котором сам Жорэс видел значение парижской конференции [1]).

Но скоро все эти второстепенные политические треволнения, вызывавшиеся вопросами тактики среди русских и французских социалистических партий, отступили на задний план перед огромным всеобщим волнением в мире труда и мысли. Воскресенье 22-го января (9-го января по старому стилю) 1905 г. было трагически ознаменовано в Петербурге страшным избиением войсками исполинской, но совершенно мирной рабочей демонстрации, которая состояла из 300.000 пролетариев, их жен и детей, двинувшихся к Зимнему Дворцу видеть лично царя и передать ему петицию. Ею руководил священник Георгий Гапон, «этот загадочный агитатор, начавший с зубатовщины и кончивший петицией о представительном образе правления», — как писал мне на следующий же день после «кровавого воскресенья» мой тогдашний близкий друг А. И. Иванчин-Писарев,

---

[1]) Но „история учит", что партия социалистов-революционеров, так боявшаяся тогда скомпрометировать себя жорэсистской идеей и практикой „коалиции", кончила в 1917 г. самым неумным и необузданным ее применением. Более того. В свете исторического знания становится видным, что и в ту пору Жорэс не был далек от истины, когда определял „координированные действия" мнимо несгибаемой партии с.-ров, как проявление на деле коалиционных настроений.

который прислал мне и копию «Петиции рабочих». Странные, но сильные ноты слышались в этом историческом документе: тут была и простонародная жалоба, почти причитание пред царем, на «невыносимые муки» рабочей жизни; и библейский пафос à la Ламеннэ: «Государь! Разве это согласно с божескими законами, милостию которых ты царствуешь? И разве можно жить при таких законах? Не лучше ли умереть, — умереть всем нам, трудящимся людям всей России? Пусть живут и наслаждаются капиталисты и чиновники»; и упоминание о восьмичасовом рабочем дне; и требование участия всего народа в правлении: «Государь! необходимо, чтобы сам народ помогал тебе... Не отталкивай же его помощь и прими ее, повели немедленно, сейчас же призвать представителей земли русской от всех классов, от всех сословий. Пусть тут будет и капиталист, и рабочий, и чиновник, и священник, и доктор, и учитель, — пусть все, кто бы они ни были, изберут своих представителей; пусть каждый будет равен и свободен в праве избрания. А для этого повели, чтобы выборы в Учредительное собрание происходили при условии всеобщей тайной и равной подачи голосов»; и много еще другого, то наивного, то лукаво-иронического.

Все знали, что автором этой петиции был Гапон. Но никто не знал, чем был сам Гапон. Священник одной из тюремных церквей, он был раньше одним из ревностных слуг той системы царского, провокаторского социализма, которая приобрела в России такую печальную известность под именем «зубатовщины». Он много вращался среди заводского и фабричного населения, но держался в стороне от организованных и вообще сознательных рабочих. Из вожаков социалистических партий никто не был с ним знаком.

И вдруг этот человек заговорил полу-революционным языком, но ловко приспособленным к смутному сознанию незрелых рабочих. А после того, как ему удалось скрыться, после дня 22 января, он написал уже совершенно революционное письмо к царю, где опять-таки библейские проклятия смешиваются с простонародными жалобами, но где уже против самодержавия выдвигается порою чисто демократическая аргументация, и еще несколько столь же революционных писем к рабочим, ко «всем крестьянам русским», последнее, оканчивающееся рядом торжественных призывов: «Да здравствует всеобщее восстание народа, поднимающего оружие за землю и волю! Да здравствует Учредительное собрание!.. Да здравствует правительство трудового народа!».

Через неделю-две последние следы Гапона теряются в России, и он появляется за границей, окружая себя сначала полупрозрачным инкогнито, затем выступая все более и более на свет, соприкасаясь с разными партиями и группами и во всех возбуждая сначала симпатии, затем разочарование. Кроме упомянутых выше писем, он пишет открытое письмо ко всем русским социалистическим партиям, которые он «приглашает

тотчас же согласиться между собою и без замедления приступить к делу вооруженного восстания против царизма», обещая в качестве человека, вышедшего из недр народа, быть «всем сердцем с теми, которые искренно возьмутся за дело освобождения пролетариата и трудящихся масс от капиталистического ига и от царского угнетения».

Через некоторое время он делает заявление международному социалистическому бюро, повторяя приглашение русским социалистам об'единиться для борьбы и подчеркивая «пока» свою нейтральную позицию: «...Боясь, что, следуя своему личному убеждению, я буду стеснен в поисках истины и свободы, я прошу Международное социалистическое бюро известить все органы социалистической печати, что, предлагая двум русским социалистическим партиям вступить в соглашение с целью подготовить план об'единенного действия для организации рабочего восстания в России, я считаю преждевременным свое официальное присоединение к той или другой социалистической партии».

На сей раз Гапон имеет в виду лишь социал-демократов и социалистов-революционеров, которые, несмотря на свою вражду, были единственными серьезными социалистическими партиями в России. Это заявление вызывает сенсацию и общие симпатии среди социалистов Европы. Исполнительный комитет Международного социалистического бюро приглашает «русских товарищей, принадлежащих к различным группировкам, сочувственно отнестись к предложению Гапона и последовать ободряющему примеру наших французских друзей». Дело в том, что к этому времени Жорэс и его идейные товарищи решили оставить точку зрения сотрудничества классов и участия в буржуазном министерстве, которую они еще защищали на Амстердамском конгрессе, и вступили в соглашение с гэдистами для образования единой социалистической партии во Франции.

С свойственным ему идейным энтузиазмом, вошедший в эту единую партию Жорэс заклинал русских товарищей — на сей раз социалистов, — об'единить свои усилия в духе предложения Гапона: «В этой развивающейся драме, одной из самых страшных и великих драм, которые когда-либо видело человечество, русские социалистические партии могут развернуть все свои силы лишь тогда, когда будут об'единены. Все проявления энергии, все силы должны быть направлены на решительное усилие, которое, освободив Россию, ускорит во всем мире движение демократии и биение пульса пролетариата».

С своей стороны Эдуард Вайян прислал по тому же поводу следующее письмо Рубановичу, напечатанное в «Русской трибуне»: «Я держусь совершенно того же мнения о последних письмах Гапона, как Вы и как гражданин Жорэс. Эти письма дополняют предыдущие письма и то, что знали о нем самом. И того более: он является живым воплощением той револю-

ции, которая, освобождая в одно и то же время и Россию, и весь мир от тирании царизма, не уступает по величию, блеску, важности ни одной из революций, которые прославили историю человеческого освобождения... Голос Гапона будет услышан на заводах и в деревнях пролетариатом России и всеми теми, кто борется заодно с ним; ибо этот голос является голосом самой силы, самой необходимости вещей, призывом революции».

Забегая несколько вперед, мы должны сказать, что эти обращения Гапона к русским социалистам не остались без последствий, и весной 1905 г. состоялся с'езд «социалистических и революционных фракций России». К сожалению, в самом же начале этой конференции с нее удалились все социал-демократические партии, кроме «Союза латышских социал-демократов». И оставшиеся группировки, включавшие, кроме партии русских социалистов-революционеров, польскую социалистическую партию, грузинских социалистов-федералистов, армянских революционеров-федералистов, белорусских социалистов, уже упомянутый Латышский союз (и, как чисто политического союзника, финляндских активистов), приняли ряд резолюций, в которых, кроме серьезных социальных требований, в том числе «социализации всех земель, коих обработка основана на эксплуатации чужого труда», провозглашалось чрезвычайно важное требование устройства ряда демократических учредительных собраний в России собственно, Польше, Финляндии и Кавказе.

Гапон присутствовал на этом с'езде. Но его звезда ко времени конференции заметно уже потускнела, вследствие ряда его более чем странных поступков, которые обнаружили его болезненное самомнение, почти манию величия, равно как склонность к интригам. Мне и самому пришлось в известный момент быть в личных сношениях с ним, и некоторые черты этой довольно извилистой индивидуальности не мешает отметить тут же.

В конце января 1905 г. я получил конфиденциальное приглашение от Рубановича побывать у него и повидаться с «интересным человеком из России». Когда я пришел к моему доброму приятелю, он чуть-чуть таинственно попросил меня подняться этажом выше, где у него была небольшая лаборатория (Рубанович был химиком по профессии и заведывал, между прочим, практическими работами по химии в Сорбонне), и там немножко подтолкнул меня к ходившему по комнате небольшому брюнету с черной бородкой и усами и очень живыми, проницательными глазами, и исчез, шепнув мне на ухо:

— Знакомьтесь сами: это — Гапон... Он под строжайшим инкогнито, но для вас он сам пожелал снять маску и хочет поговорить с вами о разных вещах.

Брюнет быстро подошел ко мне, дружелюбно улыбаясь, —

он, конечно, понял, о чем шептал мне Рубанович, — и протянул горячую, сухую руку:

— Русанов?.. Николай Сергеевич? Неправда ли?.. А я вот — товарищ из России, — и он немножко лукаво улыбнулся.

Улыбнулся и я.

— Что ж, батюшка, подойти под ваше благословение?

И без запинки брюнет ответил:

— Под благословение недостойного служителя бога истины и справедливости? Не так ли? Да, мы служим одному богу, богу русской праведной революции.

— А вы верите в бога? Я говорю не о метафизическом божестве, а... об обычном боге христиан.

Горячо, почти вдохновенно звучит ответ знакомого незнакомца на мой любопытствующий вопрос:

— А вы разве не верите в него, товарищ? Он и «метафизический», как вы говорите... и... настоящий. Я чувствую его присутствие среди нас, товарищей, когда мы вместе делаем хорошее, божеское дело...

— Например, на Дворцовой площади?

— Там более, чем когда-либо в моей жизни.

Брюнет начинает меня интересовать все более и более, и я задаю ему почти нескромный вопрос:

— Вы, говорят, товарищ, замечательный народный оратор... Люди плачут, слушая вас, и готовы итти за вами на смерть... А вы сами довольны своим красноречием?

— Нечего греха таить: доволен. Но возношу за этот талант хвалу все тому же моему и вашему, нашему общему богу... Когда он заговорит в моей душе, я ощущаю боль, самую настоящую физическую боль в своем сердце, — так оно переполнено тогда правдой, — и я повторяю те слова, что слышу от громкого внутреннего голоса божия, и говорю, говорю, сам не сознавая в частности — что, но в общем, ее, правду, и все, кто меня слушает, чувствует то же, что и я, и все идут за мной... Я — тогда недостойный скудельный сосуд, исполненный святой истины...

В нервной, то прерывистой, то певуче катящейся речи брюнета я не чувствую ни малейшей фальши. Но, может, он великий актер. И я невольно задумываюсь над психологией основателей религий и шарлатанов — Магомета, Сведенборга, но и графа Калиостро.

Мои размышления прерваны теперь совсем прозаическими, почти вкрадчивыми словами брюнета:

— А у меня есть к вам просьбица, дорогой Николай Сергеевич. Сказывают, вы уж больно хорошо на французский переводите: не только смысл, но дух оригинала сохраняете... Так нельзя ли мне попросить вас перевести кой-какие мои вещицы? Иные, правда, длинноваты, но надо, очень надо познакомить с ними здешний народ... Так вы уж по приятель-

ству, — ведь мы с вами приятели теперь? — по приятельству, говорю я, постарайтесь. Вот я и подобрал уже эти писаньица.

Брюнет протянул мне довольно об'емистый пакетик написанных на почтовой бумаге листиков. То были его письма-прокламации, немалую часть которых, например, письмо к царю, письмо к рабочим, письмо к русским крестьянам, вообще все, что появилось в «Русской трибуне» и выходившем при ней «Бюллетене», — исполняя просьбу моего собеседника, действительно перевел я.

Через несколько дней после первого свидания, таинственный незнакомец пришел на одну из моих сред (втечение целого ряда лет у меня в Париже вечером в среду собирались приятели, знакомые и просто приезжие из России) и был представлен десятку-двум присутствующих лиц просто как один из рядовых участников демонстрации 22-го января. Мы с женой строго охраняли секрет Гапона, и даже наши дети ничего не знали о том, кто был новый посетитель. Но гость так заинтересовал своим рассказом и своей далеко не банальной наружностью всех бывших на этом вечере, что некоторые из наших знакомых стали догадываться о настоящей личности неизвестного, и кто-то из них, когда все уже расходились, отозвал меня в сторону и сказал:

— Простите, Николай Сергеевич, но должен вам признаться, что одна мысль преследовала меня весь вечер: где я видел это лицо и, особенно, эти глаза? И, знаете, невероятно, но это так: в бытность мою в Петербурге, несколько месяцев тому назад, я рассматривал на Невском случайно большую карточку, где петербургский градоначальник снялся с верноподданными рабочими и их руководителем, ставшим теперь такою знаменитостью, священником Гапоном... Ваш сегодняшний посетитель удивительно напоминает мне этого попа. Только, кажется, у того были волосы длинные и ряса... Неужели?..

И мой знакомый умышленно остановился, не докончив вопроса. Разумеется, я должен был уверять своего чересчур любопытного собеседника, что его предположение совершенно невероятно, так как Гапон скрывается в самой России, а на свете разве мало двойников...

Но скоро самому Гапону надоело слишком строгое инкогнито. Его непомерное тщеславие внушило ему мысль хранить свой полусекрет только для придания себе интереса при встречах с людьми, а, в сущности, не особенно скрывать от своих теперь все более и более многочисленных знакомых, какой великий человек выглядывает

из-под таинственной холодной полумаски.

И скоро весь Париж болтал о попе Гапоне и его разных более комичных, чем достойных серьезного человека деяниях.

У него быстро завелись деньги, и деньги, по понятиям революционных кругов, немалые. И он ощутил потребность пожуировать, сначала, правда, в довольно скромных формах. Не знаю, завязались ли уже тогда у него сношения с Витте, и стали ли к нему притекать уже в это время средства из этого изрядно мутного источника. Но он мог, конечно, добывать себе средства и другими, более чистыми путями, так как вокруг него увивалась масса репортеров, газетчиков, журналистов, издателей, которые добивались получить самоновейшие и самовернейшие сведения от этого остающегося в заманчивой полутени «льва сезона», как выражаются англичане. С другой стороны, к нему шли с разных сторон, от различных рабочих, социалистических и просто демократических организаций, пожертвования на дело освобождения России от старых порядков.

Как бы то ни было, демон тщеславия завладел совершенно Гапоном, ставшим всесветной знаменитостью, и он принялся, по выражению Рубановича, «колобродить». Прежде всего ему ужасно захотелось походить на людей «комильфо», на представителей светского общества, усвоить себе их манеры и способ обращаться. Сначала он делал это полустыдясь, в форме таких поступков, что их можно было с грехом пополам об'яснить желанием служить интересам русской революции, которой Гапон клялся и божился посвятить отныне всю свою жизнь.

Он скоро, например, заметил, что «образованному» человеку нельзя не знать французского языка, и поэтому условился с моей старшей дочерью, чтобы она давала ему уроки этого языка, особенно разговорного, который он мог бы сейчас же применить в политических салонах, на вхожесть куда он рассчитывал. Бог филологии, отказавший в особом даре языков украинцам, особенно из народа, правда, сильно препятствовал успехам Гапона в области «прононса», так что он целыми месяцами учился произносить слово «анфан», которое он неизменно выговаривал «ехвен», да так и не выучился или оставался при глубоком убеждении, что все это одни лишь ненужные тонкости, если вас заставляют произносить по-разному «пэн» (хлеб) и «пень» (гребешок). Но все же он продолжал уверять себя и других, что для приобретения могущественных союзников русской революции за границей, ему, Гапону, нужно говорить на французском, этом языке дипломатов и изящных господ и дам.

Вероятно, к тому же распорядку светско-политических действий, клонящихся к пользе русской революции, принадлежали и некоторые поступки Гапона в отношении к моей дочери, которую он старался удивить галантностью своих манер. Так, например, за уроки ей он платил очень дешево (этого пожелала она сама, начав обучать французскому Гапона в первые дни его парижской жизни, когда он играл еще в плебея-революционера), но придирался к малейшей случайности, чтобы

отвезти ее из своего отеля домой на — тогда дорогом — автомобиле и купить ей по дороге роскошный букет цветов, что приводило мою дочь в большое смущение.

Кроме увлечения французским — в интересах русской революции! — у Гапона завелось еще — тоже в этих интересах! — увлечение верховой ездой. Раз приходит ко мне Рубанович, который продолжал относиться пока с большой симпатией к Гапону, как к искреннему революционеру, и говорит не без раздражения:

— А, право, наш попик начинает приводить меня в недоумение... Порою он мне кажется ребенком, а не взрослым, серьезным человеком... С месяц тому назад является он ко мне и под покровом великой тайны просит меня свести его в лучшую школу верховой езды, где бы он мог выучиться настоящей кавалерийской посадке... На мой вопрос, для чего это ему нужно, он с жаром принялся об'яснять, что, судя по всем вестям, в России готовится новое народное выступление, уже не мирная демонстрация, а вооруженное восстание, но что без него, Гапона, там не обойтись, и он должен поспеть к этому великому движению, во главе которого он станет, чтобы повести его к победе — явившись верхом на коне... Я развел только руками, но, по его усиленным просьбам, в которых русская революция играла огромную роль, отправился с ним в таттерсаль и там уговорился с лучшим берейтором, чтобы он обучил вот этого русского господина всем тонкостям своего искусства... Гапон с жаром взялся за науку и теперь как дитя радуется, раз'езжая каждое утро в Булонском лесу и стараясь подражать бонтонным манерам изящных всадников, которых встречает там... Странный революционер... А все-таки сила!..

Задумчиво закончил свой рассказ Рубанович.

А Гапон так быстро катился по пути увлечения разными фешенебельными благами жизни, что через несколько месяцев докатился до игры на рулетке, которой усердно предавался в Монте-Карло, где его видел один из наших «светских» знакомых осенью 1905 г., когда в России начиналось, действительно, огромное общественное движение. На вопрос удивленного этой встречей и в таком месте и в такое время господина Гапон ответил целой тирадой, сумбурной, но горячей:

— Революционер должен переиспытать все сильные ощущения, пройти лично через весь круг человеческих страстей... Только тогда познает он натуру человеческую и только искушенный этим опытом он сумеет построить будущий, социалистический град всеобщего счастия...

Теперь мы не удивлялись, впрочем, этим замашкам авантюриста и жуира. Уже к лету 1905 г., после первых двух-трех месяцев сильного увлечения этим библейским пророком, мы раскусили эту глубоко тщеславную и в корне фальшивую личность. Сообразив, что им очень интересуются в социалистических кругах, он после первого же заявления в Международное

социалистическое бюро о своей нейтральности стал одновременно интриговать с социал-демократами и социалистами-революционерами и все старался убедить каждую из обеих партий, что он намерен примкнуть именно к ней и действовать строго в духе ее программы.

С социал-демократами он, впрочем, скоро расскочился. Он стал развивать при переговорах с их представителями свои собственные теории классового сознания и классовой борьбы. Ну, а там этого не любят. И с Гапоном русская социал-демократия разошлась почти сейчас же, больше в силу догматических, чем практических разногласий, хотя не было недостатка и в последних. Так, петербургские сознательные рабочие, среди которых были особенно сильны социал-демократические организации, прислали за границу выражение своих решительных сомнений относительно полезности допущения Гапона в ряды партии, так как гапоновцы ведут себя и без того нелепо, а подчас и прямо предосудительно, — главным образом, вследствие крайней политической незрелости.

Что касается нас, социалистов-революционеров, то мы были более терпимы в этом отношении. К нам в это время устремлялись люди со всех концов политического горизонта, и, желая, согласно французской поговорке, «делать стрелы из всякого дерева», мы считали полезным завербовать в партию и Гапона. Мы полагали, действительно, что в эти бурные времена все дороги ведут в революционный Рим, и что люди жизни и практики в роде Гапона сами бросят по пути свой ошибочный догматический багаж и возьмут за руководство нашу программу. Но от Гапона нас оттолкнули скоро обнаружившиеся у него при переговорах с нами поистине патологическое самомнение и алчность к деньгам. Главным образом мы его узнали с этой стороны, обсуждая с ним план совместного литературного предприятия. Я уже сказал выше, что за Гапоном охотилась масса газетных репортеров и издателей, стараясь заполучить от него сенсационные сведения прежде всего о рабочем движении, поднятом им самим, а затем и вообще о русской революции.

И вот в одно прекрасное утро к Рубановичу, который по просьбе Гапона занимался его сношениями с этими современными Шерлок-Хольмсами прессы, явился американский издатель самого классического типа, — монокль на гладко выбритом лице, четыреугольный подбородок и одна-две унции золотой пломбы в зубах, — сделал ему предложение немедленно же издать книжку в 10—15 листов о русском рабочем движении и в частности о «кровавом воскресеньи», с тем, чтобы текст был написан самим Гапоном и работа была сделана самое большее втечение одного месяца. Гонорар — 50.000 франков.

Предложение показалось нам с Рубановичем и Гапону, очень дружившему тогда с нами, как нельзя более заманчивым

не только с материальной, но и с идейной точки зрения. Списавшись, если не ошибаюсь, с Михаилом Гоцом и другими руководителями партии социалистов-революционеров, проживавшими в Швейцарии, мы выработали тотчас же план книги. Так как Гапон, по собственным его словам, не был способен написать первую, общую часть ее — о русском рабочем движении вообще, — то составление этого введения, приблизительно листов в пять, было решено предоставить мне, а вторую, специальную часть, о деятельности Гапона среди рабочих и о событиях 22 января, должен был дать уже сам организатор гигантской демонстрации. Для скорости издатель обязался доставить нам превосходного стено- и дактилографа, американца с литературным образованием, которому я должен был диктовать прямо по-английски, как свою общую часть, так и гапоновский рассказ, и который будет тут-же, стуча фразу за фразой на машине, придавать литературную форму тому, что ему было только-что продиктовано. Мы рассчитывали, что, работая таким образом три-четыре часа в день, мы можем изготовлять ежедневно один печатный лист, и что вся книга может быть кончена нами в две недели, а еще через две недели, много месяц, выйти в свет.

В общих чертах этот план был всеми нами принят. Оставалось только выработать некоторые детали его практического осуществления. Мы, то-есть Рубанович, я, еще кто-то из социалистов-революционеров и Гапон, образовали с этой целью особый комитет, и вот тут-то нам с самого же начала пришлось столкнуться с непомерными и каждодневно возраставшими как материальными, так и моральными требованиями нашего служителя бога истины и справедливости.

Так, сначала было решено сказать в предисловии, что книга образовалась путем сотрудничества Гапона и одного из членов партии социалистов-революционеров, к которой Гапон, если не официально, то нравственно считает себя принадлежащим. На следующий день «поп-расстрига», как в разговоре со мной начал называть Гапона все более и более раздражавшийся против него Рубанович, видимо, решил, что этим заявлением его великая личность как будто недостаточно выдвигается на соответствующее ее величию место, и потому он просил комитет не помещать в предисловии упоминания о том, что он, Гапон, считает себя нравственно принадлежащим к партии социалистов-революционеров.

— Нравственно — значит духовно, а не формально, — сумбурно-ожесточенно аргументировал Гапон, — а если не формально, то к чему заявлять в печати, черным по белому, о вещи, ощущаемой человеком лишь внутренно?

Тщетно мы возражали ему, что тогда, значит, нельзя говорить публично ни о чем, что думается и чувствуется человеком неофициально. Но он стоял на своем, и фразу об его

отношений к партии социалистов-революционеров приходилось снять, хотя тогда становилось непонятным, почему Гапон сотрудничает в книге с одним из членов этой партии.

Еще на следующий день Гапон как раз воспользовался этим нашим соображением, чтобы просить нас вообще не упоминать о том, что задуманная книга есть результат его, Гапона, сотрудничества с каким-то «посторонним лицом».

— Вы же сами говорите, товарищи, — витийствовал он, — что тогда непонятно, почему я пишу с кем-то под одной обложкой... Верно! Правильно! Святая истина! Но посему и совсем не надо говорить о ком-либо другом, как об авторе книги, кроме меня.

А на наше замечание, что он сам признал свою неспособность написать общую часть, необходимую, однако, по плану, который был принят издателем, и что эта часть будет, как ни как, личным трудом другого человека, выражением его мыслей и чувств, Гапон ответил уже совершенно горделиво:

— А на что издателю и публике эта ваша общая часть? Им нужен Гапон, то, что он сделал и что он испытал. Эта общая часть — пустая формальность, чтобы только сказать: вот что было до Гапона, а теперь он сам вам скажет, что ему удалось свершить. Ваше введение, действительно, только введение, вход в дом. А дом мой, он по праву принадлежит мне...

В соответствии с этими, как лавина выраставшими на наших глазах, выражениями мании величия, Гапон поднимал все выше и выше и свои денежные претензии. Сначала речь шла о том, чтобы разделить пополам между Гапоном и партией сумму, которую мы должны были получить от издателя. Затем Гапон потребовал, чтобы мы выплатили ему три четверти, а себе оставили только четверть, — в виду, как говорил он, несравненно большего интереса, представляемого его личным рассказом по сравнению с общей частью. И, наконец, он заговорил что-то уже совсем несуразное, утверждая, что ему, Гапону, надо платить, как оригинальному автору, а составителю введения, как переводчику.

Приходилось прервать всякие дальнейшие разговоры с человеком, который, очевидно, страдал горделивым помешательством, и распустить комитет по изданию книги. Но это приключение дало мне возможность познакомиться с любопытным типом политического Барнума, которым оказался ведший с нами переговоры издатель. В самом начале, когда наш комитет действовал еще дружно и Гапон не из'являл никаких чрезмерных претензий, американец во время обсуждения условий изготовления книги вдруг попросил у нас позволения сделать одно очень важное заявление, которое будет отчасти отступлением от целей собрания, но лишь отчасти, ибо касается близко двух будущих авторов:

— Пока мы говорили о книге, у меня явилась хорошая, поистине хорошая мысль... А что, если бы оба джентельмэна,

закончив свою работу, отправились к нам в Соединенные Штаты и там согласились бы прочитать несколько публичных докладов на основании своей же книги, но в более сильно действующей форме?

— Я не представляю себе ясно, что вы хотите сказать этим, — заметил один из заинтересованных в деле «джентльмэнов».

— А вот. Вы, мистер Русанов, достаточно знаете английский, чтобы втечение получаса поговорить перед аудиторией моих любопытствующих соотечественников о разных эффектных сторонах русской революции и представить слушателям мистера Гэпна (Гапона). А мистер Гэпн будет говорить за вами уже по-русски о «кровавом воскресеньи», вы же будете от времени до времени переводить, что будет сказано мистером Гэпном... С таким докладом мы можем об'ехать всю Америку и собрать очень много лавров и долларов.

Монокль то соскакивал с гладко выбритого лица, то снова вспрыгивал на него, а сверкающие золотой пломбой зубы выбрасывали одушевленные, энергичные слова:

— Только вам надо будет немного принарядиться для более сильного действия на публику!..

— То-есть?

— А вот. Наша американская аудитория всегда очень любит, когда ей представляют вещи в осязательном виде... Мистер Гэпн—великий революционер наших дней и, к счастью, в то же время священник... Не так ли, мистер Гэпн?

Мистер Гэпн скромно кивнул головой.

— Но кто из обыкновенных американцев знает это? А пусть мистер Гэпн наденет рясу, так, небольшую ряску, хоть только на плечи, и тогда все будут знать, что это знаменитый мистер Гэпн, тот самый священник, который сделал «кровавое воскресенье» в Петербурге, и который вел за собой полмиллиона рабочих, и который теперь говорит вам, почтенные джентльмэны, об этом... Не так ли?

Монокль торжествующе осматривает пока нас в ожидании многотысячной аудитории, и золотые зубы продолжают:

— Теперь вы, мистер Русанов. Вы не мистер Гэпн, вы не священник-революционер и вы не сделали кровавого вокресенья. Но вы, мистер Русанов, старый нигилист, — золотые зубы произносили это слово, конечно, «найхилист», — и поэтому вы должны одеться тоже в «найхилиста».

— То-есть?

— А вот... Красная рубашка, серый плэд, длинные сапоги, синие очки... И, пожалуй, хорошо бы было небольшие кандалы на руки... И вы будете нам говорить, как старый найхилист, о русской революции, и как ее сделали еще до кровавого воскресенья, и как вам за это надевали кандалы на руки...

Я не знал, расхохотаться ли мне или вознегодовать.

— Послушайте, мистер... Разве наш товарищ, Катерина Брешковская, которая как раз теперь с таким громадным

успехом ведет агитацию против царизма в Америке, нуждается в таких... в таком постыдном маскараде? Вы читали об ее выступлении в Чикаго, о докладах пред женскими аудиториями, об ее речах на митингах?.. Повсюду она вызывает восторг... И без всякого кривлянья, без всяких переодеваний...

Монокль смотрит на меня снисходительно, почти презрительно:

— Но позвольте, мистер Русанов... Миссис Кетрин Брешковски старый революционер, она была в тюрьме, она была в Сибири. Она на самом деле носила кандалы... и все это знают в Америке, и ей кандалы не нужны... А вы, мистер Русанов, вы очень ученый джентльмэн, и вы будете хорошо нам говорить о русской роволюции, и как ее делали, пока не сделали кровавого воскресенья, но вы только старый найхилист, и вы не были в Сибири, и вы на самом деле никогда не носили кандалов... Тогда вам непременно нужны синие очки и небольшие кандалы... для аудитории, для аудитории, мистер Русанов!.. Вот!..

Монокль сияет победительно. Но четыреугольный подбородок крепко стиснул зубы, и две унции золота больше не блестят...

И вся гапониада с ее кровавым трагизмом вначале и с ее кровавым фарсом в конце тонет в массе неудержимо всплывающих в памяти колоссальных переживаний этих дней. Вся революционная, вся социалистическая заграница живет одной жизнью с Россией, где только слепой не видит восходящего солнца революции. Герои жизни попирают смерть смертью. Иван Каляев низвергает мстящей бомбой 1 февраля всесильного сатрапа Москвы, великого князя Сергея, и, осужденный на смерть, делает ряд заявлений, в которых удивительная личность этого террориста является воплощением всего, что есть возвышенного и общечеловеческого.

По всему миру труда и мысли разносится его письмо, обращенное к «дорогим и незабвенным товарищам»: «я счастлив сознанием, что совершил мой долг. Вы знаете, каковы мои политические убеждения, какова сила моих чувств: пусть никто не оплакивает моей смерти. Я целиком отдал себя борьбе за свободу рабочего класса; я не сделал никакой уступки царизму... Пусть моя смерть увенчает мое дело, внушенное чистой идеей. Умереть за свои убеждения значит призвать других к борьбе. То будет великим торжеством для социализма, когда широкие горизонты откроются пред русским народом и пред другими нациями, которые все чувствуют вековое иго царского гнета».

Весь мир труда и мысли прислушивается к социалистическому исповеданию веры, которое Каляев делает в своей речи 5 апреля 1905 г. перед особым присутствием сената, осуждающим его на смерть:

— «Как члены нашей партии, мы прежде всего социалисты. Наша социалистическая программа в своих существенных пунктах ничем не отличается от других аналогичных партий, носящих разные названия. С этой точки зрения наша партия является в России одной из партий, идущих в авангарде международного социалистического движения и вышедших из самых глубин царистской и патриархальной России. Вам неизвестно, может быть, что наша партия приняла участие в международном социалистическом конгрессе в Амстердаме, что она получила на нем свое официальное признание и что ее деятельность получила, таким образом, санкцию высшего учреждения организованного социализма.

«Невозможно поэтому рассматривать нашу партию только как тайное сообщество и приписывать ему в качестве единственной и исключительной цели низвержение царизма. Конечно, мы преследуем эту цель, но должно при этом точно определить наше место рядом с другими революционными и оппозиционными партиями, чтобы понять как следует характер и задачи террористической тактики нашей партии.

«Терроризм является лишь одним из орудий, одной из форм борьбы, принятых нашей партией».

И поистине замечательны были слова, с которыми обратился к суду Каляев, услышав свой смертный приговор:

— Ваш приговор делает меня счастливым. Я надеюсь, что у вас хватит мужества привести его в исполнение так же публично, как исполнил я решение партии социалистов-революционеров. Выучитесь смотреть прямо в глаза приближающейся революции!..

А она, действительно, приближалась, и каждый день, каждый час приносил новое свидетельство, что почва заколебалась повсюду, как во время огромного землетрясения.

Между тем как страшное морское поражение русских японцами при Цусиме 27—28 мая производит неимоверную сенсацию во всей империи, возбуждая недовольство старым режимом у самых ревностных защитников царизма, а в демократических кругах общества вызывая резко-революционное настроение, так ярко сказавшееся на заявлении общего собрания делегатов «Союза союзов» от 7 июня, где прямо говорится, что надо «всеми средствами выбросить эту шайку разбойников, захвативших власть (то-есть правительство. Н. Р.), и заменить ее Учредительным собранием, свободно избранным всем народом при помощи всеобщей подачи голосов», — в это время в Черном море вспыхивает бунт матросов на самом большом судне русского флота, «Князе Потемкине», за которым хотят двинуться и другие суда. И этому восстанию отвечает бунт матросов на Балтийском море, в Либаве, Риге, Ревеле, наконец, Кронштадте.

Моряки поддерживаются портовыми рабочими, которые повсюду об'являют стачки. И за границей, на культурном

Западе, Жорэс, окончательно становясь на революционный путь, пишет вдохновенно: «с одной корабельной палубы на другую, чрез всю царскую Россию ходит красное знамя с двумя отливами», — политическим и социальным. Он видит в бунте русских моряков один из символов именно «социальной революции».

И словно чтобы подтвердить дальнейшее пророчество Жорэса в этой статье о «сухопутной армии», которая так же, как и флот, «потребует отчета у старого режима, основанного на беспечности и продажности, во всем испытанном позоре, во всех перенесенных ею несчастиях», в русских войсках распространяется брожение, и создаются революционные группировки, заявляющие о своем существовании различными прокламациями «Мыслящего офицерства», «Военной организации политической революции» и т. п.

Скоро наступил такой момент, что никакой политический прием не казался более достаточно энергичным, достаточно революционным для передовых отрядов русского освободительного движения. Мне пришлось испытать на себе влияние этого настроения в страстно дебатировавшемся тогда вопросе: бойкотировать или не бойкотировать Думу?

Как известно, царский указ 19 августа 1905 г. октроировал русскому народу так называемую булыгинскую думу, имевшую лишь право совещательного голоса.

Надо было решить, принимать или не принимать эту реформу, итти или не итти на выборы в эту карикатуру на народное представительство. Мнения сильно разделились. Более умеренные партии стояли за безусловное участие в выборах. Большинство революционных и социалистических партий было против. Особенно непримирима была в этом отношении партия социалистов-революционеров. Моя же позиция была как раз противоположной.

По просьбе, переданной мне от редакции «Права» милейшим Александром Исаичем Браудо (недавняя смерть которого больно отозвалась на моем сердце), я написал для этого тогда очень демократического органа небольшую статейку, где излагал свой взгляд на вопрос. Редакторов «Права» очень заинтересовала аргументация против бойкота со стороны человека, который, как они знали, был всегда защитником революционного социализма, а теперь принадлежал к партии социалистов-революционеров. Статья моя должна была появиться в одном из ближайших номеров журнала: мне была прислана корректура с просьбою поскорее прочитать ее и отослать обратно...

И вдруг получаю от Н. Ф. Анненского телеграмму с просьбой задержать эту корректуру и обождать письма. Через несколько дней, действительно, пришло письмо от редакции «Русского Богатства», где сам Николай Федорович и другие мои товарищи по журналу дружески просили меня не печатать статьи, предназначенной мною для «Права». Оказывается, один

экземпляр корректуры моей статейки был передан редакцией «Права» в редакцию «Русского Богатства», — тогда демократические органы находились в близких сношениях между собой,— и мои взгляды, выраженные в ней, были признаны большою ересью не только «русскими богачами», но и всеми ознакомившимися с нею социалистами-революционерами, которые только находились в Петербурге. Напечатание моей статьи, по мнению этих лиц, могло вызвать большие толки и повредить интересам партии, которая в России почти единодушно высказалась за бойкот.

После короткой борьбы между желанием высказать то, что казалось мне очевидной политической истиной данного момента, и чувством партийной дисциплины, я решил пожертвовать статьей и взял ее из «Права» (один экземпляр корректуры оставался, впрочем, целые годы в руках А. И. Браудо). Но мне было жаль, что мое мнение осталось почти под спудом для России, хотя решение партии отказаться от бойкота выборов во вторую думу при неизменившихся, в сущности, условиях (о чем в третьем томе моих «воспоминаний») было доказательством целесообразности именно моей точки зрения [1])...

Говорю «почти под спудом для России», потому что французское резюме моей статьи было сделано мною для «Русской трибуны» и появилось в номере от 10 октября 1905 г., так как я не успел изъять его из нашего парижского заграничного органа, чего желали товарищи... Я делаю две-три выдержки из этой статьи, носившей по-французски заглавие «Дума и революция», чтобы познакомить читателя с той позицией, на которой можно было и последовательному революционеру отрицать полезность бойкота.

«Прежде чем наша партия не высказалась окончательно»,— пишу я, — я считаю своим долгом представить несколько личных соображений по спорному вопросу бойкота. Дисциплинированный солдат партии, я подчиняюсь, конечно, верховному решению организации; но пока я пользуюсь правом свободного суждения и свободной критики».

Самый же вопрос, горячо обсуждавшийся тогда в России и за границей, я ставил следующим образом и так решал его:

«Могут ли Дума и выборная агитация, которая ей предшествует и ее подготовляет, могут ли они, несмотря на их неискреннюю, лицемерную, карикатурную сторону, служить

---

[1]) Бойкот первой Гос. Думы и участие в избрании 2-ой Гос. Думы партия с.-ров проделывала, идя в хвосте тогдашней революционной социал-демократии, которой удалось оторвать в этом вопросе партию с.-р. от „эсеровских меньшевиков" — народных социалистов и трудовиков. Для революционной социал-демократии гранью между двумя тактиками послужило исчезновение, как теперь принято выражаться, непосредственно-революционной ситуации. Для людей же типа Н. Русанова антибойкотистские настроения были ярким выражением сползания с позиций архаического, но искренне революционного бланкизма на позиции: либерализм плюс бомба плюс социальное реформаторство.

средством пропагандировать наш идеал и вербовать новых сторонников, — что рано или поздно должно вызвать социальную революцию? И на этот вопрос мы отвечаем: да, под условием не бойкотировать выборы в Думу, а наоборот — вдвинуть их в совокупность революционных средств. Должно рассматривать наше участие в выборах как один из эпизодов великой гражданской войны, борьбы нации против самодержавия. Мы не прекращаем ни на один миг нашу революционную деятельность.

«Мы подготовляем восстание, мы стремимся к насильственному низвержению абсолютизма. Но мы укрепляем наши позиции и на той почве, которую заклятый враг русского народа — царизм — избрал, чтобы дать нам бой на ней. Эта почва — Дума и думские выборы. И из каждого укрепленного пункта на этой почве мы всюду делаем на врага нападение; мы расширяем поле наших боевых операций; мы связываем нашу легальную деятельность с нашей нелегальной деятельностью. Мы принимаем вызов правительства: мы идем и на первичные, и на вторичные собрания, мы проникаем, где это возможно, и на избирательные собрания; и мы развиваем нашу программу, мы ставим наши кандидатуры там, где условия ценза позволяют это нашим товарищам», и т. д.

Но все эти частные тактические разногласия стушевываются перед общим революционным движением. Всеобщая стачка, охватившая Петербург, Финляндию, Москву, скоро всю Россию, — стачка, которую ведут организованные рабочие, которую поддерживают более или менее все классы и сословия, вплоть до судейских, вплоть до полиции, вплоть до «сознательных шпионов», — эта стачка парализует последние усилия старого строя отстоять себя от напора всего народа. И правительство капитулирует: хитроумный Витте вырывает у царя манифест 30-го октября, который означает конец теологического периода русской монархии, который призывает нацию к действительному участию в управлении, который впервые говорит ясным языком о «незыблемых основаниях гражданской свободы», о свободе личности, совести, слова, союзов.

Амнистия, всеобщая амнистия! — перекатывается по всей России клич народа, желающего видеть в своих рядах тех героев и мучеников революции, которые, несмотря на все преследования деспотизма, сохранили веру в лучшее будущее и не покладая рук работали над освобождением России. Перекатывается этот клич и за границу, и все мы, кто за рубежом жил далекой родиной и боролся за нее, охватываемся великой жаждой увидеть ее, слиться с народом, участвовать в новой исторической жизни.

Из Питера товарищи приглашают меня возможно скорее в Россию. И как в тумане проходят передо мною последние дни моей чуть не двадцатипятилетней эмигрантской жизни. Наскоро я пишу для «Русского Богатства» статью о всеобщей стачке, где великим примером русской революции иллюстрирую

могучее значение этой формы гражданской войны. Наскоро обхожу друзей и знакомых, остающихся пока в Париже и заваливающих меня всевозможными поручениями и просьбами писать им из России, держать их в известности о том, что происходит на ярко сияющем родном востоке, поздравляющих меня с возвращением к тому народу, из которого я вышел. Наскоро делаю кой-какие приготовления насчет одежды, белья, материальной стороны жизни. Остается пока семья. Но веруешь, что в России все тронулось, все идет к лучшему, и мысленно видишь вокруг себя всех своих.

Последняя сцена. Я на Северном вокзале, перед дверью международного вагона, уходящего на восток. На платформе родные, друзья, знакомые. Дорогие лица, поцелуи, слезы, но слезы радости. И внезапно, как говорят, в последние минуты у умирающего, проходит вся жизнь за границей. Я приезжаю сюда двадцатитрехлетним юношей, а уезжаю отсюда сорокашестилетним мужчиной.

Радости и горести, личные и общественные, — теперь больше общественные, — и усилия, и труды, и планы, и много разбитых планов, и планов вновь воздвигаемых, и вечные думы о тебе, Россия... Я скорбел по тебе, я работал, как мог, для тебя, но я не разочаровался в тебе... Туда, туда, к тебе! Примешь ли ты меня, недостойного, единственная, великая, наконец-то свободная, наконец-то несущаяся на крыльях идеала к социализму, Россия?..

Свисток прорезает сырую ноябрьскую ночь. Поезд уносит нас во тьму от освещенной платформы с дорогими и милыми. А впереди сияет та, что всех дороже и всех милее: родина, и не просто физическая, а идейная родина...

Я крепко жму руку стоящему со мной рядом у окна Марку Абрамовичу Брагинскому. Он тоже едет со мной на далекий, но становящийся все более близким восток...

Берлин, март 1924 г.

Ницца, ноябрь 1924 г.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Августин.—140.
Авелан, адмирал.—210, 211.
Адан, Жюльетта,—168.
Азеф, Евно Фишел. (Евгений Филипп.), провокатор.—223, 253—255, 258—261, 264.
Акоста, Уриэль, известен своей трагической судьбой.—96.
Аксельрод, Павел Борис., член группы „Освобожд. труда".—39, 40, 90, 162, 178, 189.
Александр II, императ., царствовал с 1855 г. по 1881 г.—10, 177.
Александр III, императ., царствовал с 1881 г. по 1894 г.—39, 118, 161, 163, 168, 169, 172—174, 216, 238.
Алльман (Аллеман), Жан, рабочий, глава франц. соц.-револ. партии.—7, 255—258.
Андерсен, Ганс, писатель.—18.
Андреюшкин, революц.—189.
Андрэ, генерал, состав. атласа.—42, 273.
Анненский, Ник. Федор., публицист и обществ. деятель.—29, 73, 231, 268, 269, 294.
Анри, Эмиль.—208.
Аристотель, греч. философ.—80, 81.
Арнольди, С. С., псевдоним Лаврова, П. Л.—142, 144.
Аитов, Д. А.—148.
Ахилл.—160.

Б

Бабеф, социалист-утопист.—8, 9, 97.
Байльи.—277.
Бакунин, Мих. Ал-ндр., изв. политич. деятель, анархист,—10, 26—28, 33, 35, 225.
Баранников, Ал-ндр Ив., землеволец, член Исполн. Ком-та „Нар. Воли", осужд. в 1882 г. по „проц. 20-ти".—118.
Барнум.—290.
Баур.—24.
Бах, Ал. Ник., химик, чл. Киев. группы „Нар. Воли".—126.
Бахофен, социолог.—153, 181, 189—191, 226.
Бахофен, Иоганн-Якоб (сын).—190.
Бебель, Фердинанд-Август, глава немецк. соц.-дем. партии.—194, 195, 198—200, 228.
Бейль, Пьер.—128.
Беккер, Бернгард.—35.
Белинский, Виссар. Григ., изв. критик.—124, 177.
Бельтов, Н., псевдон. Плеханова, Г. В.—117, 223, 225, 226, 244.
Бер, Поль.—47.
Беранже, Пьер-Жан, франц. поэт.—31.
Бертело, франц. химик и государст. деятель.—47.
Бертье, Жюль.—53—57, 59, 68.
Биконсфильд, англ. госуд. деятель, консерватор.—232.
Благосветлов, Григ. Евлампиевич, редактор журн. „Дело".—40.
Блан, Луи, франц. полит. деятель, истор. Вел. франц. революц.,—8, 32, 47, 74, 85, 97, 145.
Бланки, Огюст, франц. революц., основатель революц. партии „бланкистов", провел $37^1/_2$ лет в тюрьмах.—85, 97.
Богданович, Юрий Никол. (Кобозев), чайковец, землевол., член Исполн. Ком-та „Нар. Воли", шлиссельб., осужд. в 1883 г. по „проц. 17-ти".—118.

Бонапарт, Жозеф, франц. принц —77.
Бонапарт, Луи. — 184.
Бохановская, Галина Федор., народоволка. — 82.
Брагинский, Марк Абрам., народоволец. — 297.
Бранди, псевд. Л. Мечникова. — 27.
Браудо, Ал-ндр Исаев. — 294, 295.
Брешковская (Брешко), Екат. Конст., народница, карийка, осужд. в 1878 г. по „проц. 193-х", соц.-револ. — 291, 292.
Бриз, Огюст., поэт — 206.
Бриссон, радикал. — 208.
Буланже, франц. генерал, военный министр, принимал участие в подавлении Парижск. Коммуны 1871 г.— 182 — 185.
Бурбоны, франц. корол. династия, свергнутая в 1792 г. — 27.
Буренин. — 244.
Бурцев, Влад. Львов., писатель, эмигрант, издат. журн. „Былое". — 201, 260.
Бух, Лев, экономист. — 163.
Бюиссон, Фердинанд, республик. — 66, 150.
Бюхнер, немецк. ученый. — 225.

В

Вайян, Эдуард. — 208, 211, 282,
Валлес, Жюль. — 32.
Вальдэк. — 94.
Вересаев, В. (Смидович, В. В.), писатель. — 271.
Верн, Жюль, писатель. — 101.
Вийон (Виллон), Франсуа, поэт. — 66.
Де-Виньи, Альфред, писатель. — 184.
Витте, Серг. Юльев., министр финансов. — 269, 286, 296.
Вишу, булочник. — 33.
Волховской, Феликс Влад., член одесского кружка чайковцев, осужден. по „проц. 193-х" соц.-револ. — 248.
Вольский. — 239.
Вольтер, Франсуа, знамен. франц. писатель и философ. — 49, 137.
Ворт, парижск. портной. — 62.
Высоцкий-Гоц, см. Гоц. М. — 246.

Г

Гамбетта, Леон, адвокат, госуд. деят. Франции, один из творцов Третьей республики. — 46, 47, 75 — 77, 95, 181, 182, 250.
Гапон, Георг., тюремн. священник, стоял во главе мирной демонстр. 9 января 1905 г. — 263, 280 — 283, 285 — 291.
Гарденин, см. Чернов. — 278, 280.
Гарибальди, Джузеппе, борец за освобождение Италии от австрийского владыч. — 19, 27, 28.
Гарнье, франц. издательство. — 53.
Гарсия, знам. франц. певица. — 51.
Гарфильд, президент Соед. Шт. Сев. Америки. — 220.
Гашетт, Жорж, сын основателя издательства. — 149, 150.
Гашетт, Луи-Кристоф, основатель издательства. — 149.
Гегель, Георг-Вильгельм-Фридрих, немецк. философ. — 81, 225.
Гельмгольц, Герман, немецкий естествоиспытатель. — 228.
Генералов, Вас. Денис., революц., казнен в 1887 г. — 189.
Гераклит, греч. философ. — 267.
Гершуни, Григ. Андр., соц.-рев., член боевой организации, шлиссельб. осужд. в 1904 г. — 223, 253, 261, 262.
Герцен, Ал-ндр Иван., публицист, издатель „Колокола", эмигрант. — 10, 27, 29, 71, 176, 270.
Гёте, Вольфганг, изв. немецк. поэт.— 132, 156.
Гизетти, А. — 142, 143.
Гийо, судебный следователь. — 181, 219 — 222.
Гладстон, английск. министр. — 168, 231—233.
Гнатовский-Прекер, революц. — 189.
Гольденберг, Лазарь, революц.-народник, эмигрант. — 176.
Гольдсмит, Исидор, издатель „Слова" — 172.
Горнфельд, редактор журн. „Русское Богатство". — 268.

Гоц, Абрам., соц.-революц. — 264.
Гоц, Мих. Рафаил. („Миша-торопыга"), один из основателей партии соц.-револ., эмигрант., — 223, 245 — 253, 262, 289.
Грав, Жан, франц. анархист. — 208.
Грингмут, Карл-Амалий, реакционер, редактор газеты „Москов. Ведомости". — 175, 178.
Грюн, барон, вымышленное имя русского шпиона. — 111.
Гуревич, „Гриша". — 59.
Гюго, Виктор, франц. поэт, гуманист, борец против политич. гнета. — 101, 184, 185.
Гэд, Жюль, франц. социалист, позднее ярый пропаганд. марксизма, основатель франц. соц.-дем. рабочей партии. — 5, 71, 91 — 93, 95, 189, 203, 238.

Д

Дантон, Жорж, деятель Велик. франц. революц. — 112.
Дарвин, Чарльз, англ. естествоиспыт. — 26.
Девилль, — социалист. — 91.
Дегаев, Сергей Петр., член военной организац. „Нар. Воли", предатель, провокат. — 111, 120, 176.
Дейч, Лев Григ., член группы „южных бунтарей", черноперелец, один из основателей группы „Освобождение Труда", осужд. в 1884 г. — 38, 90, 106.
Делькассэ, министр иностран. дел Франции. — 272.
Дементьева. — 74.
Дембо, революц. — 189.
Демосфен. — 204.
Деникер, Иосиф, антрополог. — 73.
Джаксон. — 211.
Джиолитти, глава итальянск. правит. — 251.
Дидро. — 52, 137, 156.
Диккенс, Чарльз, английск. писатель, романист. — 228.
Добролюбов, Ник. Ал-ндр., известн. критик 60-х гг. — 42, 246, 267.
Додэ, Альфонс, франц. писатель. — 228.
Доленги, А., псевдон. Лаврова, П. А. — 142, 144.
Долинский, Базиль, см. Тихомиров, Л. — 84, 111, 112.
Долинский, Вас. Игнат. — 84.
Драгоманов, Мих. Петр. 40—42, 84, 118.
Дрейфус, франц. офицер, невинно осужд. по обвинен. в шпионаже. — 94, 205, 206, 273.
Дюк-Керси, франц. социалист, депутат. — 216, 222.
Дюклер., франц. министр. — 77.
Дюма-сын, Ал-ндр., французск. писатель. — 49, 74, 185.
Дюринг, немецк. философ. — 79, 81.

Е

Евгения, франц. императрица. — 48.

Ж

„Жак", республиканец. — 183.
Жакоттэ, Анри, секрет. редакц. изд-ва Гашетта. — 151.
Жан-Мари, извозчик. — 104.
Жандр-Никитина, писательница — 168.
Желябов, Андр. Иван., пропаг., член Исполн. Ком-та „Нар. Воли", судился по „проц. 193-х", казнен по „проц. 1-го марта 1881 г.". — 10, 115, 118, 124, 156, 160, 173, 175.
Жильят, действ. лицо романа В. Гюго „Труженики моря". — 101.
Жиро-Телон, ученик Бахофена. — 190—191.
„Жорж", см. Плеханов, Г. В.
Жорж, I, см. Буланже.
Жорж-Занд, франц. писат. — 50, 51, 64, 67.
Жорес, Жан, один из основат. об'един. франц. социал. партии. — 181, 202 — 207, 228, 238, 240, 242, 255, 263, 278—280, 282, 294.
Жоффрэн, поссибилист, рабочий. — 93.
де-Жуар, Маро, вымышленная фамилия — 46—54, 56, 58—59, 61, 63, 66, 68, 72, 73.

де-Жуар, Зоя, вымышленная фамилия. — 50, 61, 63, 66, 68, 72.
де-Жуар, Лилия, вымышленная фамилия. — 51, 52, 55—61.
де-Жюбенвилль, Дарбуа, писатель. — 154.

З

Зайчневский, Петр Григ., якобинец, осуж. в 1861 г. — 42, 73, 82.
Засулич, Вера Иван., член „группы южных бунтарей", покуш. на Трепова в 1878 г., эмигрантка, одна из основат. группы „Освобождение Труда". — 38, 39, 90.
Зверев, начальн. гл. управл. по делам печати. — 276.
Златовратский, Никол. Никол., писатель. — 258.
Златопольские, Лев Солом. и Савелий Солом., народовольцы. — 118.
Золя, Эмиль, франц. романист. — 61, 66.
Зупан, австро-немецкий географ. — 28, 148.

И

Ибервег. — 37, 81.
Ибсен, Генрих, писатель. — 6.
Иванчин-Писарев., Ал-ндр Ив., землеволец, редактор журн. „Русское Богатство". — 231, 243, 245, 246, 249, 252, 268, 270, 271, 280.
Иванюков, Иван Иван., проф. — 87—89.

К

Каблуков, проф. — 192.
Кавеньяк. — 255.
Кавур. — 228.
Кадья, проф. эмбриол. — 66.
Казерио, убил президента Сади-Карно. — 208.
Калиостро, граф. — 284.
Каляев, Иван Плат., с.-р., член боевой организац., убил в. к. Сергея 4 февр. 1905 г. — 292, 293.
Кант, Эмануил, немецкий философ. — 80, 136, 146.
Каньоли, доктор, итальян. — 19.
Капп, Фридрих, географ. — 28.
Караулов, Вас. Андр., народоволец, шлиссельб., осужд. в Киеве в 1884 г. по „проц. 12-ти". — 121.
Кареев, Н. И., проф. — 237.
Карл X. — 149.
Катков, Мих. Никиф., публицист., ярый консерватор. — 106, 169, 178.
Каутская, — 195.
Каутский, Карл., герм. с.-д. — 189, 191.
Качура, Фома, с.-р., шлиссельбурж., осужд. в 1902 г. за покушение на Харьк. губерн. Оболенского. — 261.
Кашинцев, Ал-ндр Никол., чл. харьк. группы „Нар. Воли", в 1884 г. сослан админ. — 201.
Кедрин, Е. И., прис. пов. — 171.
Кибальчич, Ник. Ив., народов., казнен по „делу 1-го марта 1881 г.". — 118.
Кирхгоф. — 37.
Клемансо, Жорж, франц. полит. деятель, радикал, премьер-министр. — 47, 94—96, 109, 112, 113, 125, 162.
Клеменц, Дмитр. Ал-ндр., революц., член кружка „чайковцев", землеволец. — 43.
Ковалевский, Макс. Макс., социолог. — 143, 144, 227, 245.
Колоткевич, Ник. Ник., член Исполн. Ком-та „Народ. Воли", осужден. в 1882 г. по „проц. 20-ти". — 118.
Комба, франц. министр. — 272, 273.
Консидеран, франц. социалист-утопист. — 32, 47.
Констанс, министр внутренн. дел. Франции — 185.
Корба (Прибылева), Анна Павл., член Исполн. Ком-та „Нар. Воли", каторжанка, осужд. в 1883 г. по „проц. 17-ти". — 118.
Корвин-Круковский. — 74—78.
Корнфельд. — 122 — 124.
Короленко, Влад. Галактион., писатель, ред. журн. „Русское Богатство. — 231, 233, 244, 245, 268—270.
Кравчинский, Серг. Мих. (псевдон. Степняк), чайковец, землеволец, эмигрант. — 15, 42—44, 84, 248.

Кропоткин, Петр Алекс., чайковец, ученый, анархист, эмигрант. — 22, 26, 34, 77, 78, 208, 260.
Кудрин, Н., псевдон. Русанова, Н. — 117, 226, 230.
Кун, граф, вымышленная фамилия русского шпиона. — 111.

Л

Лавров, Петр Лаврович (Миртов), писатель, эмигрант, редактор журнала „Вперед". — 7, 12, 37, 71, 73, 74, 78—91, 95, 97, 106, 107, 110, 112, 116—119, 121, 127, 132, 135—147, 153—155, 162, 163, 165, 169, 174, 178, 187—189, 192, 193, 195, 196, 198, 200, 201, 223, 226, 234—237, 240, 241.
Ламартин, поэт. — 53.
Ламеннэ, франц. утопич. социалист. — 281.
Ланге, Альберт. — 81.
Ландейзен (Гартинг), сотрудник III отделения, провокатор. — 167, 201, 216, 253.
Лассаль, Фердинанд, немецк. социалист, основ. „Всеобщ. Герм. Рабоч. Союза". — 30, 37.
Лафарг, Поль, один из основателей франц. соц.-дем. партии, зять К. Маркса. — 87, 91, 95, 138, 168, 200, 202, 238, 241, 242,
Лафарг, Лаура, дочь К. Маркса. — 35, 138.
Лафорье, парижск. портной.—62.
Леббок, Джон, английск. естествоиспытатель. — 189.
„Левушка", см. Мечников, Лев.
Лейбниц, известный философ. — 80, 128.
Леклер, Адемар, социалист. — 91.
Ленин (Ульянов), Владимир Ильич, вождь коммун. партии. — 5, 8, 41, 87, 94, 189, 224, 238, 263—266.
Леон, приказчик. — 51.
Лер, Пьер. — 32.
Лермонтов, Мих. Юрьевич, поэт. — 52.
Лесевич, Влад. Викт., философ. — 163.
Лефрансэ, Густав, франц. революц., член Парижской Коммуны, пригов. к смерти. — 71, 91, 93.
Либкнехт, Вильгельм, немецк. социалист. — 95, 193, 199, 200.
Липперт, ученый. — 189.
Лонгэ, Шарль, зять К. Маркса, французск. социалист. — 95, 96.
Лопатин, Герман Ал-ндр., народоволец, шлиссельб., осужд. в 1887 г. по петерб. „проц. 21-го". — 11, 59, 60, 89, 90, 98, 106, 111, 118—121, 163, 164, 260.
Лубэ, Эмиль, президент французск. республики. — 273.
Лукреций. — 134.
Луцкий, адмирал. — 126.
Любатович, Ольга Спирид., землеволка, член Исполн. Ком-та „Нар. Воли", осужд. в 1877 г. по „проц. 50-ти". — 158, 159, 161, 175, 178.
Людовик-Филипп, французский король. — 47.
Льюис, английск. философ. — 189.

М

Магомет. — 277, 284.
Мадзини, Джузеппе, вождь нац.-революц. движения в Италии. — 28.
Мак-Леннан. — 189.
Макиавелли, итальянск. писатель. — 55.
Мак-Магон, франц. маршал и политич. деятель. — 185.
Малон, Бенуа, франц. социал., член Интернационала, деятель Парижской Коммуны. — 71, 91, 93, 95.
Мальчинский, журналист. — 41, 118.
Маньяр, Франсис, редактор журнала „Фигаро". — 203.
Мария Магдалина. — 140.
Маркс, Карл, основоположник научного социализма. — 5, 8, 16, 28, 34—37, 39, 74, 79—81, 83—87, 89—90, 95, 97, 110, 116, 117, 122, 145, 146, 162, 163, 189, 191, 195—197, 199, 225, 235, 237, 239, 241, 242, 245, 247, 271.
Мезенцев, Ник. Владим., генер., шеф жандарм., убит в 1878 г. С. Кравчинским. — 222.

Менье, радикал. — 92.
Мечников, Илья Ил., знаменитый естествоиспытатель.—27, 35, 36, 38, 40, 42, 43.
Мечников, Лев. Ил. („Левушка"), социалист. — 15, 26—29, 34.
Мечникова, Ольга Ростисл. — 33.
Мещерский, князь. — 164, 272, 273.
Милль, Джон-Стюарт, английск. мыслитель и экономист. — 29, 30, 81, 131, 233.
Мильеран, франц. министр. — 202, 203.
Минин. — 6.
Мирабо, граф. — 275.
Михайлов, Ал-ндр Дмитр., землеволец, член Исполнит. Ком-та „Нар. Воли", осужден в 1882 по „проц. 20-ти". — 113, 114, 118, 160, 173, 175, 250.
Михайлов, Тимофей, рабочий, народоволец, казнен по „делу 1 марта 1881 г.". — 115.
Михайловский, Ник. Конст., публицист-народник, редакт. журн. „Отеч. Зап.", „Русское Богатство". — 28—30, 39, 158, 163, 226—228, 230, 231, 233, 237, 243—246, 263, 267—271.
„Миша-торопыга", см. Гоц, М. Р.
„Мишель", см. Ландейзен-Гартинг.
Мишле, франц. историк. — 96.
Молешотт, Якоб, голландск. физиолог, материалист. — 225.
Мольер, Жан-Батист, франц. писатель. — 181.
Монк, генерал. — 168.
Морган, Льюис, этнограф. — 151, 189.
Морлей, английск. политическ. деятель. — 233.
Муравьев, Ник. Вал., прокурор судебной палаты в 1884 г., министр юстиции в 1894 г. — 258.
Мурильо, испанск. художник. — 6.
Муртен. — 33.
Мюнцер, Томас. — 33.
Мюссе, франц. поэт. — 51, 53.
Мэн, социолог. — 189.
Мякотин, редакт. журнала „Русское Богатство". — 268, 269.

Н

Надар. — 24.
Накашидзе. — 201.
Наполеон. — 48, 225, 273.
Негрескул, Мария Петр., дочь П. Л Лаврова. — 143.
Некрасов, Ник. Алексеев., поэт. — 32.
Низар, французск. профессор. — 67.
Никитина-Жандр., Варв. Ник., писательница. — 95.
Николай I, императ., царств. с 1825 г. по 1855 г. — 173, 175.
Николай II, императ., царствовал с 1894 г. по 1917 г. — 211, 238, 274.
„Н. К." (Н. Кудрин), псевдоним Н. Русанова. — 230.
Новикова, Ольга. — 168.
Ножин, Ник. Дмитр., революционер 60-х годов. — 28—30, 246.
Ноэль, составитель французск. грамматики. — 73.
Ньютон, Исаак, английский математик. — 133.

О

Оболенский, Ив. Мих., князь, харьковский губернатор. — 261.
Октав, приказчик. — 52.
Оуэн, Роберт, английск. утопический социалист. — 8, 9.
Ошанина, Мар. Ник. (ур. Оловенникова), землеволка, член Исп. К-та „Народн. Воли", эмигрантка. — 44, 71, 82—87, 89—91, 97, 98, 106, 107 111, 113, 114, 117, 119—121, 124, 125 127, 142, 158, 160, 163—165, 167, 170, 174, 188, 201, 234, 240, 250.

П

Павловский, Исаак, революционер 70-х гг., позднее ренегат.—166, 168
Падлевский, польский эмигрант. — 181, 216—218, 220—222.
Пакэн, парижск. портной. — 62.
Парнелль, ирландск. политический деятель. — 233.
Паскаль, франц. философ. — 76.
Паули, предатель. — 253, 255.
Пелльтан, французский политическ. деятель. — 273.

Перовская, Софья Львовна, чл. кружка чайковцев, землеволка, член Исполн. Ком-та „Нар. Воли", казнена по „проц. 1-го марта 1881 г.". — 42, 43, 115, 118, 160, 173.
Перье, Казимир, президент французск. республики. — 208.
Петров, Семен, псевдон. Лаврова, П. Л. — 193.
Пешехонов, А. В., редактор журн. „Русское Богатство". — 268, 269, 278.
Пигасов, действ. лицо в произв. Тургенева. — 158.
Писарев, Дмитр. Ив., критик-публицист. — 128, 225.
Платон, философ. — 128, 129.
Плеве, Вячесл. Констант., директор департамента полиц., министр внутр. дел. — 175, 252, 260, 263, 274—276.
Плеханов, Георгий Валент., землеволец, черноперелец, осн. группы „Освобождение Труда". — 5, 13, 15, 35—40, 78, 83—88, 90, 106, 107, 117, 162, 189, 193, 195—198, 222, 225—227, 234, 238, 244, 264, 265.
„Плон-Плон", прозвище Бонапарта Жозефа. — 77.
По, Эдгар, писатель. — 260.
Победоносцев, Констант. Петр., обер-прокурор синода, — 169.
Подарский, псевдон. Русанова, Н.С.— 223, 244 245, 270.
Пожарский, князь. — 6.
Полонская, Марина Никаноровна, псевд. М. Н. Ошаниной, — 82.
Помяловский, Николай Герас., писатель. — 13.
Потресов (Старовер), публицист, соц.-дем. — 245.
Протопопов, Михаил Алексеев., писатель-критик. — 270.
Прудон, Пьер-Жозеф, франц. писатель, анархист. — 8, 30—33, 36, 47, 80, 86, 97, 110, 145, 225.
Прутков, Кузьма, (псевд. группы сатирич. писателей. — 7, 79.
Прюдомм, Жозеф. — 217.
Птоломей. — 99.
Пушкин, Ал-др Серг., поэт. — 133.
Пьетри, начальник наполеон. полиции. — 257.

Р

Рабинович, Г. — 34, 35.
Равашоль. — 208.
Ранк. — 250.
Рачковский, Петр Ив., завед. заграничн. агентурой департамента полиции.— 255.
Рейнштейн, Ник. Вас., провокатор — 201.
Реклю, Арман, республик. — 184.
Реклю, Поль, радикал. — 184, 206.
Реклю, Онэзим, монархист.—184, 185.
Реклю, Эли, философ, этнолог, принимал участие в Парижской Коммуне. — 7, 12, 91, 181—184, 189.
Реклю, Элизе, анархист, участник Парижск. Коммуны.—12, 15, 19—26, 28, 91, 150, 152, 182, 184, 185, 206.
Риго, Рауль, коммунар, префект франц. полиции, расстрелян версальцами. — 48.
Риттер, Карл, немецкий географ.—24.
Ришелье, кардинал. — 250.
Робеспьер, Максимил., политич. деятель Великой французской революции. — 112.
Родбертус, немецк. экономист. — 37.
Родзевский, шеф жандарм. — 276.
Романовы, царствовавш. фамилия в России. — 157.
Ромма, Роман. — 59.
Рони-старший, писатель. — 114, 115.
Рошфор, Анри, франц. публицист, издатель газеты „Фонарь", участн. Парижской Коммуны.—71, 77, 94, 95.
Рубанович, Илья Адольфов., народоволец, эмигрант. — 121—124, 174, 188, 201, 240—242, 247, 248, 251, 263, 271, 278, 280, 282—284, 286—289.
Русанов, Ник. Сергев., народоволец, эмигрант. — 5—7, 11, 12, 15, 21, 29, 36—39, 47, 61, 73, 75, 76, 79, 80, 82, 83—90, 94, 107—110, 112, 113, 116, 121, 122, 128, 130, 131, 135, 136, 140—145, 153, 154, 161, 171—174,

187, 192, 197, 198, 212, 213, 217, 219—221, 223—226, 237, 244, 246, 247, 249, 261, 264, 265, 272, 278, 283—285, 291—293, 295.

Русслэ, Луи, редактор издательства Гашетта. — 148, 151,

Руссо, Вальдэк, франц. политическ. деятель. — 47, 51, 108, 112, 137, 228, 229.

Рюше, мясник. — 33.

Рысаков, Ник. Ив., народовол., казнен по „делу 1-го марта 1881 г.", предатель. — 161, 177.

С

Савин, издатель, монарх. — 167, 168.

Савинков, Борис Виктор., с.-р., член боевой организац. — 259.

Сади-Карно, президент французской республики. — 208.

Салова, Ненила, народоволка. — 121.

„Саша", сын Тихомирова, Л. — 165, 166.

Сведенборг. — 284.

Стяпополк-Мирский, Петр Дмитр., министр. внутр. дел. — 269, 275, 276.

Северин. — 216, 222.

Селиверстов, жандарм. генерал. — 181, 216—220.

Семпах. — 33.

Сергеева, Екатер. Дмитр., жена Тихомирова, Л. — 165, 166, 172.

Сергеевский, Иван, псевдон. Русанова, Н. С. — 193, 194, 198.

Сергей, князь, убит Каляевым. — 292.

Серебряков, Эспер Ал-ндр., лейтенант, член военной организ. „Нар. Воли", эмигрант. — 11, 121, 124, 125, 163, 188, 201, 240, 241.

Сисмонди, экономист. — 8.

Симон, Жюль, французск. политическ. деятель. — 149.

Скарятин, редактор реакцион. газеты „Весть". — 27.

Сладкова. — 121.

Смирнов, Вал. Ник. лаврист, эмигрант. — 33.

Созонов, Егор Серг., с.-р., член боевой организац., шлиссельб., осужден в 1904 г. за убийство Плеве.— 252, 274.

Соколов, Ник. Вас., революц., бывш. полковник, сотрудн. журн. „Русское Слово". — 15, 29—36.

Сократ, греч. философ.—145.

Соловьев, Влад. Сергеев., философ— 142, 178, 245.

Соловьев, Серг. Мих., историк. — 16.

Спенсер, Герберт, английск. мыслитель, социолог. — 140.

Спиноза, Барух, философ. — 136.

Станюкович, Констант. Мих., писатель — 27, 229.

Старовер, см. Потресов.

Степняк, см. Кравчинский.

Столыпин, Петр Аркадьев., председ. совета министр. — 254.

Страбон. — 150.

Стрельников, прокурор. — 123.

Струве, Петр. Бернгард., легальный марксист, позднее основатель союза „Освобождение". — 236.

Судейкин, Георг. Парф., инспектор секретн. полиции, убит в 1883 г. — 111, 120, 163.

Суханов, Ник. Евг., лейтенант, член военной организац. и Исполн. К-та „Нар. Воли", расстрел. в 1882 г. по „проц. 20-ти". — 118, 124.

Сухомлин („Комар"), народов. — 121.

Сен-Симон, Анри, утопическ. социалист. — 97, 145.

де **Сэн-Мартэн**, Вивьен, франц, географ. — 24, 25, 148, 182.

Сюлли-Прюдом, поэт. — 63.

Сьейес, аббат. — 275.

Т

Тамплие, Эмиль, сотрудник изд-ва Гашетта. — 150.

Тарасов, К., псевдон. Русанова, С. Н.— 89, 226.

Тейлор, социолог. — 189.

Теодорович, Ив. Адольф., с.-д., большев. — 12, 13, 21—22, 261, 264.

Теплов, Алексей Львович, народоволец. — 201.

„Тигрыч“, кличка Тихомирова, Л.
Тиссо, Виктор, романист. — 212, 213.
Тихомиров, Лев Ал-ндров., чайковец, землеволец, член Исполн. Ком-та „Нар. Воли“, эмигрант, ренегат. — 13, 78, 86, 87, 90, 91, 106—117, 119—121, 124, 125, 127, 130, 131, 148, 155—181, 192.
Ткачев, Петр Никитич, якобинец, эмигрант. — 39, 71, 73—75, 77, 97.
Толстой, Дмитр. Андр., граф, министр просвещен., позднее внутр. дел. — 164, 169, 178.
дю Трамблэ, Жозеф, кардинал. — 250.
Тригони, Мих. Ник., член Исполнит. Ком-та „Нар. Воли“, шлиссельб., осужд. в 1882 г. по „проц. 20-ти“. — 118.
Тургенев, Иван Сергеевич, беллетрист. — 106.
Тютчев. — 237.
Тэн — 149.
Тьер, Луи Адольф, франц. госуд. деятель и историк. — 26, 48, 150.

У

Ульянов, Ал-ндр Ильич, казнен в 1887 г. по „делу второго 1-го марта“. — 188.
Успенский, Глеб Иван., писатель-народник. — 6, 8, 17, 28, 35, 67, 119.
Утис-Неминиссимус, псевдоним Русанова, Н. С. — 226.

Ф

Фейербах, Людвиг, немецк. мыслитель. — 128.
Ферри, Жюль, франц. министр. — 47, 48, 65, 77, 94, 96, 109, 112, 150.
Фигнер, Вера Никол., член Исполн. Ком-та „Нар. Воли“, шлиссельб., осужд. по „проц. 20-ти“. — 118, 260,
Фигье, Луи, астроном. — 68.
Флессьер, мэр гор. Марсель. — 210.
Фонтенель. — 25.
Фор, Феликс, президент французской республики. — 215.
Форэн, художник. — 208.
Фроленко, Мих. Фед, член Исполн. Ком-та „Нар. Воли“. шлиссельб., осужд. по „проц. 20-ти“. — 42.
Фурье, Шарль, утопический социалист. — 9, 183.

Х

Хайнс, англ. рабочий, социалист. — 231—233.
Халтурин, Степ. Ник., основат. „Северн. Союза русских рабочих“, член Исполн. Ком-та „Нар. Воли“, казнен в 1882 г. за убийство Стрельникова. — 118.
Хотинский. — 38.

Ц

Цакни, Н. П., эмигрант. — 59, 97 123, 127.
Церетелли, Иракл. Георг. — 264.
Цецилия, горничная. — 51.
Цион реакцион. публицист. — 209.

Ч

Чернов, Виктор Мих., теоретик партии с.-р. — 223, 248, 250, 262, 278.
Чернышевский, Ник. Гавр., писатель, осужд. в 1864 г. — 6, 8, 10, 11, 29, 39, 42, 79, 80, 118, 265, 267.
Чернявская (Баховская), Галина Федор., народоволка, эмигрантка. — 82 121, 188.

Ш

Шателяр, молочник. — 33.
Шекспир, Вильям, англ. драматург. — 33.
Шефтель, Мих. Исааков. — 40.
Шиллер, Фридрих, немецк. поэт. — 129.
Шипов, славянофил. — 277.
Шишко, Леонид Эмман,, чайковец, осужд. в 1878 г. по „проц. 193-х“ — 12, 248.
Шлейермахер. — 24.
Шопенгауер, Артур, философ. — 133.
Штромберг, барон, народоволец. — 176.
Шуберский, инженер. — 64,

Щ

Щедрин, Ник. Павл., землеволец, черноперед., шлиссельб., осужд. в 1880 г. по „делу Ю.-Р. Р. С.". — 28, 35, 161, 275.

Э

Элиза, прачка. — 105.

Энгельс, Фридрих, теоретик научного социализма. — 5, 39, 85, 120, 163, 181, 194—198, 225.

Ю

д-Юзес, герцогиня. — 182.

Я

Яковлев-Богучарский, Васил. Яковл., писатель, историк. — 223, 234—236.

Яковлев, псевдон. Павловского, И. — 166.

Якубович, Петр Филиппов., поэт народоволец, осужденн. в 1887 г. по „проц. 21-го". — 169, 230, 243, 246, 268, 270.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

И. А. Теодорович. Предисловие 5

Глава первая. Я за границей. — Семь месяцев в Швейцарии. — Встречи и знакомства: Элизэ Реклю, Лев Мечников, Н. В. Соколов, Г. В. Плеханов и его товарищи, Сергей Кравчинский 15

Глава вторая. Париж. — Жизнь и типы французской буржуазии. . . 45

Глава третья. Русская колония в Париже 80-х годов: Ткачев, Лавров, снова Ошанина. — Я—сотрудник „Вестника Народной Воли". — Французские радикалы и социалисты: Рошфор, Клемансо, Гэд, Лафарг, Малон, Лефрансэ 71

Глава четвертая. Бретань начала 80-х годов. — Мои отношения к Лаврову, Тихомирову, Герману Лопатину, Серебрякову, И. А. Рубановичу. Характеристика Тихомирова. 99

Глава пятая. Характеристика П. Л. Лаврова 127

Глава шестая. Мои хлебные занятия во Франции. — Издательство Гашетта. — Политическая история большой книжной фирмы. — Снова и окончательно Тихомиров: кем и чем перестал он быть 148

Глава седьмая. Буланжизм и Панама. — Рост французского социализма. — Личность и влияние Жорэса. — Мое приключение с семьей Бахофена. — Я — сотрудник „Форвертса". — Голод в России и мое свидание с Энгельсом.—Франко-русская политика: встречи русских моряков и царя во Франции; преследования русских революционеров. — Убийство Падлевским генерала Селиверстова, и я у судебного следователя Гийо. . . 181

Глава восьмая. Рост марксизма в России. — Книга Бельтова (Плеханова) и моя критика на нее. — Я — корреспондент из Франции в „Русском Богатстве" под псевдонимом Кудрина. — Яковлев-Богучарский и его переход к марксистам. — Заслуги русской социал-демократии в рабочем движении. —Возникновение и рост партии социалистов-революционеров в России и за границей. —Я пишу о русских литературных и жизненных явлениях в „Русском Богатстве" под псевдонимом Подарского. — Я — редактор „Вестника русской революции". — Портреты и абрисы социал-революционеров: Чернова, Михаила Гоца, предателя Азефа, Гершуни 223

Глава девятая. Смерть Н. К. Михайловского. — И. А. Рубанович и я издаем на французском языке „Русскую трибуну“.—Казнь Плеве и начало русской революции. — „Кровавое воскресенье“. — Гапон за границей. Мои впечатления от знакомства с ним. — Каляев: дела и слова героя. — Русское освободительное движение. — Бунт русских моряков и Жорэс. — Мое отношение к бойкоту Думы. — Я еду на родину. 263

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТ КРАСН. ПРОФЕССУРЫ
№

Цена 3 р. 40 к.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

1) Правлению Издательства Политкаторжан — Москва, 34, Лопухинский пер., 5; тел. 3-64-73.

2) Магазину Издательства Политкаторжан „МАЯК“ — Москва-центр, Петровка, 7; тел. 4-18-12 и 3-63-20.